

СОДЕРЖАНИЕ

Слово к читателям.....	2
------------------------	---

НАШИ ИЗЫСКАНИЯ

О профессиональном юморе, или О роли русской интеллигенции в истории Отечества (<i>редакционное размышление</i>).....	4
---	---

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ

Е. С. Роговер. Роман И. А. Гончарова «Обломов».....	7
А. Н. Миронов. Обломов И. А. Гончарова — невольный учитель любви... (фрагмент из книги «Литературы лукавое лицо»)	18

ОДОЛЕВАЯ УКОРЕНЕННЫЙ ГРЕХ

Александр Миронов. Беседа на века, или Кто мы есть на самом деле? (по материалам переписки Курбского с Грозным)	30
--	----

ПРОЗА В МАЛЫХ ФОРМАХ

Михаил Жаров. Счастью быть (рассказ). Война, мать и дочь (рассказ)	39
--	----

ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ

Стихи Валентины Клочковой, Наталии Ульяновой, Майи Золотистой, Адриана Протопопова, Валерия Чарторийского	47
--	----

ПРОЗА XXI

Евгений Мюллер. Нарисованное зеркало (повесть)	66
--	----

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО БЫТИЯ РОССИИ

Е. Т. Дмитриева. Комментарий к стихотворению А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»	108
---	-----

ИСТОРИЯ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГРИМА

Вадим Петров. Мюнхенское соглашение 1938 года как фиаско прагматизма.....	117
--	-----

ПОРТРЕТЫ НАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ

Е. С. Роговер. Евгений Евтушенко (Творческий портрет).....	129
--	-----

ПРИЧУДЫ ЭПОХИ ПОСКОННОЙ МОРАЛИ

Владимир Василик. Разговор о Солженицыне. Продолжение. «В круге первом» (начало в 5-м выпуске журнала)	140
---	-----

О САМОМ ГЛАВНОМ

Владимир Хилько. В дебрях понимания, или Заблудившись в трех соснах. Часть 3. Обучение различению (начало в 6-м, 8-м и 9-м выпусках журнала)	145
---	-----

УДЕРЖИВАЯСЬ НА КРАЮ...

Андрей Каратыгин. Шостакович и либерализм	152
---	-----

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

*Здравствуйте,
дорогие читатели журнала «Писатель. XXI век»!*

Мы снова, слава Богу, выходим в свет практически строго по заявленному ранее графику: раз в квартал. Теперь перед вами уже 11-й выпуск. Чем он примечателен? И вообще, чем мы поддерживаем себя, когда смотрим вперед? Видимо тем, что наш журнал — это своего рода прообраз *школы русского мышления* или мышления в рамках русского языка. То есть, понимая дискуссию как самое эффективное средство отыскания истины, мы вновь и вновь стараемся собирать разные воззрения на самые важные и самые сложные вопросы человеческого бытия.

Кроме обращения к читателям в самом начале настоящего выпуска в рубрике «Наши изыскания» журнал предлагает к прочтению и обдумыванию редакционный материал на тему: «О профессиональном юморе, или О роли русской интеллигенции в истории Отечества». Предлагаемая работа скорее всего вызовет как возражения читательской аудитории, так и найдет себе сторонников, уставших от чар нескончаемой российской юморины.

В литературном отношении 11-й выпуск журнала имеет следующие особенности. В рубрике «Альтернативные воззрения» читатель уже привычно ознакомится с разными оценками известного романа И. А. Гончарова «Обломов», сформулированными Е. С. Роговером и А. Н. Мироновым. В рубрике «Одолеевая укорененный грех» вниманию публики представлена статья А. Миронова «Беседа на века, или Кто мы есть на самом деле?» (*по материалам переписки Курбского с Грозным*). В этой работе ее автор буквально провоцирует своего читателя необходимостью занять собственную мировоззренческую позицию, что само по себе многого стоит. Кроме того, вызывая читателя на дискуссию, А. Миронов понуждает его к важной самостоятельной исследовательской работе, имеющей сугубо сущностный смысл. В рубрике «Проза в малых формах» М. Жаров представляет читателям журнала два своих новых рассказа, которые вряд ли оставят кого-либо равнодушными. Затем в постоянной рубрике «Душа с душою говорит» два новых и три ранее уже публиковавшихся в журнале поэта выносят на суд читателей свои стихи. Далее в рубрике «Проза XXI» Евгений Мюллер дебютирует с повестью «Нарисованное зеркало». Рассказывая о советском времени, автор невольно вынужден уйти от черных и резких тонов, весьма свойственных литературе уже постсоветского времени. С дру-

гой стороны, сдержанность применяемых красок позволила автору повести глубже и тоньше проникнуть в душу своих героев, что, в свою очередь, вероятно, составит благо взыскательного читателя. В рубрике «Проблемы исторического бытия России» Е. Т. Дмитриева представляет остро полемическую статью «Комментарий к стихотворению А. С. Пушкина “Песнь о вещем Олеге”». В рубрике «История без политического грима» Вадим Петров в работе «Мюнхенское соглашение 1938 года как полное фиаско прагматизма» предпринял смелую попытку приближения к объективному смыслу важнейшего исторического события XX века. Как это получилось — судить о том читателю. В рубрике «Портреты наших современников» Е. С. Роговер предлагает свою новую работу «Евгений Евтушенко (Литературный портрет)», в которой он рисует многоплановый и весьма подробный образ выдающегося человека, внесшего фантастически большой вклад в советскую и русскую культуру. В рубрике «Причуды эпохи посконной морали» Владимир Василик продолжает начатый в 5-м выпуске журнала «Разговор о Солженицыне». Здесь, как и ранее, автор на произведениях самого Солженицына беспощадно вскрывает фактически гнилую подоплеку в целом разрушительной популярности известного ныне писателя, о существовании которой и сегодня многие совсем не догадываются. В предпоследней рубрике, «О самом главном», Владимир Хилько в 3-й части своего исследования «В дебрях понимания, или Заблудившись в трех соснах» (первая и вторая части опубликованы в 6-м, 8-м и 9-м выпусках журнала) вновь заостряет внимание читателя на теме необходимости обучения различению сложных смыслов. Попутно скажем, что автор названной выше статьи твердо полагает в том гражданский долг всякого разумного человека. В последней рубрике, «Удерживаясь на краю...», в работе Андрея Каратыгина «Шостакович и либерализм» читатели журнала ознакомятся с редкими и важными сведениями о великом композиторе и о той борьбе, которая ведется и поныне в связи с легендарным именем советско-русского гения.

Редколлегия журнала «Писатель. XXI век»

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЮМОРЕ, ИЛИ О РОЛИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

(редакционное размышление)

Кто не любит шутку? Таковых в русском мире явное меньшинство. Более того, многие из нас гордятся своей способностью шутить и воспринимать все смешное. Кроме того, существует даже мнение, что русская шутка всем шуткам венец, или русский юмор не знает себе равных в целом мире. Что ж, возможно, так на самом деле. Но что из этого следует? С одной стороны, своего рода доблесть, с другой — небывалая ответственность. Перед кем или чем? То, что юмор свидетельствует о живости души человека, — бесспорно, но юмор также есть огромный соблазн. Почему? Да потому, что он простирает сам себя во все стороны жизни человека и совсем не знает границ. В результате каждый его поклонник становится его же заложником. Впрочем, а зачем нам упомянутые границы? А затем, что в противном случае в жизни человеческой может быть все осмеяно. Разве подобное хорошо? Или если жизнь наша так уж смешна, то зачем она нам, ведь смешное ничтожно и даже постыдно будет? Поэтому и выходит то, что Бог не может быть насмешником, а значит, не может стремиться к тому, чтобы юмор стал центром всех человеческих усилий. А что мы имеем сегодня в России? Складывается даже впечатление, что наше несчастное Отечество буквально захвачено юмористами, как чертями всех мастей и оттенков, ко-

торые без устали веселятся целыми сутками напролет. Но, может быть, наш беспредельный юмор есть своего рода сублимация или превратная форма реализации чего-то более существенного? Чего именно? Скорее всего, речь о том, что русскому интеллигенту, как говорится, на роду написано стать закваскою всего будущего человечества. Иначе говоря, выраженная склонность к справедливости (к правде) русского интеллигента никак не позволяет ему удовлетворяться полумерами (идти на компромиссы), а значит, непрерывно ввергает его в борьбу за некий идеал устройства человеческой жизни. Видимо, как раз отсюда и истекает своего рода садомазохистский комплекс русской интеллигенции, в рамках которого она и сама страдает, и страну непрерывно подвергает всевозможной мучительной реформации. Кроме этого, она же, как в первый раз, начинает вдруг разочаровываться во вдруг полученном ею же результате, полагая его тайное извращение некими злыми силами. Но при чем здесь юмор, тем более юмор профессиональный? Именно он, как универсальное первоочередное средство интеллектуальной борьбы, и запускается русской интеллигенцией всякий раз впереди будущих потрясений. Кстати, само понятие русской интеллигенции формируется из особых смыслов. Каковы они? Чуткость,

деликатность, совесть, прозорливость, жертвенность — вот самые лучшие черты интеллигента. Вместе с тем в нем же нередко присутствуют и капризность, и горделивость, и нетерпимость. Кстати, именно последнее качество и порождает собой всю драму русского интеллигента. То есть неумение смирять себя сплошь и рядом приводит его и связанных с ним людей к беде. И все-таки, а при чем здесь собственно профессиональный юмор? Хорошо. Вспомним его классические формы, скажем, творчество незабвенного Н. В. Гоголя. Вот уж где юмор профессиональный, как говорится, дальше некуда. Другими словами, комедийное мастерство великого русского писателя вряд ли нуждается в специальной аттестации. Вместе с тем старец Макарий из Оптиной пустыни во время личной встречи с мастером комедии оценил его творчество сугубо отрицательно. Зададимся в свою очередь вопросом: что так и почему? Вполне талантливые насмешки Гоголя над русским миром (русской жизнью), казалось бы, не должны были вызывать на счет его работ столь нелестной оценки (его творчество было прямо названо Макарием «дрянью»). В результате этого горького события перед самой своей кончиной Николай Васильевич после больших колебаний отрекся и от А. С. Пушкина, которого до этого буквально боготворил. Упомянутые выше события и поныне многие не знают, а которые знают — совсем не понимают. Кто-то легкомысленно от них и вовсе отмахивается, заявляя, что поповские суждения его не интересуют, и даже если это было так, то Николай Васильевич просто был тогда психически болен. Но все же не стоит впадать в высокомерное восприятие сложнейших смыслов. Мы все очень рады посмеяться над своими согражданами, когда нам их пародируют ловкие и умелые артисты. Но ведь этот смех изначально содержит в себе нечто ненатуральное, преувеличенное или

преуменьшенное и даже извращенное. И, что характерно, нас это совсем не смущает. Но почему вдруг так-то? А потому, что мы понимаем пародию как вполне допустимое искажение изображаемого артистом лица, ведь пародия позволяет игру фантазии в части привнесения изменения, причем изменения как ухудшения изначального образа, перевести в приятное русло, дабы весело было. Вот так смешное коварно и как бы незаметно начинает умалывать подлинное явление жизни, настраивая зрителя (слушателя) на вполне неверное восприятие реально существующего прототипа и подлинных причин его бедствий или непристойного поведения. Да, всякому артисту трудно сделать иначе, ведь тогда придется не в пример обычному смешливому подходу вникать и разбираться строго и весьма даже основательно в действительных (объективных) причинах невыдуманных или подлинных противоречий самой жизни. И здесь многие умельцы явно утратят свое нынешнее право идти на сцену. А не хочется, ведь сладкие плоды внимания публики очень уж греют лукавую душу. В результате выходит, что даровитые пересмешники все-таки вредны нам, так как они в обход нашего сознания буквально внедряются своими образами в наши некрепкие еще головы и начинают провоцировать нас к неблагоприятным (презрительным) реакциям на так и не понятые нами же проблемы невыдуманной жизни.

И все же, неужели у нас все беды от смеха? Да, у нас очень много чего нехорошо именно по причине нашей привычке к праздности. И как раз здесь *профессиональный юмор*, как говорится, на первых ролях. Он и веселит ловко, он и отвлекает от всего насущного, он даже становится порой центром всей нашей жизни, если говорить откровенно. А каков результат сего «славного» дельца? Мы гордо несем свои головы, полагая себя вполне

себе «продвинутыми». Но ведь это совсем не так, и даже более того: после обильного и привычного хихиканья от шуток профессиональных юмористов мы начинаем воспринимать мир несколько искаженно (превратно), а значит, начинаем обманываться на счет некоторых существенных сторон нашей жизни. Вот что следует иметь в виду. Иначе говоря, накапливая в себе стереотипы смешного, мы стихийно отыскиваем им подобия в жизни, полагая этим свою особую миссию и заслугу. То есть зараженные *вирусом насмешки*, мы начинаем искусственно искать всевозможного продолжения смешного в реальной жизни. В случае же отсутствия искомого возбуждения начинаем скучать и хандрить. То есть мы в таком случае переживаем своего рода наркотическую ломку по при-

чине нашей острой зависимости от дефицита нарочито смешного. Вот и выходит то, что профессиональный юмор агрессивен, как говорится, по определению, а значит, стремится заполонять собою все пространство человеческой жизни. Но тогда нам впору воскликнуть: *Осторожно! Профессиональный юмор!* Да, именно так, или компромисса здесь никогда не будет.

Завершая настоящее размышление, видимо, следует еще раз подчеркнуть, что профессиональный юмор, как, кстати, и профессиональная любовь, есть лишь сублимация или подмена всего подлинного на яркое и соблазнительное представление, изначально содержащее в себе самом фальшивое содержание, исподволь или незаметно уродующее наши души посредством привития им привычки к бегству от всего ответственного.

Е. С. Роговер

РОМАН И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»

«Обломов» — второй выдающийся роман И. А. Гончарова. К его написанию автор приступил в середине 40-х годов XIX века. Уже в «Обыкновенной истории» писатель поставил задачу изобразить «живое дело» в борьбе с «всероссийским застоєм». Эту же цель Гончаров преследовал и в новом произведении, хотя многослойную проблематику «Обломова» он отнюдь не сводил к этой ранее намеченной задаче. В октябре 1848 года писатель создал первый вариант важнейшей главы романа, но работу над произведением он вынужден был прервать.

В 1857 году И. А. Гончаров впервые совершает заграничное путешествие, в течение которого продолжил прерванную работу над романом «Обломов» (глава «Сон Обломова» была опубликована еще в 1849 году). В Париже он уже читает рукопись нового произведения И. С. Тургеневу, В. П. Боткину и А. А. Фету, а находясь на водах в Мариенбаде в том же 1857 году, в течение семи недель завершил первую и написал три последующих части романа, исключая три или четыре главы. Работа проходила напряженно: Гончаров писал «почти до обморока», его волнение доходило «до бешенства». Вскоре он читает заверченный роман «Обломов» А. В. Дружинину и П. В. Анненкову, а позже В. Н. Майкову, С. С. Дудышкину, Д. В. Никитенко и издателю А. А. Краевскому, в чьем журнале «Отечественные записки» он печатает в 1859 году все четыре части своего нового великого творения.

У главного героя этого произведения было несколько прототипов. В своих воспоминаниях «На родине» автор рассказывает о трех из них: Козыреве, не выходившем из халата, никуда не выезжавшем из имения и не

хотевшем знать о своих доходах и расходах; Гастурине, отличавшемся теми же свойствами; Якубове, своем крестном, с утра весь день лежавшем в постели, где его заставляли гости. В беседе с издателем М. О. Вольфом Гончаров признал и в себе черты своего героя: «Обломов — это я <...> я рисовал Обломова с себя». Наряду с жизненными у Ильи Ильича были и литературные предшественники. К ним можно отнести прежде всего гоголевских героев: Подколесина, Манилова, Тентенникова (из второго тома «Мертвых душ»), Бешметова (из повести «Тюфяк» А. Ф. Писемского), героя поэмы А. Н. Майкова «Две судьбы», персонажей самого Гончарова: Тяжеленко, Егора Адуева и Александра Адуева. Такая прототипичность уже достаточно красноречиво говорит об исключительной широте обобщения, заключенной в Обломове. В нем раскрыты черты характера, порожденного, прежде всего, русской патриархальной помещицкой жизнью. Но этот образ стал крупнейшим обобщением мирового значения. Он является воплощением жизненного застоя, неподвижности, беспробудной человеческой лени, свойства общечеловеческого. Мы с гордостью можем констатировать, что тип Обломова встал в один ряд с такими вечными мировыми образами, как Прометей, Геракл, Гамлет, Дон Кихот, Фауст, Хлестаков.

Если первоначально, когда в 1850 году была написана первая часть, гончаровский роман обрел в литературных кругах название «Обломовщина», то со временем он был озаглавлен фамилией главного героя, жизнь и судьба которого вышли в произведении на первый план, подчинив себе иные характерные мотивы и проблемы. Тем самым «Обломов» стал романом моно-

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

графическим, как некогда «Евгений Онегин», «Герой нашего времени» и «Рудин». Все сюжетные линии этого монументального произведения ведут к заглавному герою, все другие его образы так или иначе с ним соотносятся.

Большой выразительностью отличается портрет Обломова, в котором отмечена и приятная наружность, и отсутствие сосредоточенности в чертах лица, по которому «мысль гуляла вольной птицей», чтобы потом совсем пропасть. Двойственность этого портрета сказывается и в том, что в глазах читалась «игра сомнений», но «вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии и дремоте». В облике героя доминирует усталость, мягкость черт, изнеженность, мало свойственная мужчине. По горестному замечанию друга, Обломов «обрюзг не по летам». Илье Ильичу свойственна болезненность. Его замучили приливы крови, под ложечкой тяжесть, «желудок почти не варит», покоя не дает изжога, «ячмени одолели», на него нападает «нервический страх», дрожат колени, ноги отекают, одышка одолевает. Эти болезни социально обусловлены и связаны с его постоянным лежанием. Как заметил Штольц, Обломов «наспал свои недуги». В исследовании немецкого ученого Й. Раттмера (1968) основная обломовская болезнь характеризуется термином *Ovesitas* (ожирение) и объясняется с психосоматической точки зрения: герой стал «рабом природы». К его бесформенному, тучному и изнеженному телу особенно подходит его «весьма поместительный» восточный халат, являющийся в романе своеобразным символом неподвижности и лени.

Не менее выразителен интерьер квартиры на Гороховой, где проживает заглавный герой. «Вид кабинета, — замечает писатель, — <...> поражал господствующей в нем запущенностью и небрежностью». Гончаров с присущей ему обстоятельностью воспроизводит шаткие этажерки, паутину, повисшую близ картин, зеркало, покрытое слоем пыли, чернильницу, забитую мухами, неубранную тарелку с

обглоданными косточками и диван с отклеивающимся деревом задка, предмет, являющийся в интерьере еще одним символом обломовской лени, бездеятельности и апатии. Нетрудно увидеть в этих описаниях портрета и обстановки наследование Гончаровым гоголевских традиций. Они особенно ощутимы в начальных главах романа.

Первая часть произведения, передавая обычное, повседневное бытие Обломова, выявляет такие присущие герою свойства, как постоянная сонливость (даже во время споров со слугой он «вдруг смолкал, внезапно пораженный сном»), неподвижность (великолепно описание того, как Обломов «вознамерился встать» и «чуть было не встал», как он в продолжение всего дня переползает от постели к креслу и дивану), безволие, созерцательность, беспомощность (он не в состоянии написать записку хозяйну дома, тем более отправиться к себе в деревню, чтобы заняться имением, отчего испытывает ужас перед «двумя несчастьями»), потребность в опеке, бессилие ума. Он пугается жизненных перемен, боится нового в быту, в частности, возможности построить в Обломовке пристань, провести шоссе, открыть ярмарку в городе. Все существо его восстает против преобразований.

Как некогда Н. В. Гоголь в главах о Плюшкине и Чичикове, Гончаров воссоздает биографию своего героя, из которой мы узнаем об учебе и образовании Обломова («жизнь у него была по себе, а наука сама по себе»), о его неудачной службе и жизненных вехах, о его сердечных увлечениях и несостоявшейся женитьбе по расчету, о постепенном уходе от светской суеты и труда в замкнутую раковину, обеспечивающую его покой («свернулся, точно ком теста, и лежит»), наконец, о двенадцатилетней жизни в Петербурге в квартире на Гороховой, где и застаем мы его в первой части романа. В итоге все связи с жизнью оказываются порванными, он прощается с «толпой друзей», с кухаркой и поваром, с «парой лошадей». Чем явственнее проявляется его обособление от

мира, тем более ограниченным оказывается его жизненное пространство.

Было бы, однако, неверным видеть в Обломове сугубо отрицательного героя. Его характер отличается многосторонностью и емкостью. Он наделен Гончаровым целым рядом положительных свойств; отличается душевностью, совестливостью, мягкостью, чистосердечием. «В основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало». Обломов наблюдателен и хорошо видит суету людей его сословия, лицемерие, зависть, сплетни, погоню за чинами. Он чувствовал, что «в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало». Обломов добр, у него «сердце, как колодезь, глубоко». А в финале романа об этом сказано еще сильнее и категоричнее: «Нет сердца чище, светлее и проще». Обломов не может причинить человеку зло. Он наделен мечтательностью, способностью уходить в царство фантастических грез. Мечты героя чрезвычайно контрастируют с действительной жизнью, но они отличаются неосуществимостью, идилличностью, созерцательностью и весьма схожи с мечтаниями гоголевского Манилова. Не случайно об этих мечтаниях автор пишет с иронией. Кроме того, планы и идеалы гончаровского героя конструируют новый вариант родной Обломовки, в которой его, Обломова, лелеют жена и преданные мужики, а он, обняв красавицу за талию, «ищет в природе сочувствия». Тем не менее поэт и критик И. Ф. Анненский решительно возражал против зачисления Обломова в отрицательные герои, полагая, что Гончаров изобразил симпатичную ему личность созерцательного типа. «Посмотрите, — писал Анненский, — что противопоставлено обломовской лени: карьера, светская суета, мелкое сутяжничество <...>. Не чувствуется ли в обломовском халате и диване отрицание этих попыток разрешить вопрос о жизни?»

Любопытно осмыслить звучание имени Обломова. Оно, как и в случае с лесковским Флягиным, вызывает в памяти другой русский архетип — Илью Муромца. У обоих подчеркнуты

доброта, незлобивость, благородность, степенность, богатство возможностей и сил. Но спячку свою Илья Ильич — в отличие от былинного Ильи — преодолеть не может, и «богатирство» оказывается несостоявшимся. Намек на это содержит фамилия героя романа: она происходит от глагола «обломиться» и как бы указывает на то, что Обломов «обломан» жизнью, выпал в ее «осадо́к», стал «обломком» настоящей жизни, хотя он склонен полагать именно свое бытие подлинным и настоящим. И в этом коренится тот юмористический аспект изображения действительности героя, который присутствует в романе, обогащая его полифонию. Но насмешка и юмор в трактовке Обломова соединяются с сожалением и грустью, а подчас и горестным сопереживанием происходящей на глазах человеческой драме.

Положительные свойства Обломова не следует переоценивать. Гончаров, разумеется, не прибегает к сатире или обличению, но он выделяет доминанту изображаемого характера — байбачество, футлярность и лень. Позже, в статье «Лучше поздно, чем никогда», Гончаров признавался: «Воплощение сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни — переползание изо дня в день — в одном лице и в его обстановке было найдено верным, — и я счастлив».

В связи с образом Обломова возникает проблема отражения в нем русского национального характера. Одним из первых Н. А. Добролюбов назвал Обломова «коренным типом» русской жизни. Позже литературовед Д. Н. Овсянико-Куликовский характеризовал свойства этого героя как «черту национального психического склада». Сам Гончаров также считал, что его герой воплощает «элементарные свойства русского человека». Напротив, исследователь А. Г. Цейтлин находил эту точку зрения ошибочной. Нет оснований, полагал он, считать Обломова национальным образом, явлением национальным. Думается, что герой романа соединяет в себе черты национально-исторические, рожденные и обусловленные конкретной кре-

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

постнической эпохой русской жизни, и свойства общечеловеческие, по-своему проявляющиеся в соответствующих социально-исторических ситуациях различных стран.

Время от времени Обломова навещают его гости: щеголь Волков, чиновник Судьбинский, журналист Пенкин, а также аферисты Тарантьев, Мухояров, Алексеев, Затертый. Функция этих персонажей многообразна: их появление вносит сюжетное движение в однообразно протекающие часы апатичного центрального героя; они оттеняют лучшие свойства Ильи Ильича, его человеческое достоинство, гуманность и одновременно его терпимость по отношению к шайке вымогателей, творящих зло; некоторые из гостей обнаруживают родственное с Обломовым отношение к жизни и оказываются новыми своеобразными обломовцами, которых Илья Ильич аттестует так: «Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня...» В этом читатель получает возможность убедиться.

Парадоксальным двойником Обломова оказывается его крепостной слуга Захар, этот «рыцарь со страхом и упреком». Писатель наделяет его выразительной и комичной внешностью, показывая его «с голым, как колено черепом», с «необъятно широкими бакенбардами» и серым сюртуком «с прорехою подмышкой». Захара отличают постоянное брюзжание и строптивость, упрямство, неповоротливость, косность и неряшливость, неопрятность и преклонение перед барством, но прежде всего — лень, которую он силится обосновать даже философски. Вот отчего он уподоблен своему барину, «сращен с ним». Он предан хозяину настолько, что писатель сравнивает это чувство с верностью собаки. В одном из откликов на роман верно говорилось о том, что Захар и Обломов «выросли на одной и той же почве, пропитались одними и теми же соками». Крепостнический уклад жизни сформировал их обоих, лишил уважения к труду, воспитал безделье и праздность. «Ну, брат, ты еще больше Обломов, чем я сам», — думает о нем барин. Оба они немислимы

друг без друга, хотя способны методически изводить один другого. Характеризуя Захара, Гончаров сознательно использует гоголевские приемы (в описании бакенбардов, головы, в передаче единообразия действий), щедро вводит юмор («Если он несет через комнату кучу посуды или других вещей, то с первого же шага верхние вещи начинают дезертировать на пол»). Захар представляет в романе крепостных Обломовки, он один из «трехсот Захаров», и основная функция его состоит в типизации и дополнительной обрисовке образа центрального героя. Но он интересен и колоритен и сам по себе, не случайно ему посвящена особая (седьмая) глава первой части, а критика называла его «целой поэмой» о прошлом России.

Велико композиционное значение и девятой главы первой части романа. Будучи сном Обломова посреди его всегдашних сновидений, глава описывает один день в Обломовке, подобно тому, как вся первая часть воспроизводит один день героя в Петербурге. Эти два типа бытия как бы накладываются друг на друга, чтобы оттенить их различия и одновременно подобие в самом существенном — праздности существования. Это предыстория (немцы называют ее термином *Forgeschichte*) жизни Ильи Ильича, но в то же время это, по Гончарову, суть широко понимаемой российской действительности с ее неподвижностью и застоем. Вот почему Обломовка в разных своих вариантах будет еще не раз повторяться при рассказе о московском и петербургском периодах жизни героя.

Изображение приснившейся Обломовки примечательно своей очевидной двойственностью. С одной стороны, жизнь в этой деревне поражает своей сонливостью, безмолвием, бездеятельностью, примитивностью, сосредоточенностью на еде, бесхозяйственностью. Закономерности существования определяют приметы: «брови чешутся — слезы; лоб — кланяться, с правой стороны чешется — мужчине, с левой — женщине; уши зачесутся — значит к дождю...» Удивительно это всегдашнее «чешет-

ся», и невольно вспоминается гоголевская Коробочка, привыкшая чесать пятки своего покойного супруга. Здесь царят патриархальное натуральное «хозяйствование», однообразие бытия, полная его изолированность от мира, власть привычек, лени, оторванность от культуры. С другой стороны, в описании Обломовки заметен акцент на великолепии окружающей природы и детства на хлебосольстве господ, поэзии быта усадьбы, красоте народных праздников, ласке матери. Возникает некая идиллия «золотого века», отмеченная гармонией, обеспеченностью, счастьем. Подчеркнуты нравственные стороны рисуемой жизни: искренность, доброта и незлобие: «В глазах собеседников увидишь симпатию... Все по душе!» Такая жизнь резко противопоставлена городской суете и испорченности. И мы замечаем, как отношение автора к воссоздаваемому миру меняется: ирония сменяется шуткой, удивление — восторгом, нейтральное повествование — умилением.

Суть позиции И. А. Гончарова принципиально определил В. Г. Короленко. Он заметил: автор, «конечно, мысленно отрицал “обломовщину”, но внутренне любил ее бессознательно глубокой любовью». Нередко он явно сочувствует Ильюше: ведь это его, Гончарова, милое и безмятежное детство! Но писатель не только умиляется, но и размышляет. Он ставит острую в ту пору проблему воспитания ребенка в условиях крепостнической действительности: с одной стороны, оно связывает растущего человека с его почвой и наделяет высокой нравственностью, с другой — формирует созерцательность, инертность, праздность, а потому оно достаточно уродливо. По словам Штольца, «началось с неумения одевать чулки, а кончилось — неумением жить». Сонному существованию обломовцев ныне, в пору петербургской жизни, соответствует дремотное лежание Ильи Ильича. Вот отчего первая часть романа лишена развитого действия, сюжетной динамики, событийности. Пространство героя предельно ограничено комнатой и даже диваном в ней. Зато время, преодо-

левая — благодаря детству, увиденному во сне, — замкнутость одного дня, растекается до двадцати пяти лет. Как и Онегин, «дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов», Обломов ничем не умеет заняться. Но Гончаров оказывается суровее поэта: его герою уже тридцать два года.

Сон Обломова прерывает его друг Штольц, появляющийся в финале первой части. Будучи антагонистом героя, он тем не менее во имя давней дружбы пытается расшевелить приятеля, пробудить его к активной жизни, напоминая ему о давних мечтаниях «обжечь ноги на Везувии». Начало второй части романа повествует об условиях, в которых формировался Штольц, сопоставляя их с обстоятельствами, способствовавшими воспитанию Обломова. Эти условия резко контрастны.

С детства в Штольце воспитывались привычка к труду, самостоятельность, воля к достижению цели, бесстрашие перед трудностями. Рано становится он незаменимым помощником отца, чьи поручения он регулярно выполняет, получая при этом жалованье. Существенно, что он сын бюргера, выходец из мещанского сословия; вероятно, не случайно он наполовину немец, приученный к деловитости, аккуратности и точности. Но немало важно, что мать его была русская, и он благодаря ее мечтательности, душевности, причастности к искусству и широте натуры вышел из «узенькой немецкой колеи» на такую дорогу, «какая не снилась ни деду его, ни отцу, ни самому ему». Штольц сам пробивает себе эту дорогу в жизни. Но существенно, что его отец служил управляющим именем, крепостной фабрикой, был технологом и агрономом. Эта образованность пробудила жажда знаний у Андрея Штольца, который сначала блестяще окончил университет в Москве, а потом «сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене». Выйдя после службы в отставку, он «занялся своими делами», активной коммерцией. Ныне он член торговой компании, отправляющей товары за границу» «негоциант», по-

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

стоянно посещающий Бельгию, Англию, «выучивший» Европу, «как свое имение», изъездивший Россию «вдоль и поперек». При этом Штольц не теряет связей ни с чиновничьим, ни со светским миром, куда в конце концов вводит и Обломова.

Штольц постоянно пополняет и обогащает свои знания, неустанно читает книги. Идеалом его жизни является осмысленный труд, который он определяет как «образ, содержание, стихию и цель жизни». Высокую духовность и тонкую душевность, доставшиеся ему от матери, он счастливо сочетает с активной практической деятельностью, трезвостью и расчетливостью, унаследованными от отца. По замыслу автора, Штольц гармонически соединяет эти противоположные начала.

Создавая образ Штольца, Гончаров опирался на свои впечатления от иностранных негодяев и русских предприимчивых деятелей, которых он видел в департаменте внешней торговли, от буржуа, встречавшихся во время кругосветного путешествия. Отталкивался писатель и от литературных источников, в частности, гоголевских Костанжогло и Мухазова из второго тома «Мертвых душ». Не забудем, что Штольца предвещал и Петр Адуев. В замысел Гончарова входило изобразить положительный тип нового деятеля в России; писатель был убежден, что множество Штольцев «должно явиться под русскими именами». Новое позитивное начало видел в Штольце и критик Д. Н. Овсянко-Куликовский, который писал об этом персонаже: «Он — человек положительный, натура уравновешенная, чуждая излишеств рефлексии, бодрая, деятельная, жизнерадостная...» Важно, что Штольц ведет и просветительскую деятельность, заводя речь о народных школах, об образовании для простых людей. В отличие от Петра Адуева Штольца волнуют не только свои деловые успехи, но и благосостояние общества. В соответствии со своим замыслом Гончаров наделяет своего нового героя рядом других положитель-

ных свойств: он преданно дружит с Обломовым и выручает его, глубоко любит Ольгу, он идет по жизни «твердо, бодро», ищет «равновесия практических сторон с тонкими потребностями духу». Запоминается и его внешний облик, противоположный обломовскому: он «весь составлен из костей, мускулов и нервов», у него «ни признака жирной округлости». Он не отрицает романтических переживаний. Но самое главное его достоинство заключается в том, что он непримиримый отрицатель и противник обломовщины в различных ее проявлениях. Именно он точно поставил диагноз болезни друга и нашел точное и убийственное слово: «это... обломовщина».

Писатель дарует своему Штольцу счастье с Ольгой, дает ему «наполненную, волнующую жизнь, в которой цвела неуядаемая весна»; этот герой выходит победителем во всех жизненных ситуациях, обретает комфорт, изобилие, благоденствие среди цветов и картин в крымском доме. Гончаров нередко любит своим Штольцем, представителем «нового века».

Однако писатель не показал жизненной практики своего героя, не изобразил его в «деле». Вероятно, это произошло оттого, что «дело» это слишком прозаично. Не изобразил автор и общественного служения Штольца, его просветительской и филантропической деятельности. Будучи честным художником, Гончаров отметил, что Штольц «больше всего боится воображения», он враг «всякой мечты»: «Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе». Холодный расчет часто получает у него перевес над трепетностью чувства. В нем заметны сухость, декларативность и эгоизм. Иногда в Штольце неожиданно проглядывает то, что можно было бы назвать «отсветом обломовщины». Он находит для себя успокоение в семейном комфорте и тишине. По его словам, «все найдено, нечего искать, некуда идти больше». К этой парадоксальной неподвижности герой готовился исподволь: «Мы не Титаны с тобой, — говорит он Ольге, — мы не пойдем, с Манфредами и Фаустами, на дерзкую

борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту...» Ум Штольца преобладает над сердцем, контроль довлеет над его душевными движениями. Сам Гончаров находил, что в этом герое «слишком голо выглядела идея». Очень подчеркнуто показаны стремления приобретательского характера, свойственные Штольцу. Читателю горько и обидно, что все, некогда принадлежавшее Обломову, в конце концов переходит к его слишком удачливому другу: имение, которым теперь управляет Штолец; Ольга, которую любил Илья, наконец, его сын. Примечательно, что один из современных писателю критиков — А. П. Милуков — заметил о Штольце, что «этот человек отталкивает еще больше, чем его сонный приятель». Известно, что Н. А. Добролюбов был убежден: «Штолец не дорос еще до идеала общественного русского деятеля». Не внушал доверия Штолец и А. П. Чехову, который видел в этом герое «продувную бестию». Да и сам Гончаров остался недоволен художественной разработкой образа Штольца, считая его «слабым» и «бледным». Однако были и другие оценки. Критик А. Кузин в статье 1882 года тоже называл Штольца «живым человеком» и подчеркивал его типичность. И Д. Н. Овсяннико-Куликовский также подчеркивал, что Штолец не выдуман и удался Гончарову: «Штолец представляется нам фигурой, далеко не лишённую типичности...» Следует учесть и возражение автору романа со стороны глубокого знатока Гончарова — Н. К. Пиксанова, который считал, что Штолец изображен «достаточно ярко», не хуже других персонажей романа, исключая Обломова.

Отметим и историко-литературное значение образа Штольца. Вслед за Гончаровым образ буржуазного деятеля — Егора Ивановича Молотова — создает Н. Г. Помяловский в романе «Мещанское счастье», позже И. И. Лажечников в романе «Немного лет назад» (купец Патокин), затем Г. П. Данилевский в ряде своих произведений («Девятый вал»), где нарисованы дель-

цы, напоминающие Штольца. Отсюда же линия протягивается к поздним пьесам А. Н. Островского, романам Д. Н. Мамина-Сибиряка и А. И. Эртеля. Прав Д. Н. Овсяннико-Куликовский: имея в виду безнадежную спячку обломовцев и глубокие залежи обскурантизма, мы должны признать Штольца «явлением в свое время прогрессивным».

Появление в романе «возбудителя жизни» и противника обломовщины Штольца, а также развертывание романтической линии произведения (первое и второе объяснение Обломова с Ольгой, важнейшее в жизни героя испытание дружбой и любовью) делает вторую часть романа живой, динамичной и напряженной. Значительно расширяется пространство героя (дом Ольги, ее дача, парк), увеличивается временной отрезок (вместо одного дня в первой части — две с половиной недели во второй), растет событийность происходящего, учащается ритм романного действия.

По-настоящему положительной героиней произведения является Ольга Ильинская. Ее образ энергично движет фабульное действие романа, объединяет центральные мужские фигуры, выявляет достоинства и изъяны обоих главных героев-антиподов. Это живое лицо, непосредственно взятое из жизни. Воспоминания современников И. А. Гончарова и исследование О. М. Чеменой называют в качестве прототипа Ольги Ильинской Екатерину Майкову, которой был увлечен писатель и которая была наиболее близким ему человеком в 50-е годы. Ее, как и Ольгу, отличали ум, прекрасный голос, грациозность, привлекательность, решительность поступков и огромная тревога перед жизнью, переходящая в состояние неудовлетворенности и жадных поисков нового. Находили и другой прототип Ольги: им была Елизавета Васильевна Толстая. Увлечение ею и переживания Гончарова в связи с ее замужеством отразились в письмах писателя и, по мнению академика П. Н. Сакулина, в романе «Обломов». Родственный Ольге Ильинской образ получил запечат-

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

ление и в поэзии 50-х годов. Мы имеем в виду стихотворение Я. Полонского «Женщине» (1859), в котором лирический герой делает такое исповедальное признание:

Как луч востока благодатный,
Зачем тогда не разбудил
Меня твой голос, сердцу внятный,
И падших сил не обновил?

В своем широком поэтическом общении Гончаров воплотил лучшие свойства передовой русской женщины 50-х годов XIX века.

Гончаров не наделяет Ольгу чертами красавицы, но замечает, что «если б ее обратить в статую, она была бы статуей грации и гармонии». Оба эти начала становятся во второй части романа лейтмотивами в характеристике героини. Портрет Ильинской складывается из многочисленных деталей, рисующих человека необыкновенной простоты, естественности, изображающих женщину, лишенную жеманства, кокетства, лжи и мишуры. Пластичность образа соединяется с его живописностью и музыкальной выразительностью: то она звучно смеется, искренне и заразительно; то прекрасно поет свою любимую арию Нормы «Каста дива»; то улыбается так, что улыбка освещает ее глаза и разливается по щекам; то пристально и с любопытством глядит на Обломова, который начинает думать, не выпачкан ли у него нос, не развязался ли галстук. Писатель показывает присущую Ольге «свободу взглядов, слова, поступка». Ему удается передать образ тонко чувствующей, духовно одаренной девушки, обладающей гармонией ума, воли и сердца. «Кто ни встречал ее, — замечает автор, — ... на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно артистически созданным существом».

Автор дает и речевую характеристику Ольге. «Речь ее иногда сверкнет искрой сарказма, но там блещет такая грация, такой кроткий милый ум, что всякий с радостью подставит лоб». Язык Ольги остроумен, но свободен от мудрых сентенций, от подслушан-

ных или вычитанных суждений о жизни, литературе, искусстве. В нем все естественно, нет никакой внешней рисовки. Не менее выразительна авторская оценка пения Ольги: «Боже мой, что слышалось в этом пении! Надежды, неясная боязнь гроз, самые грозы, порывы счастья — все звучало, не в песне, а в ее голосе».

Наиболее ярко характер и человеческое обаяние Ольги Ильинской проявляется во взаимоотношениях с Обломовым. Обладая нежной и одновременно горячей натурой, она отвечает на внезапно вспыхнувшее чувство Ильи Ильича, который увидел в ней воплощение своего идеала. Ведь для нее любовь — «это все равно, что жизнь», проявление жизненного долга. Тонкий психолог, Гончаров внимательно прослеживает все грани и этапы развивающегося чувства героев: его возникновение, обогащение, неожиданные перипетии, кульминацию. В Ольге возникает желание воскресить интересного для нее, хотя и безвольного человека: «Она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил». В этом обновлении Ильи Ильича она видит свое призвание. И она в значительной мере это назначение, эту роль своеобразного доктора осуществляет. Результатом первой встречи с Ольгой становится распоряжение Обломова протереть у себя окна и смахнуть паутину. После второй встречи он чувствует прилив душевных сил. Третья встреча и напряженное восприятие пения девушки рождает первое признание в любви. Ольга Ильинская вынуждает своего необычного избранника читать, совершать длительные прогулки, отказаться от послеобеденного сна и ужина, радоваться жизни, вставать на заре, подниматься на гору. Последнее обстоятельство символически отражает пик процесса возрождения, совершаемого под настойчивым побуждением Ольги. Она искренне любит Илью, тянется к нему: особый смысл, вероятно, состоит в том, что сама ее фамилия является производной от имени Илья.

Изумительной поэзией овевая сюжет взаимоотношений двух героев.

Писатель раскрывает все нюансы сложного любовного чувства: робость, смущение, сомнение, тонкий намек необычайно много говорит любящим, особенно благоухающая ветка сирени, воплощающая расцвет чувства и его поэтический аромат. Все лучшие свойства Ольги раскрываются в ее любви к Обломову: благородство, желание быть «путеводной звездой», решительность, душевная красота.

Почувствовав колебания Ильи Ильича, уловив из письма его напуганность предстоящими заботами, увидев стремление избранника спрятаться в тихую гавань, Ольга заботливо ищет новых средств воздействовать на любимого человека. Не пугаясь общественного мнения, она едет к нему на Выборгскую сторону, где, однако, убеждается, что ее усилия бесполезны. И тогда она решительно идет на разрыв. Ольга уясняет для себя, что ждала от Ильи невозможного, что полюбила она лишь будущего Обломова, свою мечту о нем. «Я думала, что оживлю тебя, что можешь еще жить для меня, а ты уже давно умер», — заключает с горечью героиня. Оказалось, что тихое, беззаботное и сонное состояние Ильи Ильичу дороже прекрасных свиданий. На помощь ему пришли и ссылки на неприличие встреч, и письмо, и отдаленность Выборгской стороны, и разлив Невы, и неустроенность имения. Как некогда другие герои русской литературы, Обломов терпит поражение на своем randevu. В сцене последнего свидания с Ольгой он выглядит жалким ничем.

Не без сомнений решается Ильинская стать женой давнего друга — Штольца. В нем отчасти «воплотился ее идеал мужского совершенства». Казалось бы, поиски ее увенчались счастливым финалом: ей даровано постоянное ощущение движения, кипучая энергия, комфорт. С гордостью признается она себе: «Я не состарюсь, не устану жить никогда». Но ее союз со Штольцем и окружающее благополучие не могут удовлетворить вечно ищущую Ольгу. Она прислушивалась к себе и чувствовала, что чего-то иного

просит ее душа, «тоскует, будто ей мало было счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых, небывалых явлений, заглядывала дальше вперед». В своем развитии она переживает потребность в сверхличных целях жизни. Мировоззренческая ограниченность и голый практицизм Штольца, его покорность перед «мятежными вопросами» и остановка в поисках смысла жизни ее удовлетворить не могут. В ней нет ничего буржуазного, ее влечет к значительным делам и борьбе, имеющим общечеловеческий смысл. Не случайно Штолец «с удивлением и тревогой следил, как ее ум требует настоящего хлеба, как душа ее не умолкает, все просит опыта и жизни». Его пугает вулканический огонь натуры Ольги. Д. Н. Овсяннико-Куликовский, посвятивший Ольге свои вдохновенные строки, предположил, что в любом забытом уголке она сохранит заветы своей молодости, что, разочаровавшись в Штольце, она «выступит на иной путь, трудный и тернистый, исполненный лишений и невзгод». Таков этот пленительный и во многом необычный женский образ, созданный великим талантом Гончарова и занявший свое особое, значительное место среди лучших созданий русской литературы. По словам А. В. Никитенко, записанным в его дневнике, это «превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью».

Третья часть романа, воспроизводящая глубокий кризис центрального героя и его неминуемый разрыв с Ольгой, показывает победную власть **обломовщины**, сыгравшую роковую роль в жизни Обломова. Пространства героя и романа внешне раздвигаются, включая новые географические зоны тогдашнего Петербурга. Ширятся и временные границы происходящего: они захватывают конец лета и осень (то есть вместо двух недель второй части ныне переданы два времени года). Но этот видимый размах оказывается чреватым неизбежным сужением пространства до отдаленного дома на Выборгской стороне и, выражаясь языком А. Н. Островского, «умалением вре-

мени» жизни до тоскливого его «свертывания».

Четвертая часть произведения показывает торжество намеченных ранее тенденций. Пространство героя предельно сжимается (Штольц назовет его «ямой»), количество персонажей сокращается (рядом с Обломовым уже нет Ольги), время «останавливается» в своем течении, приводя к смерти героя. Горестно звучит авторская характеристика происходящего на Выборгской стороне: «С летами волнения и раскаяние являлись реже, и он тихо и постепенно укладывается в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками...» Меняется ритм повествования: он сознательно становится уныло-тоскливым, из жизни Обломова уходит вместе с волнениями и поэзия. Добрейшая Агафья Матвеевна помогает Обломову не замечать жизни и не чувствовать ее.

Эту женщину из мещанской среды, простую, заурядную, необразованную, не следует представлять нарисованной одной черной краской, хотя Гончаров иногда сравнивает ее с лошастью, а братец — с коровой. Образ Агафьи Матвеевны воплощен писателем полнокровно, многокрасочно. Субъективно она нежно любит Илью Ильича, трогательно заботится о нем, предоставила ему домашний очаг и обеспечила покой, она гордится его привязанностью. Добрая и мягкая женщина нашла в своем преданном чувстве к Обломову смысл своей жизни. Но нельзя не видеть и того, что объективно ее дом оказался для Ильи Ильича новой Обломовкой, для него желанной, но гибельной. Здесь происходит медленное, но уже необратимое угасание героя. Если любовь к Ольге сопровождали книги, сирень, музыка, то отношения с вдовой Пшеницыной во многом определяются притягательной силой круглых локтей с ямочками посредине. В Ольге Обломов ощущал грацию и духовную красоту, а на Пшеницыну (снова важна семантика фамилии) глядит как «на горячую ватрушку». Примечательно и другое: романтической истории влюбленно-

сти Ольги и Ильи соответствовал весенний пейзаж; пребыванию в доме на Выборгской аккомпанирует ритм падающего снега, белым саваном покрывавшего забор, плетень и гряды на огороде. По мере прирастания к «яме» «больным местом» гибнут лучшие качества гончаровского героя, и мы оказываемся свидетелями драмы некогда незаурядной личности, которая ныне чувствует свой душевный клад зарытым и заваленным, а себя самого — в могиле.

Финал четвертой части вновь невольно обращает нас к образу Обломова. Гончаров повествует, как в доме Пшеницыной Илья Ильич умирает от удара. «Вечная тишина и ленивое переползание изо дня в день, — пишет автор, — тихо остановили машину жизни». И далее следует деталь в духе Гоголя: «как будто остановились часы, которые забыли завести». Но остается от Обломова и Агафьи Матвеевны сын Андрей, названный в честь Штольца. По замыслу Гончарова, он призван соединить доброту и честность отца, деятельную энергию Штольца и высокую духовность Ольги, взявшей мальчика на воспитание.

Существует определенная, генетическая связь Обломова с «лишними людьми»: как и они, он не нашел применения своим силам и оказался не востребованным российской жизнью, тем более что в сфере интеллекта, образованности, прогрессивных исканий, гуманности он во многом уступал своим предшественникам. В то же время Обломов глубоко типичский образ. В новые десятилетия и эпохи он, как заметил русский юрист А. Ф. Кони, уже не лежит на диване, а «восседает в законодательных или бюрократических креслах» различных государственных учреждений и «сводит на нет вопиющие запросы жизни и потребности страны». Или уселся на накопленном богатстве, «не чувствуя никакого побуждения прийти на помощь развитию производительных сил родины, постепенно отдаваемой в эксплуатацию иностранцам». Эти суждения А. Ф. Кони звучат сегодня необычайно современно.

Гончаровский герой с породившим его прошлым и его психологией породил емкое понятие *обломовщина*. О ее исключительной типичности великолепно написал Н. А. Добролюбов в своей статье «Что такое обломовщина?» Но и в самом романе ее живучесть и распространенность показаны достаточно убедительно. О ней гневно говорит Штольц, о ней свидетельствует и признание самого Обломова: «Да я ли один? Смотри: Михайлов, Петров, Семенов, Алексеев, Степанов... не пересчитаешь: наше имя легион!» Обломовщина встречалась не только в деревне на Волге, но и в иных местах крепостнической России, и в столице; она проявляла себя не только в поведении бар, но и в косности чиновников, крепостных крестьян, людей интеллигентных профессий. Обломовское начало, как мы видели, живет в Захаре, в гостях героя, в быте вдовы Пшеницыной. Вот почему слово и понятие «обломовщина», по слову Д. И. Писарева, «не умрет в нашей литературе... проникнет в язык и войдет во всеобщее употребление».

Художественное своеобразие романа И. А. Гончарова характеризуется широкой эпичностью (действие книги охватывает 37 лет), неторопливо развивающимся действием, простотой интриги, развернутостью экспозиции, приемом инверсии в сюжете (прошлое героя раскрыто с умысленным запозданием в 6-й и 9-й главах), контрастностью в изображении главных героев (Обломов — Штольц, Ольга — Пшеницына), внутренним драматизмом, обилием диалогов (Н. К. Пиксанов даже называл этот роман психологической драмой с тремя актами, прологом и эпилогом), моноцентричностью, симметрией композиции (идиллии Обломовки соответствует идиллия на Выборгской стороне), сочетанием объективности изложения со строгой ее субъективной аналитичностью, про-

должением и развитием гоголевских традиций, глубоким интересом к деталям и подробностям в портретах и бытовых зарисовках. Жанр произведения может быть определен так: перед нами *социально-психологический роман*, дающий широкое обобщение обломовщины и монографически исследующий психологию угасающего человека. Для стиля этого романа характерны полнота и объемность изображения каждого явления и предмета, освещаемого с различных сторон, особая роль мягкого и незлобивого юмора. Язык произведения отличается чистотой, легкостью, отшлифованностью. Просторечия в нем редки, но всегда уместны. Простота языка соединяется с его исключительной выразительностью, которая достигается введением пословиц, метких сравнений (мысли в голове Обломова гуляют, «как волны в море»; жизнь обломовцев течет, как «покойная река»), эпитетов («хрустальная» душа Обломова, «встревоженное» сердце Ольги), округлых периодов. Речь героев мастерски индивидуализирована (она грубовата и отрывиста у Захара, афористична и лаконична у делового Штольца, льстива у Мухоярова, многословна у Анисьи, ярко эмоциональна у Ольги).

Роман Гончарова получил почти единодушную чрезвычайно высокую оценку в печати. Блистательный анализ его дал Н. А. Добролюбов в статье об обломовщине, статью, которую одобрил и высоко поставил сам автор произведения. А. В. Дружинин придерживался иного, нежели Добролюбов, взгляда: по его мнению, Обломов — «доброе, милое и светлое существо», которого нельзя не полюбить. Л. Н. Толстой назвал роман «капитальнейшей вещью», которая имеет успех не случайный. А И. С. Тургенев полагал, что «пока останется хоть один русский — до тех пор будут помнить Обломова».

А. Н. Миронов

ОБЛОМОВ И. А. ГОНЧАРОВА — НЕВОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ ЛЮБВИ...

(фрагмент из книги «Литературы лукавое лицо»,
СПб.: Геликон Плюс, 2007)

Придут дни совсем печальные, и охладает
любовь во многих...

Из пророчеств православных старцев

И поныне, по мнению автора настоящего очерка, роман «Обломов» середины XIX столетия составляет, с одной стороны, тайну русской культуры, с другой — самую большую и непреходящую злобу дня. Впрочем, кто-то заявит, что этот роман давно себя изжил вместе с той исторической эпохой, в которую и родился. Но это так только, если смотреть на него поверхностно или пристрастно. На самом же деле в нем вполне угадывается нечто еще так до сих пор внятно и нераспознанное, причем, видимо, самое главное, что выражено отчетливо в слове до сих пор так и не было. Поэтому, вооружившись подобным представлением, автор очерка и попытается в нем решить сию непростую задачу.

Роман открывается весьма колоритным заявлением главного героя, столкнувшегося с необходимостью собственного переезда на другую квартиру: «Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!» Вот лицо Ильи Ильича Обломова, как говорится, «без прикрас». Почему? А потому, что он в отношениях с миром освобождает сам себя от какой-либо личной ответственности на том простом основании, что он, видите ли, барин, а значит, не имеет и вообще каких-либо строгих обязанностей, а если оные все-таки обнаруживаются, то он легко перекладывает их на дру-

гих, в данном случае на своего слугу Захара. В этой своей наклонности Обломов проявляет своего рода внутреннюю нечестность, так как ухитряется даже обязанности барина «делегировать» своему слуге. Почему так? Да потому, что он на самом деле вполне проницателен и понимает глубоко. Например, последнее предположение угадывается в таком суждении героя романа: «Увяз, любезный друг, по уши увяз... И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое...» В приведенной выше оценке своего приятеля Судьбинского Ильи Ильича вдруг становится внимательным и взыскующим наблюдателем, способным видеть и понимать сквозь детали нечто существенное или главное в жизни всякого человека. Теперь такое: «гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению». В последнем тексте об Обломове все казалось бы и хорошо, но смущает слово «гордился». Через него просматривается некоторое высокомерие героя романа. «Здравствуйте, Пенкин; не подходите, не подходите: вы с холода!» В приведенной просьбе Обломова как в капле воды сосредоточена вся его натура, каждый раз убегающая от какой-либо встречи с необходимостью нести хоть малое неудобство, не говоря уже о страдании. Но без такой способности — способности переносить страдание путного человека и быть-то не

может! «Из чего же они бьются: из потехи что ли, что вот кого-де ни возьмем, а верно выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманизмом. Одно самолюбие только... В их рассказе слышны не “невидимые слезы”, а один только видимый, грубый смех, злость...» В введенной выше тираде героя романа угадывается уже иное лицо Обломова — лицо человека вполне активного и вполне способного на социально значимое поведение. Иначе говоря, с одной стороны, он колоритно рисует обличителей социальных пороков, с другой — сам уподобляется им, так как указывает на дефицит «невидимых слез» в их речах, на превалирование в них же взамен того лишь видимого, грубого смеха и злости. И как бы продолжая уже обнаруженное нами выше, читаем такое: «Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову...» Вновь перед нами лицо честного, доброго человека. Впрочем, речь все-таки должна идти не об утирании слез у всех павших личностей, речь должна вестись о причинах сего печального положения. Теперь вновь весьма заметная претензия Ильи Ильича Обломова на значительность мысли: «Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не зная покоя и все куда-то двигаться...» Что смущает в последнем рассуждении? Например, словосочетание «менять убеждения». Почему? Да потому, что убеждения на самом деле не костюм, а значит, их перемена человеку весьма затруднительна. Другими словами, без потрясения и покаяния от старых взглядов не освободишься, а значит, и новых никак не освоишь. Поэтому

приведенное выше мудрствование Обломова имеет лишь видимость глубокого и полезного для человека дела, тогда как в сути своей оно является лишь «изящным ворчанием» впустую. Прочтение письма старосты из деревни вынудило героя романа к следующей оценке: «Да вы слышите, что он пишет? Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь, а он, как на смех, только неприятности делает мне!» Вновь перед нами облик капризного и не могущего переносить психологические нагрузки человека. Да и в самом деле: вместо стремления к ясности или к точному знанию положения собственных дел герой ищет «тихой гавани», в которой бы его никто и ничто совсем не беспокоило. Но ведь подобное «славное» искание блокирует собою любое насыщенное человеческое переживание, а значит, делает человека малопригодным даже к самой жизни. Впрочем, мы, видимо, много желаем от Обломова, который в сердцах говорит своему слуге Захару следующее: «Я “другой”! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худошав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать — есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих “других”? Разве я могу все это делать и перенести?» Последнее нравоучение Обломова, адресованное им своему слуге Захару, посмевавшему равнять барина с другими, выглядит вполне убедительным. Но ежели вдуматься в него основательно, то получается уже нечто иное, а именно: тотально пустое бытие героя романа возводится им самим в ранг уникального отличия и даже своего рода доблести. Почему?

Да потому, что Обломов никак не сожалеет о последнем и даже находит в нем упоение. Кроме того, он считает, что свободен абсолютно от всех хлопот, забывая и о тревожном письме из деревни, и о необходимости переезда на новую квартиру. Иначе говоря, преувеличенное самомнение, капризы, непоследовательность в мысли отчетливо характеризуют героя романа как человека очевидно неразвитого и запутавшегося. С другой стороны, мы видим, что он мнит себя человеком с большим достоинством. Другими словами, его самолюбование не знает границ. А вот еще одна особенность формирования героя романа: «Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости». В приведенном повествовании о детстве Обломова ярко и концентрированно автором романа сообщается та мысль, что вымысел и реальность принципиально несовместимы. Но так ли сие на деле? Иначе говоря, неужели всякая выдумка обязательно привирает? Кто-то ответит, что все именно так и есть. Но, с другой стороны, можно ведь выдумывать и без привнесения того, чего быть не должно и даже вовсе невозможно. Или вполне возможна выдумка, органично подобная реальности, хоть и не бывшая сама по себе в жизни, но своим совокупным духом или норовом совсем ей соответствующая. Другими словами, выдумка выдумке рознь, так как она бывает как по подобию самой жизни, так и вне оно. Причем само названное выше отличие бывает как явным, так и лукаво припрятанным. Иначе говоря, один вымысел вполне сопрягается с жизнью, другой же — лишь кажется таковым. Если первый вымысел обучает всякого внимающего ему, то второй — лишь очаровывает и программирует свой адресат уже на конфликты с жизнью. Вместе с тем многие согласятся с тем, что второй вариант вымысла все-таки привлекательнее первого своей уникальностью,

эмоциональной приподнятостью. Но, с другой стороны, умение увидеть через вымысел в обыденном самое что ни на есть необыденное разве не дороже того, что стоит будет? В противном же случае все пойдет как у И. А. Гончарова «Он (Обломов. — А. М.) невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне; его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы». Но вот опять иное лицо героя романа: «Свет, общество... Чего там искать? интересов ума, сердца?.. Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуйешься, как симметрически рассажены гости, как смиренно и глубокомысленно сидят — за картами. Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума! Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя?.. А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней!.. Да не одна молодежь: посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга, ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения!.. Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии! Стараются заполучить громкий чин, имя». В последнем развернутом наблюдении Обломова, явленном им своему другу детства Андрею Ивановичу Штольцу, вполне угадывается изысканный нигилизм. Почему? Потому, что герой романа лишь фиксирует признаки неудачной общественной российской жизни, а вовсе не пытается познать ее причины. С другой стороны, Штольц получает от Обломова следующий ответ на свой вопрос о том, как следует жить правильно: «Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку. В глазах собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, не злобный смех... Все по душе! Что в глазах, в словах, то и на сердце!» Казалось бы, все хорошо и душе от-

радно, но ведь человек-то сам по себе есть даже для самого себя проблема, а тем более он таковая и для других людей. Кроме того, конечно, хорошо быть с теми, кто тебе мил и тебя же любит, а ежели маловато таковых или нет совсем? А ежели придется обмакивать хлеб в солонку с нелюбимыми и не любящими тебя людьми? В таком случае претензии Обломова на возвышенную и приятную жизнь есть лишь сладкая маниловщина, и ни более того. Поэтому на идеал Обломова Штольц твердо отвечает: «Нет, это не жизнь!» В результате образ убежденного лежебоки и есть вполне закономерный итог высокопарного философствования героя романа, который сам же вдруг изрекает: «Все ищут отдыха и покоя». Но каков же идейный фундамент сего мировоззрения? В связи с последним вопросом Обломов делает такое помышление: «А ведь самолюбие — соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его». Как мы видим, герой романа дивится тому факту, что в нем нет жара непереносимого самолюбия, что он не томится его неутолимостью. Иначе говоря, Обломов и вовсе не догадывается, что его прирожденное умиротворение есть на самом деле уникальное, недостижимое большинством людей свойство его натуры. Тогда как опора на самолюбие есть явный дефицит названного выше душевного состояния. Именно поэтому-то Обломову и некуда деться, как только впасть надолго в «социальную спячку». Другими словами, ложное мировоззрение или мировоззрение служения самолюбию при наличном гармоничном душевном складе и может рождать ровно то, что и случилось с героем романа И. А. Гончарова, а именно: умиротворенная душа скушает от суеты тревожащихся по себе самим душ, которые ищут на самом деле любви к себе или *признания* хотя бы факта собственного существования. Иначе говоря, *дефицит* понимания смысла жизни не может ни приводить изна-

чально умиротворенную душу в дремотное состояние.

Теперь перейдем к любовной истории Обломова и Ольги Ильинской. В частности, на сей счет И. А. Гончаров пишет такое: «Обломову нужды, в сущности, не было, являлась ли Ольга Корделией и осталась ли бы верна этому образу или пошла бы новой тропой и преобразилась в другое видение, лишь бы она являлась в тех же красках и лучах, в каких она жила в его сердце, лишь бы ему было хорошо». Как мы видим, уважаемый читатель, идеал женщины Обломова укладывается вполне в его же «сладкое томление», кое может быть на самом деле для него же вовсе и не полезным. Другими словами, оторванная от реальности игра воображения героя романа не может спасти его душу, а может лишь в итоге огорчать ее. Далее еще такое: «Они (Обломов и Ольга Ильинская. — А. М.) не лгали ни перед собой, ни друг другу: они выдавали то, что говорило сердце, а голос его проходил через воображение». Последняя мысль автора романа вполне подтверждает собою сделанное до того замечание оскорбленной роли всякого человеческого любовного воображения. Но продолжим сию историю прямо по тексту романа: «Он (Обломов. — А. М.) веровал еще больше в эти волшебные звуки, в обаятельный свет и спешил предстать перед ней (Ольгой. — А. М.) во всеоружии страсти, показать ей весь блеск и всю силу огня, который пожирал его душу». Как видно из последнего описания, Обломов вовсе не любит Ольгу саму по себе, он лишь любит свою собственную иллюзию этой любви. Иначе говоря, герой романа увлекается лишь «страстью к страсти». Героиня романа в свою очередь отвечала Обломову: «Она одевала излияние сердца в те краски, какими горело ее воображение в настоящий момент, и веровала, что они верны природе, и спешила в невинном и бессознательном кокетстве явиться в прекрасном уборе перед глазами своего друга». Тем самым Ольга Ильинская также подобно Обломову безотчетно впада-

ла в грех сладкого самообольщения. Можно ли ожидать от подобных этим отношений между мужчиной и женщиной какой-либо устойчивой перспективы? Вряд ли. И как бы услышав нас, И. А. Гончаров пишет уже так: «И он и она прислушивались к этим звукам (взаимоотношений. — А. М.), уловляли их и спешили выпевать, что каждый слышит, друг перед другом, не подозревая, что завтра зазвучат другие звуки, явятся иные лучи, и, забывая на другой день, что вчера было пение другое». Тем самым автор романа вполне отдает отчет в том, что его герои вряд ли смогут быть вместе, что им лишь кажется такая возможность, тогда как на самом деле они совсем не открыты друг для друга. Иными словами, они не готовы на подвиг (глубинное самоизменение) ради своей любви, коей, собственно говоря, и нет еще вовсе. Взамен нее в наличии лишь иллюзия таковой, которая и не может подвигать человека к помянутому выше изменению. Далее в качестве своего рода иллюстрации заявленного выше читаем уже следующее: «Ты думал, что я (речь идет об Ольге. — А. М.), не поняв тебя, была бы здесь с тобою одна, сидела бы по вечерам в беседке, слушала и доверялась тебе?» Так неожиданно героиня романа реагирует на предложение Обломова стать его женой, что приводит последнего в замешательство и в подозрение о разумности собственного поступка. Пытаясь снять возникшее сомнение, он изрекает: «Путь, где женщина жертвует всем: спокойствием, молвой, уважением и находит награду в любви... она заменяет ей все». На это герой слышит уже такое: «А я знаю: тебе хотелось бы узнать, пожертвовала ли бы я тебе своим спокойствием, пошла ли бы я с тобой по этому пути? Не правда ли?» Ответ «Никогда, ни за что!» странным образом остается так до конца и неосознанным Обломовым. Впрочем, ему не хватает понимания, что он обращается явно не по адресу, так как перед ним женщина, очевидно, не его душевного склада. Говоря попросту, она ему чужда как по духу, так

и по мировоззрению. Другое дело, что для него такое понимание так и остается недоступным. Почему? Да потому, что его наличное образование никак не способствовало тому, наоборот, оно всячески маскировало сию принципиальную разницу, делало ее «размытою» или как бы несуществующей. Поэтому, имея прирожденный душевный склад доброго человека, Обломов все же так и не может успешно его употребить в жизни даже для самого себя. Иначе говоря, тонкость его натуры так для него самого и не становится реальностью. Или он так и не понимает до конца преимуществ собственной душевной организации и ее могучих возможностей. Вместо этого им овладевает иное: «Что ж это такое? — печально думал Обломов, — ни продолжительного шепота, ни таинственного уговора слить обе жизни в одну! Все как-то иначе, по-другому. Какая странная эта Ольга! Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье! Сейчас и поезжай в палату, на квартиру — точно Андрей (речь идет о Штольце. — А. М.)! Что это все они как будто сговорились торопиться жить!» Как мы видим, герой романа находится в полном недоумении на счет своего ближайшего окружения, совсем не понимает его. Далее И. А. Гончаров пишет: «Но осенние вечера в городе (после переезда героев романа с дачи. — А. М.) не походили на длинные, светлые дни и вечера в парке и роще... И вся эта летняя, цветущая поэма любви как будто остановилась, пошла ленивее, как будто не хватило в ней содержания». Что ж, автору романа не откажешь в чутье и даже в догадливости. Другими словами, И. А. Гончаров ясно осознает перспективу любовных отношений собственных героев. Названное осознание как раз и выражено им словами: «не хватило в ней (в поэме о любви. — А. М.) содержания». На самом же деле влюбленность героев друг в друга и не стала окончательно их любовью. Отсюда их странные мо-

нологи наедине с собой. Так, Ольга полагает: «Она искала, отчего происходит эта неполнота (речь шла о тягостной задумчивости героини, посещавшей ее иногда в связи с ее отношениями с Обломовым. — А. М.), неудовлетворенность счастья? Чего недостает ей? Что еще нужно? Ведь это судьба — назначение любить Обломова? Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой верой в добро, а пуще всего нежностью, нежностью, какой она не видала никогда в глазах мужчины». В свою очередь Обломов думал уже такое: «У него шевельнулась странная мысль. Она смотрела на него с спокойной гордостью и твердо ждала; а ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья, хоть на одну минуту, а потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя!» Как мы видим, герои романа придумали каждый себе нетвердые ориентиры, которые понимают как вполне надежные и ждут каждый себе блага. Героиня ставит во главу угла нежность своего возлюбленного, чистую веру в добро (это, видимо, вместо веры в Бога), герой же — хмелящее его счастье. В результате вроде бы неплохие люди попадают каждый по-своему в обольщающий самообман, в котором и начинают недоумевать попусту вновь каждый по-своему. Но вспомним, что И. А. Гончаров ранее указывал об Обломове, в основании натуры которого, по мнению автора романа, «лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатии ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца», то, что он ко всему прочему был удивительно проницателен. Так, в беседе со Штольцем он указывал последнему: «Жизнь: хороша жизнь! Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все эти мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены совета и общества!.. Разве не спят они всю жизнь сидя?..

Дела-то своего нет, они разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему!..» Во как! Все разъял, все понял. И вдруг откуда не возьмись такое явное отсутствие чутя и понимания как самого себя, так и близкой ему женщины. Неужели такое возможно в реальной жизни? Видимо, И. А. Гончаров оказался невольно заложником противоречий мировоззрения, сформированного «гуманитарным» образованием, в котором места-то вере в Бога явно не нашлось. С другой стороны, автор романа, видимо, все-таки осознает противоречия и собственных взглядов на жизнь человеческую. В частности, он через Обломова говорит такое: «...куда делось все, отчего погасло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видел, никто не указал мне его... да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас». Иначе говоря, И. А. Гончаров вместе с Обломовым недоумевает оттого, что жизнь «душит» всякие благие человеческие порывы, превращает людей либо в деятельных «мертвецов», либо переводит их в разряд «зря живущих» человеческих существ. Впрочем, кто-то потребует от автора настоящего очерка и весомых доказательств выдвинутого им предположения. Что ж, извольте. В письме С. А. Никитенко (1866) И. А. Гончаров писал следующее: «Скажу Вам, наконец, вот что, чего никому не говорил, с той самой минуты, когда я начал писать для печати (мне уж было за 30 лет, и были опыты), у меня был один артистический идеал: это — изображение честной, доброй, симпатической натуры, в высшей степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего

в апатию и бессилие от сознания слабости своей и чужой, то есть вообще человеческой натуры». Эка невидаль, экое открытие делает И. А. Гончаров. Да, ведь издавна ведомо, что человек слаб и грешен, а значит, лишь в вере в Бога может обрести силу и победу над своими немощами. Далее писатель признается, что ни в одном из его романов подобный замысел в чистом виде не был реализован. А почему, собственно? А потому, что сам замысел-то сей, очевидно, неудачен, а значит, для честного автора и невозможен вовсе. Поэтому-то Обломов и получается у И. А. Гончарова местами как совсем уж ничемная фигура. В противном случае рассматриваемый роман неизбежно приобрел бы очевидно фальшивые черты. Другими словами, описывать всерьез честную и добрую человеческую натуру как натуру, систематически живущую на чужой счет, совсем уж невозможно будет. В результате Обломов местами вполне сливается в воззрениях своих с автором романа, местами же явно превращается в нечто на себя уже совсем непохожее, если хотите, даже в нечто карикатурное. Но сей факт сам по себе и есть доказательство того, что внутри авторского вымысла *вставлена* ложь или имеет место *периодическая подмена* лица главного героя романа. Где доказательства сего утверждения? Что ж, вернемся к тексту романа и продолжим его прочтение в надежде, что требуемые аргументы сами и отыщутся. А вот, кажется, и первое подходящее место: «Ах, скорей бы кончить да сидеть с ней рядом, не таскаться такую даль сюда! — думал он. — А то после такого лета да еще видется урывками, украдкой, играть роль влюбленного мальчика... Правду сказать, я бы сегодня не поехал в театр, если б уж был женат: шестой раз слышу эту оперу...» Во как! Еще только жених, а уже устал. Нечего сказать, и куда делся трепет нежно любящей души? Да и, как говорится, «был ли мальчик»? Иначе говоря, любил ли Обломов Ольгу? Навряд ли. А что ж тогда с ним было? Любовный мираж,

и только. Но в таком случае Обломов либо нечестен сам с собою, либо, простите, глуп. А вот еще такое наблюдение из жизни героя романа: «...приезжая домой, ложился, без ведома Ольги, на диван, но ложился не спать, не лежать мертвой колодой, а мечтать о ней, играть мысленно в счастье и волноваться, заглядывая в будущую перспективу своей домашней, мирной жизни, где будет сиять Ольга, — и все засияет около нее. Заглядывая в будущее, он иногда невольно, иногда умышленно заглядывал, в полуотворенную дверь, и на мелькавшие локти хозяйки». Как мы видим, Обломов оказывается еще и плутоват. Почему? Да потому, что, во-первых, ложился днем на диван, нарушая данное Ольге слово днем более не лежать, во-вторых, умышленно соблазнялся оголенными округлыми локтями своей будущей жены Агафьи Матвеевны. Причем последнее делал особо цинично в самое время нежных мечтаний о семейной жизни с Ольгой. Тем самым вдруг обнаруживается вместо честной и доброй натуры героя нечто совсем иное, а именно: вполне заурядное и слабое человеческое существо, лишь рядящееся порой в возвышенные одежды чистых чувств и стремлений. Теперь, перед сценой обвинения Захара в распространении им якобы нелепых, вздорных слухов о грядущей свадьбе барина и Ольги Ильинской Обломов обдумывает свой план по вразумлению слуги так: «Надо выбить из головы Захара эту мысль, чтоб он счел это за нелепость». Вновь перед нами предстает существо отчетливо низкое, если не сказать, подлое. Впрочем, Обломова отчасти извиняет то, что он после этого «плохо спал, мало ел, рассеян и угрюмо глядел на все». Иначе говоря, герой романа все-таки иногда ощущал постыдность собственного положения «ложного жениха», а значит, все-таки имел и надежду на исправление самого себя. Но читаем следующее примечательное наблюдение: «И в самый обед: нашла время!» — думал он (Обломов. — А. М.), направляясь, не без лени, к Летнему саду». Хорошо, нечего сказать! Его воз-

любленная (то есть Ольга) жадно ищет с ним встречи, а он (чистый и искренний человек?) ворчит, что обед из-за нее пропустить придется. А дальше, держись, читатель, еще веселее будет! Если героиня романа, как только может, пытается, наконец-то, воссоединиться с героем романа, то Обломов вопреки самому себе всячески хитрит и изворачивается, пытаясь не допустить ни помолвки, ни последующего брака с Ольгой Ильинской. Где доказательства? Извольте: «Меня убивает совесть: ты молода, мало знаешь свет и людей, и притом ты так чиста, так свято любишь, что тебе и в голову не приходит, какому строгому порицанию подвергаемся мы оба за то, что делаем (речь идет о встрече тайком. — А. М.), — больше всего я». Прочитав последнее внимательно, мы обнаруживаем, что под видимостью заботы о репутации любимой женщины герой прежде всего хлопочет о себе («меня убивает совесть», «строгую порицанию» общества подвергаюсь «больше всего я»). Далее читаем такое: «Пойми, для чего я говорю тебе это: ты будешь несчастлива, и на меня одного ляжет ответственность в этом. Скажут, я увлекал, закрывал от тебя пропасть с умыслом. Ты чиста и покойна со мной, но кого ты уверишь в этом? Кто поверит?» Вновь мы видим, что Обломов под видом заботы об Ольге опять тревожится за себя («на меня одного ляжет ответственность», «скажут, я увлекал, закрывал от тебя пропасть с умыслом»). Когда же героиня предлагает герою получить от ее тети, не мешкая, благословление на их брак, Обломов начинает энергично уговаривать ее не спешить с этим желанием, в частности, он говорит такие слова: «Да я не подумал тогда (когда сам торопил с помолвкой. — А. М.) о приготовлениях, а их много! Дождемся только письма из деревни». На что резонно замечает уже Ольга: «Разве тот или другой ответ может изменить твоё намерение?» И в финале рассматриваемой сцены мы узнаем следующие мысли Ильи Ильича: «Ах, боже мой, до чего дошло! Какой камень вдруг упал на

меня! Что я теперь стану делать? Сонечка! Захар! Франты (речь шла о молодых людях в театре, которые обсуждали промеж собой Обломова в связи с Ольгой Ильинской. — А. М.)...» Кроме того, славный герой романа И. А. Гончарова умудряется со спокойной совестью уклониться от обещанного героине визита к ней на завтра, сразу после объяснений с нею в Летнем саду. В ответ же на письмо Ольги Ильинской с вопросом о причине его отсутствия у нее Обломов размышляет такое: «Господи! Зачем она любит меня? Зачем я люблю ее? Зачем мы встретились? Это все Андрей (Штольц. — А. М.): он привил любовь, как оспу, нам обоим. И что это за жизнь, все волнения да тревоги! Когда же будет мирное счастье, покой?» Как мы видим, герой романа запутался вконец. Но это так, с одной стороны. С другой же — он четко понимает, что ему надо лишь покоя, который и есть его «мирное» счастье. Но тогда получается, что он ни в чем не виноват, все игра случая, все действие внешней воли (в данном случае — Штольца). И это чистый, честный, искренний человек? На самом деле перед нами жалкий, трусливый и лукавый человек, который, впрочем, может и «пошалить» чуть-чуть, но лишь умильно и кротко. Грустно. В реальной жизни сия физиономия выглядела бы явно несколько иначе. Но не будем спешить с окончательными выводами и продолжим чтение романа. В частности, видим такое: «Он написал Ольге, что в Летнем саду простудился немного, должен был напиться горячей травы и просидеть дня два дома, что теперь все прошло, и он надеется видеть ее в воскресенье». Вновь ложь героя, претендующего якобы на честное и искреннее бытие. Далее наш лгунишка пишет своей «возлюбленной» такое: «жестокая судьба (якобы болезнь горла. — А. М.) лишает его счастья еще несколько дней видеть ненаглядную Ольгу». Вот она изысканная «нежность» и тонкость натуры героя романа! Кстати, слово «нежность» с сущностной точки зрения означает *состояние кого-*

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

либо, направленное к обеспечению благополучия кого-либо и реализуемое незаметно для воли, но не сознания последнего. Таким образом, сама нежность отличается абсолютной сочетаемостью настроений как ее носителя, так и ее адресата. Другими словами, диссонанс названных настроений неизбежно препятствует возникновению известного явления. Впрочем, нежность может возникать даже между человеком и животным (растением), между человеком и самыми разными неживыми предметами и объектами. В случае же Обломова и Ольги Ильинской мы имеем лишь имитацию последней. Сам же герой романа есть слабый, безвольный и безответственный человек, стремящийся по возможности избегать неправды и зла. В решающие моменты собственной жизни (например, в романе с Ольгой) он не готов ни к физическим, ни к психологическим перегрузкам, а значит, его удел лишь позорное ускользание из кризисных ситуаций, которые возникают опять же по его слабости и нечестности перед самим собой. А вот и образец последних «прелестей» героя романа: «Вот что, у меня все это время так напугано воображение этими ужасами (слухами о его женитьбе на Ольге. — А. М.) за тебя, так истерзан ум заботами, сердце наболело то от сбывающихся, то от пропадающих надежд, от ожиданий, что весь организм мой потрясен: он немеет, требует хоть временного успокоения...» Каково? «Он немеет», но «требует... успокоения». Далее Обломов, избегая ответов на уточняющие вопросы явившейся к нему неожиданно Ольги, бросается показывать ей свою квартиру, чтоб замаять вопрос о том, что он делал эти (две последние недели. — А. М.) дни. Но это еще не все. Наш герой, как говорится, не промах будет. На вопрос героини о его любви к ней он отвечает: «Ах, Ольга! Требуй доказательств! Повторю тебе, что если б ты с другим могла быть счастливее, я бы без ропота уступил права свои; если б надо было умереть за тебя, я бы с радостью умер!» Во как! А по сути, что

мы тут имеем? Растравил душу девушки, да и бросил. Почему? Да потому, что уже и сбыть вполне готов невестушку свою, в тягость ему, видимо, стала. Да, можно соблазнять женщину, как говорится, плотски, но можно еще иначе, скажем, духовно, добившись лишь ее согласия на брак. В последнем и в целом тонком деле Обломов оказался прямо-таки мастак. А если кто сомневается в том, то пусть перечтет следующее: «Ты не знаешь, сколько здоровья унесли у меня эти страсти и заботы! У меня нет другой мысли с тех пор, как я тебя знаю... Да, и теперь, повторю, ты моя цель, и только ты одна. Я сейчас умру, сойду с ума, если тебя не будет со мной! Я теперь дышу, смотрю, мыслю и чувствую тобой. Что ж ты удивляешься, что в те дни, когда не вижу тебя, я засыпаю и падаю? Мне все противно, все скучно; я машина: хожу, делаю и не замечаю, что делаю. Ты огонь и сила этой машины, — говорил он, становясь на колени и выпрямляясь... — Я сейчас готов идти, куда ты велишь, делать, что хочешь. Я чувствую, что живу, когда ты смотришь на меня, говоришь, поешь...» Здорово, а? Кого из классических героев в умении обольщать женщину можно поставить рядом? Мало доказательств? Ну так вот еще: «“Смотри, смотри на меня: не воскрес ли я, не живу ли в эту минуту? Пойдем отсюда! Вон! Вон! Я не могу ни минуты оставаться здесь; мне душно, гадко!” И тут же он торопливо хватал шляпку и салоп (принадлежащие Ольге. — А. М.) и, в суматохе, хотел надеть салоп ей на голову». Впрочем, И. А. Гончаров далее в тексте романа указывает, что Обломов и сам вполне верил в то, что произносил вслух: «В организме (Обломова. — А. М.) разлилась какая-то теплота, свежесть, бодрость. И опять, как прежде, ему захотелось вдруг всюду, куда-нибудь далеко: и туда, к Штольцу, с Ольгой, и в деревню, на поля, в рощи, хотелось уединиться в своем кабинете и погрузиться в труд, и самому ехать на Рыбинскую пристань, и дорогу проводить, и прочесть только что вышедшую новую

книгу, о которой все говорят, и в оперу — сегодня... Какая, в самом деле, здесь (в комнате Обломова. — *А. М.*) гадость! — говорил он, оглядываясь. — И этот ангел (речь идет об Ольге. — *А. М.*) спустился в болото, освятил его своим присутствием!» И далее, обнаружив на полу перчатку Ольги, Обломов изрекает: «Залог! Ее рука: это предзнаменование! О!.. — простонал он страстно, прижимая перчатку к губам». Но что же это? Неужели все это всерьез? Смотрим по тексту романа ниже: «Да нет, вы (речь идет об Агафье Матвеевне. — *А. М.*), пожалуйста, не верьте: это совершенная клевета (речь идет о том, что Обломова навещала Ильинская барышня. — *Авт.*)! Никакой барышни не было: приезжала просто портниха, которая рубашки шьет. Примерять приезжала...» Как мы видим, герой романа все-таки, пускай милый, но все равно лжец, а значит, и доверия к его возвышенным излияниям любовных чувств и нет вовсе. А что ж он на самом деле ценит, чем дорожит доподлинно? Узнав из письма от доверенного лица о печальных делах в Обломовке, Илья Ильич размышляет о кредите на поправку своих дел, но тут же приходит к следующим выводам: «Как можно! А как не отдашь в срок? если дела пойдут плохо, тогда попадут ко взысканию, и имя Обломова, до сих пор чистое, неприкосновенное...» Вот где суть героя романа оказывается. Обломов ценит самого себя прямо-таки ангелом во плоти. Что тут скажешь? И смех и грех, как говорится, «в одном флаконе»! Илья Ильич, видимо, есть классический тип «честного глупца», который даже не замечает своей порочности, искренно полагая себя самым благородным существом на свете. По-другому, самомнение Обломова и есть та «священная корова» его бытия, которой он верен более всего на свете. При этом Илья Ильич удивительно ко всему еще не стыдлив, в частности, в разговоре с братом своей хозяйки Агафьи Матвеевны он не стесняется говорить и такое: «Вот я и не приспособился к делу, а сделался просто барином, а вы

приспособились: ну, так решите же, как изворотиться». Кроме сего печального обстоятельства, названный выше брат Агафьи Матвеевны вкупе с приятелем Обломова Тарантьевым дают герою романа аттестацию последнего простофили: «Да, кум, пока не перевелись олуха на Руси, что подписывают бумаги, не читая, нашему брату можно жить». В результате получается картина прямо-таки умилительно-уморительная, а именно такая: Обломов, полагая себя «чистым» во всех отношениях барином, является при этом мелким лгунишкой, а также объектом поживы даже третьих лиц. Кроме того, он же полагает самого себя образцом самой глубокой житейской мудрости, состоящей в «принципиальном» ничегонеделанье. Зато взамен он готов неумоимо восхищаться и умиляться красотой собственных тонких переживаний, упиваться с восторгом изяществом перелива своих чувств. Хороша себе альтернатива, ничего не скажешь! С другой стороны, Ольга в момент расставания с Обломовым говорит ему: «Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умен, нежен, благороден... и... гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу...» Но нет ли в последней высокой оценке героя роковой ошибки? Добр, умен, нежен, благороден ли он в самом деле? Благонамерен? Пожалуй. Наивен? Весьма так. Мягкотел в обращении с другими людьми? Очень даже. Благороден ли он в значении человека, способного пренебречь личными интересами, обладающего также высокой нравственностью, безукоризненной честностью человека? Вряд ли. Что же у нас выходит «в сухом осадке»? Инертный, безвольный, избалованный человек, никому не желающий зла, но и как бы не творящий никому и особого добра тоже. Да, Обломов симпатичен на бумаге или в книге, но, как говорится, упаси Господь от встречи и отношений с ним в реальной жизни. Обманет ожидания непременно и еще будет в претензии, что не вошли в его особое и утонченное положение, не поняли расстройств его искренних и

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

очень высоких чувств. Впрочем, будущая супруга Обломова Агафья Матвеевна совсем не согласилась бы с последним определением героя романа, наоборот, выразилась бы на его счет, например, так: «Он барин, он сияет, блещет! При этом он так добр: как мягко он ходит, делает движения, дотронется до руки — как бархат... И глядит он и говорит так же мягко, с такой добротой...» Да, с такой женщиной, как хозяйка его квартиры, Обломову быть как раз впору: «Никаких понуканий, никаких требований не предъявляет Агафья Матвеевна. И у него не рождается никаких самолюбивых желаний, позывов, стремлений на подвиги, мучительных терзаний о том, что уходит время, что гибнут его силы, что ничего не сделал он, ни зла, ни добра, что празден он и не живет, а прозябает». При этом наш герой уже и не церемонится, легко берет за обнаженные локти Агафью Матвеевну и целует ее совсем без предложений руки и сердца в шею. Что, конечно же, никак не остается незамеченным домочадцами. В результате вновь любвеобильный Илья Ильич, как говорится, «вляпался». Но на этот раз без особых тревог о собственной чести. Впрочем, о ней ему снова стало ведомо, но на этот раз пришлось отвечать вынужденно и уже не перед собой только (речь о требовании братом Агафьи Матвеевны денег за «компрометацию» Обломовым чести его сестры) и отвечать весьма болезненно, да так, что еле-еле концы с концами стал сводить. И если бы не подоспел вовремя Андрей Иванович Штольц, то, видимо, так до конца своих дней и находился бы в ловко придуманной для него финансовой кабале. Но неужели не найти ничего славного в образе героя романа? И. А. Гончаров, отвечая сей вдруг возникшей нужде, пишет нам такое: «Нет, скажи, напомни, что я (в данном случае речь идет от имени Обломова. — А. М.) встретился ей (Ольге. — А. М.) затем, чтоб вывести ее на путь... я не краснею своей роли, не каюсь; с души тяжесть спала; там ясно, и я счастлив. Боже!

благодарю тебя!» Что ж, трудно не признать здесь за Ильей Обломовым известного великодушия. Но осадок — осадок от ранее совершенного героем предательства своей любви к Ольге и ее любви к нему никуда, к сожалению, не девается, а значит, Обломов так и остается не у дел самой своей жизни. Что он такое? Зачем жил? Что пытался всерьез сказать людям? Жаль его? Пожалуй, но и только. Впрочем, нет. Главное, главное оказалось забыто: Обломов — это, если хотите, *невольный учитель любви*, чем и будет еще долго в памяти людской. Но почему вдруг это так? Да потому, что нельзя любить по-настоящему, *не жалея сам объект любви*. И Обломов здесь удивительно, как говорят, «попадает» собой в такой образ любви, ведь из героев романа только он на самом деле и любит, и только он же любим действительно двумя главными героинями — Ольгой Ильинской и Агафьей Матвеевной. Другими словами, только его Бог награждает чудом любви, отнимая при этом у него же всякий успех земного бытия и сообщая при этом всякому внимательному наблюдателю подлинный смысл человеческого существования. Обломов, по земным меркам, любит странно очень, но по неземным — он любит безупречно. Но как и через что об этом нам становится известно? А, например, через такие строки его письма к Ольге: «В своей глубокой тоске немного утешаюсь тем, что этот коротенький эпизод нашей жизни мне оставит навсегда такое чистое, благоуханное воспоминание, что одного его довольно будет, чтоб не погрузиться в прежний сон души, а вам, не принеся вреда, послужит руководством в будущей, нормальной любви. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как она, с той ветки, на которую сели невзначай!» В ответ Ольга говорит Обломову следующее: «...в письме этом, как в зеркале, видна ваша нежность, ваша осторожность, забота обо мне, боязнь за мое счастье, ваша чистая совесть... вы не эгоист,

Илья Ильич, вы написали совсем не для того, чтоб расстаться, — этого вы не хотели, а потому, что боялись обмануть меня... Это говорила честность, иначе бы письмо оскорбило меня и я не заплакала бы — от гордости! Видите, я знаю, за что люблю вас, и не боюсь ошибки: я в вас не ошибаюсь...» Позже, уже замужем за Штольцем, Ольга говорит об Обломове такое: «Я люблю его по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменяю, как иные... В воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нежный взгляд, покорность, потом жалкая, стыдливая улыбка, которую он при разлуке ответил на ее упрек... и ей стало так больно, так жаль его...» А что же Агафья Матвеевна? О ней И. А. Гончаров в самом конце романа написал: «Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно». Ну и в завершение сформировавшейся вполне отрадной картины приведем еще слова слуги Обломова — Захара, сказанные им о своем барине Андрею Ивановичу Штольцу и некому литератору во время случайной встречи на улице: «Этакого барина отнял господь! На радость людям жил, жить бы ему сто лет... Не нажить такого барина!»

Завершая настоящий очерк, вероятно, следует заметить, что И. А. Гончаров создал самое удивительное и самое нежное литературное полотно, которое и возможно было создать только в XIX столетии. Почему вдруг так? Да потому, что его герой — Обломов и оказался таковым. Или он явился читателю аки сама «голубиная нежность» во плоти, явился в тех исторических условиях, в которых он только и мог возникнуть. Но, с другой стороны, необходимо все-таки внести ясность и в вопрос о роли образа Обломова в общественном сознании со-

временной России. Некоторые читатели разбираемого романа скажут автору очерка, что сие влияние очень даже положительно. Согласен ли с этим утверждением автор очерка? Вряд ли. И вот почему. Да, герой романа симпатичен ему. Да, он не делает никому своей маленькой ложью заметного вреда. Но разве его преждевременная смерть не говорит о чем-то важном и тревожном? Разве хорошо, что его родной сын попадает на воспитание к его *сущностному* оппоненту Штольцу? И кто виноват? А виновата та самая маленькая и как бы простительная ложь самому себе. Именно она исподволь, как ржавчина, разъедает всю жизнь самого Обломова, превращает ее в неудачу. А то, что кто-то научается от Обломова любить, то сей урок, конечно, греет душу, но никак не спасает ее. Почему? Да потому, что в ней *Бога мало будет*. Иначе говоря, не может человек любить всерьез вне веры в Бога, а ее-то образ Обломова как раз и не дает. Впрочем, подражать ему в XXI столетии будет, как говорится, «себе дороже». Почему? Да потому, что, во-первых, мир изменился так основательно, что в нем подобное воплощение человека невозможно. Другими словами, утрачено навсегда само подобное состояние совокупного общественного духа, ставшее ныне заложником лишь одного бога — бога **ВЫГОДЫ**. Во-вторых, сегодня уже очевиден острый дефицит того, что позволит самому феномену любви, проявившемуся некогда в Обломове, сохраниться и заметно приумножаться. Иначе говоря, без разработки и неукоснительного внедрения ясной и убедительной программы воспитания и образования самого человека ничего путного в жизни так и не произойдет, и более того: снимется неизбежно даже сама актуальность подобного крайне важного, но все-таки весьма деликатного намерения. Поэтому роман И. А. Гончарова «Обломов» ныне есть лишь некий намек из нашего общего прошлого на все еще сохраняющийся для всех нас небольшой шанс спасения, но не более того.

Александр Миронов

БЕСЕДА НА ВЕКА, ИЛИ КТО МЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?

(по материалам переписки Курбского с Грозным)

Сразу небольшое пояснение, чтобы вдруг не возникло ощущения, что автор настоящего текста просто впал в манию величия. Предпринимая попытку написания романа об Иоанне Грозном, я столкнулся с материалами переписки великого царя с князем Андреем Курбским. Так вот, она явилась для меня невероятным откровением. Иначе говоря, я пришел к неожиданному выводу, что ныне нет ничего более важного, как узнать и понять существо когда-то состоявшейся посредством переписки *многоумной беседы*. Поэтому, не мешкая, перехожу сразу к сути. Видимо, мало кто из действительно просвещенной публики не знает имени князя Андрея Курбского, очень близкого сподвижника раннего периода правления первого русского царя, скрывшегося за пределами Русского царства как раз в момент начала масштабного преследования многих представителей царского окружения. Ниже как раз и пойдет речь о подробном выяснении характера отношений русского царя и его ближайших слуг, соблазнявшихся большим мнением на свой счет. История, к счастью, сохранила для нас подробную упомянутую переписку царя с названным выше князем. Это историческое свидетельство и сегодня представляет важнейший документ жизни русского мира. Поэтому его и стоит перечитать, как говорится, со всем вниманием. Полагаю, что в ней как в зеркале, мы сможем увидеть и понять самих себя весьма отчетливо и решить, какими и почему нам быть впредь.

Сначала читаем ключевые фрагменты из *Первого* послания Курбского (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М.: Наука, 1981) в переложении на современный язык, адресованного когда-то лично царю:

«...Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе богом для борьбы с врагами, различными казням предал, и святую кровь их победоносную в церквах божьих пролил, и кровью мученическою обогрил церковные пороги, и на доброты твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, обвиняя невинных православных в изменах и чародействе, и в ином непотребстве, и с усердием тщишь свет во тьму обратить, и сладкое назвать горьким? В чем же провинились перед тобой и чем прогневали тебя христиане — соратники твои? Не они ли разгромили прегордые царства и обратили в покорные тебе во всем, а у них же прежде в рабстве были предки наши? Не сдались ли тебе крепости немецкие, по мудрости их, им от бога дарованной? За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми близкими нашими? Или ты, царь, мнишь, что бессмертен, и впал в невиданную ересь, словно не боишься предстать перед неподкупным судьей — надеждой христианской, богоначальным Иисусом, который придет вершить справедливый суд над вселенной, и уж тем более не помилует гордых притеснителей, и взыщет за все прегрешения власти их, как говорится: “Он

есть Христос мой, восседающий на престоле херувимскую одесную величайшего из высших, — судья между мной и тобой”.

Какого только зла и каких гонений от тебя не претерпел! И каких бед и напастей на меня не обрушил! И каких грехов и измен не возвел на меня! А всех причиненных тобой различных бед по порядку не могу и исчислить, ибо множество их, и горем объята душа моя. Но обо всем вместе скажу: до конца всего лишен был и из земли божьей тобою без вины изгнан. И воздал ты мне злом за добро мое и за любовь мою — непримиримой ненавистью. И кровь моя, которую я, словно воду, проливал за тебя, обличает тебя перед богом моим. Бог читает в сердцах: я же в уме своем постоянно размышлял, и совесть моя была моим свидетелем, и искал, и в мыслях своих оглядывался на себя самого, и не понял, и не нашел — в чем же я перед тобой согрешил...

Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже погибли, и истреблены тобою без вины, и заточены и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, гордясь словно суетной победой: казненные тобой, у престола господня стоя, вызывают об отмщении тебе, заточенные же и несправедливо изгнанные тобой из страны вызываем день и ночь к богу, обличая тебя. Хвалишься ты в гордости своей в этой временной и скоропреходящей жизни, измышляя на людей христианских мучительнейшие казни, к тому же надругаясь над ангельским образом и попирая его вместе со вторящими тебе льстецами и товарищами твоих пиров бесовских, единомышленниками твоими боярами, губящими душу твою и тело, которые детьми своими жертвуют, словно жрецы Крона. И обо всем этом здесь кончаю. А письмишко это, слезами омоченное, во гроб с собою прикажу положить, перед тем как идти с тобой на суд бога моего Иисуса. Аминь».

Обдумывая строго изложенное выше искреннее помышление, невольно начинаешь сопереживать Курбскому,

предполагая его полную невинность и соответственно сплошную злокозненность царскую. Однако если только вдуматься в прочитанное выше более основательно, чем обычно принято, то приходишь уже к иному заключению. К какому же? Фраза «на суд бога моего Иисуса» вполне характерна. Чем же? А тем, что Курбский называет Иисуса не нашим общим, а только своим богом. Что ж с того? Вроде бы и ничего такого, да только налицо мысленное отделение самого себя от остальных людей выходит. А в остальном смысле сия мысль не содержит ничего крамольного. И потом, уж больно князь высоко ценит свои услуги царю, а также услуги им же притесненных бояр или даже казненных. Получается прямо как на рынке — сплошная торговля заслугами, которые, видимо, должны были быть в сознании князя своего рода страховым полисом. И еще. Презрение князя к слугам царя, которые в служении своем даже детьми своими жертвуют, также весьма примечательно. Чем же? А тем, что для князя есть известные пределы в служении царю, которые им самим изначально установлены. Впрочем, не мешкая, перечтем характерные места из царского ответа. Вот каковы ключевые фрагменты из *Первого* послания Грозного князю:

«...Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою единокордную душу? Чем ты заменишь ее в день Страшного суда? Даже если ты приобретешь весь мир, смерть напоследок все равно похитит тебя; ради чего же за тело душой пожертвовал, если утратил смерть, поверив лживым словам своих бесами наученных друзей и советчиков? И повсюду, как бесы во всем мире, так и изволившие стать вашими друзьями и слугами, отрекшись от нас, нарушив крестное целование, подражая бесам, раскинули против нас различные сети и, по обычаю бесов, всячески следят за нами, за каждым словом и шагом, принимая нас за бесплотных и посему возводя на нас многочисленные по-

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

клепы и оскорбления. Вы же за эти злодеяния раздаете им многие награды нашей же землей и казной, заблуждаясь, считаете их слугами и, наполнившись этих бесовских слухов, вы, словно смертоносная ехидна, разъярившись на меня и душу свою погубив, поднялись на церковное разорение. Не полагай, что это справедливо — разъярившись на человека, выступить против бога; одно дело — человек, даже в царскую порфиру облеченный, а другое — бог. Или мнишь, окаянный, что убережешься? Нет уж! Если тебе придется вместе с ними воевать, тогда придется тебе и церкви разорять, и иконы попираить, и христиан убивать; если где и руками дерзнешь, то там много зла принесешь и смертоносным ядом своего умысла...

Ты же ради тела погубил душу, презрел нетленную славу ради быстротекущей и, на человека разъярившись, против бога восстал. Пойми же, несчастный, с какой высоты в какую пропасть ты низвергся душой и телом! Сбылись на тебе пророческие слова: “Кто думает, что он имеет, всего лишится”. В том ли твое благочестие, что ты погубил себя из-за своего себялюбия, а не ради бога? Могут же догадаться находящиеся возле тебя и способные к размышлению, что в тебе — злобесный яд: ты бежал не от смерти, а ради славы в этой кратковременной и скоротекущей жизни и богатства ради. Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние? В конце концов все равно умрешь. Если же ты убоялся смертного приговора по навету, поверив злодейской лжи твоих друзей, слуг сатаны, то это и есть явный ваш изменнический умысел, как это бывало в прошлом, так и есть ныне. Почему же ты презрел слова апостола Павла, который вещал: “Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти кроме как от бога: тот, кто противится власти, противится божьему повелению”. Воззри на него и вдумайся: кто противится власти — противится богу; а кто про-

тивится богу — тот именуется отступником, а это наихудший из грехов. А ведь сказано это обо всякой власти, даже о власти, добытой ценой крови и войн. Задумайся же над сказанным, ведь мы не насилием добыли царства, тем более поэтому, кто противится такой власти — противится богу! Тот же апостол Павел говорит (и этим словам ты не внял): “Рабы! Слушайтесь своих господ, работая на них не только на глазах, как человекоугодники, но как слуги бога, повинуйтесь не только добрым, но и злым, не только за страх, но и за совесть”. На это уже воля господня, если придется пострадать, творя добро. Если же ты праведен и благочестив, почему не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни?

Но ради преходящей славы, из-за себялюбия, во имя радостей мира сего все свое душевное благочестие вместе с христианской верой и законом ты поправил, уподобился семени, брошенному на камень и выросшему, когда же воссияло знойное солнце, тотчас же, из-за одного ложного слова, поддался ты искушению, и отвергся, и не вырастил плода; из-за лживых слов ты уподобился семени, упавшему на дорогу, ибо дьявол исторг из твоего сердца посеянную там истинную веру в бога и преданную службу нам и подчинил тебя своей воле. Потому и все божественные писания наставляют в том, что дети не должны противиться родителям, а рабы господам ни в чем, кроме веры. А если ты, научившись у отца своего дьявола, всякое лживыми словами своими сплетаешь, будто бы бежал от меня ради веры, — то жив господь бог мой, жива душа моя — в этом не только ты, но и твои единомышленники, бесовские слуги, не смогут нас обвинить. Но более всего уповаем — воплощения божьего слова и пречистой его матери, заступницы христианской милостью и молитвами всех святых — дать ответ не только тебе, но и тем, кто поправил святые иконы, отверг христианскую божественную тайну и отступил от бога (ты же

с ними полубовно объединился), обличить их словом, и провозгласить благочестие, и объявить, что воссияла благодать».

Как мы видим, строгий царь полагает веру основой всякого человека. В противном случае выходит то, что плотские интересы становятся непременно превалирующими, а значит, возникает и господствует в отношениях между людьми соответствующая борьба за обладание вещественными ресурсами и составляющая их брэнную суть и ведущую так или иначе к гибели души. То есть выходит то, что грозный царь был своего рода строгой проверкой и всей русской веры? Но читаем далее:

«Писание твое принято и прочитано внимательно. А так как змеинный яд ты спрятал под языком своим, поэтому хотя письмо твое по замыслу твоему и наполнено медом и сотами, но на вкус оно горше полыни; как сказал пророк: “Слова их мягче елеса, но подобны они стрелам”. Так ли привык ты, будучи христианином, служить христианскому государю? Так ли следует воздавать честь владыке, от бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд, подобно бесу?... И совершенно ослеп ты в своей злобе, не способен видеть истину: как мнишь себя достойным стоять у престола всевышнего, и всегда служить с ангелами, и своими руками заклать жертвенного агнца для спасения мира, когда все это вы же попрали со своими злобесными советниками, нам же своим злолукавым коварством многие страдания принесли? Вы ведь еще со времени моей юности, подобно бесам, благочестие нарушали и державу, данную мне от бога и от моих прародителей, под свою власть захватили...

Это все о мирском; в духовном же и церковном если и есть некий небольшой грех, то только из-за вашего же соблазна и измены; кроме того, и я — человек: нет ведь человека без греха, один бог безгрешен; а не так как ты — считаешь себя выше людей и равным ангелам. А о безбожных народах что и говорить! Там ведь у них

цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Русские же самодержцы изначально сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи! И этого в своей озлобленности не смог ты понять, считая благочестием, чтобы самодержавие попало под... ваше злодейское управление...

В том ли “сопротивным явился”, что я не дал вам погубить себя? А ты зачем против разума душу свою и крестное целование ни во что счел, из-за мнимого страха смерти? Советуешь нам то, чего сам не делаешь! По-наватски и по-фарисейски рассуждаешь: по-наватски потому, что требуешь от человека большего, чем позволяет человеческая природа, по-фарисейски же потому, что, сам не делая, требуешь этого от других. Но всего более этими и оскорблениями и укорами, которые вы как начали в прошлом, так и до сих пор продолжаете, ярясь как дикие звери, вы обнаруживаете свою измену, — в этом ли состоит ваша усердная и верная служба, чтобы оскорблять и укорять? Уподобляясь бесноватым, дрожите, предвосхищая божий суд, и прежде его своим злолукавым и самовольным приговором, со своими начальниками, с попом и Алексеем (речь о Сильвестре и Адашеве. — А. М.), осуждаете меня, как собаки. И этим вы стали противниками богу, а также и всем святым и преподобным, прославившимся постом и подвигами, отвергаете милосердие к грешным, а среди них много найдешь падших и вновь восставших (не позорно подняться!), а подавших страждущим руку, и от бездны грехов милосердно отведших, по апостолу, “за братьев, а не за врагов их считая”, ты же отвернулся от них! Так же как эти святые страдали от бесов, так и я от вас пострадал...

Как тебе не стыдно именовать мучениками злодеев, не разбирая, кто за что пострадал? Апостол восклицал: “Тот, кто незаконно, то есть не за веру, подвергнется мученичеству, не достоин мученического венца”; бже-

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

ственный Златоуст и великий Афанасий в своем исповедании говорили: “Мучимы ворами, разбойниками, злодеи и прелюбодеи, но они не блаженны, ибо мучимы за свои грехи, а не во имя бога”. Божественный же апостол Петр говорил: “Лучше пострадать за добрые дела, чем за зло”. Разве ты не видишь, что никто не восхваляет мучения творивших зло? Вы же уподобляясь своим злобесным поведением ехидне, изрыгающей яд, не разбираете ни обстоятельств, ни покаяния, ни преступности человека, а хотите только с бесовской хитростью прикрыть свою коварную измену лживыми словами».

Из последних слов царя видно, что он абсолютно исключает какую-либо торговлю вокруг понятия державного суверенитета. То есть Грозный строго считал, что суверенитет в пользу *правды божьей* (православия) должен быть незыблемым и какая-либо демократия или иная политическая цель здесь полностью исключаются. Почему? Да потому, что борьба за удобства жизни, царящая на Западе, никогда не станет борьбой за праведность человеческой жизни. Кроме этого, он же категорически настаивает на различении характера всякого страдания. Иначе говоря, *он утверждает святость только страдания за веру христианскую*. Всякие иные страдания человеческие у него окрашены укором самому страдальцу, выбравшему когда-то лукаво этот горький путь презрения веры для себя. Видимо, поэтому и не случайно выходит то, что в России исстари многие властители отличались и отличаются особо ныне фактически *профессиональной аморальностью*. То есть отказ от принципов Грозного во власти России непременно порождает в ней изуверский аморализм. Другими словами, Россия либо порождает власть с явными признаками праведности, либо получает в качестве владык лишь воплощенных упырей, которые никогда и ни за что не станут в ней подлинными западными менеджерами. Иными словами, Россия — это не место для телесного благоденствия и в ней не будет никогда ничего иного,

кроме борьбы за праведную жизнь всякого человека.

Идем далее и читаем:

«Разве же это “супротив разума” — сообразоваться с обстоятельствами и временем? Вспомни величайшего из царей, Константина: как он, ради царства, сына своего, им же рожденного, убил! И князь Федор Ростиславович, прародитель ваш, сколько крови пролил в Смоленске во время пасхи! А ведь они причислены к святым. А как же Давид, возлюбленный богом, как повелел тот Давид, чтобы всякий убивал иевусеев — и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давидову, когда его не приняли в Иерусалиме? Или и тех причтешь к мученикам, хотя они не захотели принять данного богом царя? Как же ты объяснишь, что такой благочестивый царь обрушил силу свою и гнев на немощных рабов? Но разве нынешние изменники не совершили такого же злодейства? Они еще хуже. Те только попытались помешать царю вступить в город, но не сумели этого сделать; эти же, нарушив клятву на кресте, отвергли уже принятого ими, данного им богом и родившегося на царстве царя и сколько могли сделать зла — сделали: словом и делом и тайным умыслом. Почему же эти менее достойны злейших казней, чем те? Ты скажешь: “Те действовали явно, эти же тайно”; но потому-то ваш злобесный нрав еще хуже; люди видят доброту и службу, а из сердец ваших исходят злодейские замыслы и злодеяние, и стремление к гибели и разрушению; устами своими благословляете, а в сердце своем проклинаете. Немало и иных найдешь царей, которые спасли свои царства от всяческой смуты и отразили злодеяния и умыслы злобесных людей. Ибо всегда царям следует быть осмотрительными: иногда кроткими, иногда жестокими, добрым же — милосердие и кротость, злым же — жестокость и муки; если же нет этого, то он не царь. Царь страшен не для дел благих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро; а если делаешь зло — бойся, ибо царь не напрасно меч носит — для устрашения злодеев и ободрения до-

бродетельных. Если же ты добр и праведен, то почему, видя, как в царском совете разгорелся огонь, не погасил его, но еще сильнее разжег? Где тебе следовало разумным советом уничтожить злодейский замысел, там ты еще сыпал сорных трав. И сбылось на тебе пророческое слово: “Вы все разожгли огонь, и ходите в пламени огня вашего, который вы сами на себя разожгли”. Разве ты не сходишь с Иудой предателем? Так же как он ради денег разъярился на владыку всех и отдал его на убийство, находясь среди его учеников, а веселясь с иудеями; так и ты, живя с нами, ел наш хлеб и нам служить обещался, а в душе копил злобу на нас. Так-то ты соблюл крестное целование желать нам добра во всем без всякой хитрости? Что же может быть подлее твоего коварного умысла? Как говорил премудрый: “Нет головы злее головы змеиной”, также и нет злобы злее твоей».

И в самом деле: сами факты бегства в Литву и развязанной последующей идейной брани Курбского с царем не подтверждают ли правоту Грозного? Или, по-другому говоря, если у кого-то вдруг не заладилась служба у царя, так отойди от нее прочь, смирись, и дело с концом. Но нет, не может Курбский отойти от нее просто так, уж больно она для него сладка и привлекательна, а значит, горькие слова царя в его адрес весьма и весьма основательны.

Возвращаемся к тексту послания Грозного Курбскому:

«Почему же ты взялся быть наставником моей души и моему телу? Кто тебя поставил судьей или властителем надо мной? Или ты дашь ответ за мою душу в день Страшного суда? Апостол Павел говорит: “Как веруют без проповедующего и как проповедуют, если не будут на то посланы?” Так было в пришествие Христово; ты же кем послан? И кто тебя сделал архиереем и позволил принять на себя учительский сан?»

Вновь мы отчетливо видим, что Курбский в душе своей считал себя ровней царю, а значит, полагал себя вправе спорить с ним и даже поучать его. В таком случае совершенно по-

нятно и то, что он не считал на самом деле Грозного помазанным на царство властителем, а лишь лукаво делал вид (прикидывался), что это так. В таком случае его вполне можно признать лицемером и ханжой, который лишь искусно скрывал до поры до времени свою действительно подлую сущность.

Снова читаем строки, адресованные Курбскому:

«Неужели же ты видишь благочестивую красоту там, где царство находится в руках попа-невежды и злодеев-изменников, а царь им повинует? А это, по-твоему, “сопротивно разуму и прокаженная совесть”, когда невежда вынужден молчать, злодеи отражены и царствует богом поставленный царь? Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось царство, руководимое попами. Тебе чего захотелось — того, что случилось с греками, погубившими царство и предавшимися туркам? Это ты нам советуешь? Так пусть эта погибель падет на твою голову! И потому ты подобен тем, о ком пишет апостол к Тимофею: “Сын мой Тимофей, знай, что в последние дни мира наступят времена тяжелые; люди станут самолюбивы, сребролюбцы, надменны, горды, все хулящие, не слушающие родителей своих, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглы, кичливы, более сластолюбивы, чем боголюбивы, внешне благочестивы, а от духа благочестия отвернувшиеся. От таких людей беги. Их влекут похоти различные, постоянно они учатся, а никогда в разум истинный прийти не могут. Вот так Анний и Амврий противились Моисею, а сами были врагами истины — люди, растленные умом и неискусенные в вере. Но не преуспеют они во многом: ибо безумие их станет явно всем, как и с теми случилось»».

То есть царь ясно предупреждает своего бывшего слугу, чтобы тот и не думал защищать околоцарскую демократию или демократию царских слуг, которая везде и непременно кончается общим духовным оскудени-

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

ем. В частности, он говорит о том так:

«Неужели же это свет — когда поп и лукавые рабы правят, царь же — только по имени и по чести царь, а властью нисколько не лучше раба? И неужели это тьма — когда царь управляет и владеет царством, а рабы выполняют приказания? Зачем же и самодержцем называется, если сам не управляет? Апостол Павел писал: “Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба; он подчинен управителям и наставникам до срока, отцом назначенного”. Мы же, слава богу, дошли до возраста, отцом назначенного, и нам не подобает слушаться управителей и наставников».

Ниже Грозный вновь вторит уже сказанному:

«Свет же во тьму я не превращаю и сладкое горьким не называю. Не это ли, по-твоему, свет и сладость, если рабы господствуют? И тьма и горечь ли это, если господствует данный богом государь, как подробно написано выше? Ты ведь в своей бесовской грамоте писал, изворачиваясь разными словами, все одно и то же, *восхваляя такой порядок, когда рабы властвуют помимо государя*. Я же усердно стараюсь обратить людей к истине и свету, чтобы они познали единого истинного бога, в Троице славимого, и данного им богом государя и отказались от междоусобных браней и преступной жизни, подрывающих царства. Это ли “горечь и тьма” — отойти от зла и творить добро? Это ведь и есть сладость и свет! Если царю не повинуются подданные, они никогда не оставят междоусобных браней. Что может быть хуже, чем урывать для самого себя! Сам не зная, где сладость и свет, где горечь и тьма, других поучаешь. Не это ли сладость и свет — отойти от добра и начать творить зло самовластием и в междоусобных бранях? Всякому ясно, что это — не свет, а тьма, и не сладость, а горечь».

Вот, если говорить вкратце, в чем существо когда-то случившегося спора на русской земле, который, кстати, и поныне сохраняет свою актуаль-

ность. В чем же? А, например, в том, что так называемый Совет по правам человека при президенте Российской Федерации в феврале 2011 года вдруг признал ответственность СССР за геноцид и Вторую мировую войну. Ловко? А то, еще как ловко. Что же он предлагает нам? Издание указа или закона, предусматривающего создание во всех крупных городах и крупных населенных пунктах (по крайней мере, до уровня райцентров) памятников жертвам репрессий... Вам это ничего не напоминает, уважаемый читатель? Правильно — дело князя Курбского живет и побеждает пока еще. Поэтому-то эпистолярная беседа князя и первого русского царя и сохраняет свою значимость даже в наши дни, когда сторонники сладенького земного преуспевания буквально торжествуют в России. Нам же всем, видимо, еще только предстоит в обозримом будущем вполне твердо решить, с кем и во имя чего мы готовы жить, а значит, и вершить дела свои.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кто-то, прочитав вышеизложенное, возможно скажет: и зачем нам сие абстрактное рассуждение, когда мы живем в XXI веке, веке тотальной прагматики и космических скоростей? Что ж, замечание справедливо и требует ответа. В качестве последнего предлагаю прочитать и обдумать предсказания, а точнее, пророчества Ванги, Серафима Верицкого и Серафима Саровского, касающиеся ближайшего будущего и мира и России. Но сначала выскажу соображения общего порядка. Мы сегодня по большей части склонны к демократическим решениям, как решениям наиболее удобным по причине их господствующей желанности. Однако голосование истины не может быть объективным, как говорится, по определению. Или внутри демократических процедур всегда господствует польза (выгода), а не призывы совести. В результате всякая демократия имеет смысловой оттенок торга. Поэтому-то у нас и выходит ровно то, что нам и предрекают.

Пророчество Ванги

«Хоть сейчас ваша страна и называется Советский Союз, но придет время, и старая Россия снова обретет свое истинное название. И тогда все признают ее духовное превосходство. Но прежде ваша страна пройдет череду великих катаклизмов. В то время будут жить ваши дети и внуки. Новые времена отмечены многими знаменениями, которые начнут проявляться к 1990 году. В жизни людей наступят большие перемены. Люди изменятся до неузнаваемости. Природные катаклизмы будут сотрясать землю. Несчастья будут происходить повсюду и затронут все народы. Мясо домашней скотины станет непригодно для еды. Плохие люди одержат верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть. Чувства полностью обесценятся, и только притворство, тщеславие и эгоизм будут побуждать большинство людей к отношениям. Повсюду будет процветать ростовщичество. Нравы станут настолько извращенные, что люди будут совокупляться прямо на улице, никого не стесняясь. Знамением начала апокалипсиса станет приход к власти черного царя на западе и двух царей в вашей стране. И хотя этот союз поначалу будет казаться крепким, он будет разрушен. В Северной Америке случится великая катастрофа на воде, устроенная человеком. Вода во всем океане станет черной, и ее нельзя будет пить. Остановятся подводные течения, и ветры принесут на всю землю сначала страшную жару и пожары, а потом сильные холода. С востока придет третья мировая война. Сначала это будет небольшая война, но потом она захватит весь мир, и тогда будет использовано ядерное оружие. Американские материки надолго станут непригодными для жизни. Но и в России будет гражданская война, и начнут ее простые люди, обворованные своими правителями. Люди будут ходить без одежды и обуви, жить без еды, топлива и света. Вода станет дороже золота. Исчезнут разные растения и животные. Все религии потеряют силу. Затем

начнется эпидемия неизвестной болезни. Люди будут падать замертво прямо на улице, даже если раньше ничем не болели. Чувства у людей настолько обострятся, что злые люди, которые считают себя умными, погибнут. Очень много людей погибнет. Другие потеряют разум, и будут нападать друг на друга, и поедать друг друга заживо, как дикие звери. Людей на земле станет мало. Потом на земле установится мир. Россия будет властелином всей земли. Появится новая религия. Окончательный мир установится к 2040 году».

Пророчества Серафима Верицкого

«Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во время открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями, гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен...

Если бы люди всего-всего мира, все до единого человека, в одно и то же время встали бы на колени и помолились Богу хотя бы только пять минут о продлении жизни, дабы даровал всем Господь время на покаяние, может случиться так, что вновь восстанет брат на брата...

Потом начнутся гонения на христиан; когда будут в глубь России уходить эшелоны из городов, надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останется, погибнут... Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь — китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и, в конце концов, хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит...

Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

часть своих земель. Это война, о которой повествует Священное Писание и говорят пророки, станет причиной объединения человечества. Люди поймут, что невозможно жить так дальше, иначе все живое погибнет, и выберут единое правительство — это будет преддверие воцарения антихриста...

Но придет время, когда будет глас Божий, когда поймет молодежь, что так жить дальше невозможно, — и пойдут к вере разными путями, усилятся тяга к подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую жажду к духовной жизни. Многие станут монахами, откроются монастыри, церкви будут полны верующих» (Преподобный Серафим Вырицкий. Акафист и житие. М.: Изд-во Братства святителя Алексия, 2002).

Пророчества Серафима Саровского

«Когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с *бунтовщиками*, другая же явно станет за *ГОСУДАРЯ и целость России*, вот тогда Господь поможет правому делу — ставших за *Государя и Отечество и Святую Церковь* нашу — и даст *полную победу* поднявшим оружие за Него [грядущего Государя], за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской. *Но не столько и тут крови прольется, сколько тогда*, когда правая за Государя ставшая сторона *получит победу и переловит по всему миру Царских изменников и врагов Христа* и предаст их в руки правосудия, *тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят*, и вот тут то еще *более прежнего крови прольется*, но эта кровь будет *последняя очистительная кровь*. Ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог Помазанного Своего Давида раба Своего Мужа по Сердцу Своему, Благочестивейшего Государя Императора. Его же утвердила и *паче* утвердит десница Его Святая над Землею Русскою. Славяне же любимы Богом за то, что до конца сохраняют Истинную

Вѣру в Господа Иисуса Христа. Во времена антихриста они *совершенно отвергнут* и не признают его Мессией, и за то удостоится великого Благословения Божия: будет всемогущественный язык на земле, и другого Царства более всемогущественного чем Русско-Славянского не будет на земле. Соединенными силами России и других стран Константинополь и Иерусалим будут *полонены*. При разделе Турции она *почти вся останется за Россией...*»

Что примечательного в процитированных выше словах, если обобщить их смысл? Представляется, что это строгое указание на абсолютную губительность курса на земное (вещественное) преуспеяние человека, на фактическое обожествление им самого себя. Кстати, именно о нем и хлопотали и хлопочут донныне страстно и Курбский в своих посланиях, и иные противники грозного русского царя. То есть на дистанции почти в пять веков правда царская как правда помазанника божьего становится как никогда ранее очевидной, а значит, нам всем впору призадуматься крепко о том и решить, кто мы на самом деле и зачем все-таки живем на земле. Иное же вполне бездумное существование становится сегодня просто безумным. И еще одно крайне важное обстоятельство. Серафим Саровский оставил нам следующее существенное разъяснение, вполне позволяющее признать правду Иоанна Грозного исчерпывающей:

«Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святого Духа Божьего. Заметьте, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Всяк иже не собирает со Мною, той расточает»».

Михаил Жаров

СЧАСТЬЮ БЫТЬ

(рассказ)

1

Второй класс школы. Вася Киселев ел на ИЗО пластилин и смеялся над всеми полным ртом. Саша Смирнов стриг на себе волосы, а когда достригся догола, то рискованно избавился от ресниц.

Лучшим слыл Толя Краснов. Он ничего не делал. Не писал, не рисовал. Тетрадки у него были пустые. Пластилина полная коробка.

При этом у доски он решал примеры на твердую «четверку», читал, почти как взрослый, и не обижался на «дурака». Ему хватило первого класса, чтобы науки дальше сами развивались в его странной головке.

На педсоветах фамилия Краснов стала нарицательной. «Хуже Краснова» означало «пора в интернат».

Самого его перевести не могли, потому что вреда он нес не больше, чем пустая парта, а террор «двойками» считался непедagogичным.

У Краснова имелись заботы насущнее школьных. У бабки в терраске он взял две тяжелые, на досках, иконы и смастерил из них бронжилет, прилепив «моментом» ремни. Потом изготовил грузное ожерелье, нанизав на нить полсотни чесночных зубчиков. В заключение он выстругал недетский осиновый колышек.

Обзаведясь амуницией и оружием, Краснов стал думать, с кем бороться. То, что враг должен быть исчадьем ада, а не каким-нибудь Васей Пластилином, он разумел, но и все.

Зло существовало, Краснов знал. Иначе почему его родная сестра, приезжая на выходные из института, падает в обмороки? Почему мать грустная, а если радуется, то только когда купит буханку черного хлеба? Почему отец дома, а не на работе, как раньше? Кто-то злой мешал им жить сыто и весело. Оставалось найти.

После школы Краснов надевал под пуховик иконописный жилет, водружал на шею чесночное ожерелье, совал за ремень кол и шел искать зло вокруг дома.

Круг за кругом он обходил родную пятиэтажку и всматривался в каждого. Подозрительные, конечно, попадались, но не настолько, чтобы карать без суда и следствия. Пьяные вообще не шли в счет, иначе бы кол об них затупился, как карандаш.

— Что ты ходишь? — выказало себя однажды зло. — Тебе по башке настучать?

Краснов обернулся. У последнего подъезда курили и смеялись трое парней.

— Ты дурак? — сказал один с большой головой, похожей на молот. — Надоел ходить.

Краснов давно сочинил речь карателя и сейчас попытался выговорить ее:

— Ты то зло, которое крадет счастье...

— Пошел отсюда! — не дослушал его парень.

Краснов покорно продолжил путь. За домом он остановился, чувствуя, как ему горячо от собственного пота. Кипяток лился даже по вискам.

Под ногами лежали камни.

Парень с большой головой сидел на лавочке и удивленно смотрел на то, как детская ручка, держащая камень, взмахивает перед ним, а во лбу у него раздается отчетливый стук. Еще время он моргал одним глазом, в который набегала резвая кровь.

Так и моргая глазом, парень долго и муторно бил Краснова кулаками по лицу, а Краснов стоял на ногах и сносил удары подобно Мохаммеду Али, не напрягая шею. Только смешно кувыркалась голова.

Наконец парень устал и вытер рукавом со лба благородные пот и кровь.

— Тебе чего надо-то? — задыхаясь, спросил он Краснова.

— Смерти твоей! — зарычал Краснов.

Один, второй... пятый полетели в лицо парню камни. Тот бежал на Краснова, а Краснов отскакивал и из карманов пуховика хватал новые и новые снаряды.

Друзья парня стояли опешившие, глупо улыбаясь.

Краснов бросил последний камень и двинулся в рукопашную. Он по-матросски рванул на груди пуховик, а парень, увидев лик Христа и чесночное ожерелье, отступил.

— Псих! — взвизгнул парень.

Появился кол, и уже попятились двое невольных секундентов.

— Пошли отсюда! — крикнул один. — Может, этот пацан заразный!

Взяв кол в зубы, Краснов стал поддевать ладонями осеннюю грязь и швырять злу в спины.

Домой он бежал уверенный, что там уже настало счастье. Интересно было увидеть, какое оно. Увидеть и нахвастать: это все я!

Он вбежал в квартиру и крикнул:

— Мам!

Она должна была ответить: «А у нас счастье!» Но ответила:

— Наконец-то! Иди, поешь, я сочень испекла.

Не снимая святых облачений, Краснов прошагал на кухню.

— Как дела? — бодро спросил он.

Дальше Краснов не успевал спрашивать и отвечать. Как маленького, мать бросилась раздевать его, мыть и причитать над ним:

— Ну дурак! Ну и дурак! Молния с мясом выдрана! В чем завтра в школу-то пойдешь? Где мы еще тебе одежду найдем? Отец без работы. У меня полгода зарплаты нет. Ну и дурак! А я думаю, что это чеснока меньше стало!

Краснов жмурил глаза. Они мокли и заплывали синяками.

— На Новый год приходи к нам! Слышишь? — сказала сестра, на-
кладывая ши, и добро-добро улыбаясь.

— Ладно, — сказал Краснов, видя улыбку.

— От себя ничего не придумывай! Мы уже начали закупаться.

— Почему это? Я на работу устроился. До праздников аванс по-
лучу.

— Ну! Куда? — Сестра улыбнулась на этот раз правдиво.

— Водителем в администрацию.

— Ух ты, молодец! И кого возишь?

— Всяких. Сегодня начальника отдела культуры возил. Завтра де-
путата Асафьева повезу.

— Здорово!

— Да. Столько дерьма там приходится видеть. Гомосек на гомосе-
ке. Тот же Асафьев, предупредили, до маленьких мальчиков охоч.

— Что поделаешь, — вздохнула сестра. — Везде так. Тебе б, конеч-
но, заводы строить с твоей-то головой. Но и эта работа хорошая, хоть
на ноги встанешь. Давай я одну бутылку шампанского открою!

— Не-не! Завтра ехать. Не буду.

Одеваясь, Краснов достал из кармана куртки красного буденовца
на коне.

— На, отдай племяншке, когда проснется. — Краснов протянул
буденовца сестре. — Сегодня у родителей был, в своих детских игруш-
ках покопался.

— У родителей? — Сестра потемнела. — Как они?

— Как... обычно, как. Одни игрушки в доме и остались.

— Давно не была. Видеть их больше не могу.

Сестра зачем-то понюхала пластмассового буденовца и пробур-
чала:

— Надо с хозяйственным мылом вымыть.

Краснов шел к своей 47-й комнате, а у 43-й у него дрогнуло сер-
дечко.

Чего боялся и желал, то и случилось. Из 43-й появилась Аня.

— О! Привет! — сверкнула Аня белыми зубками так, что в кори-
доре, кажется, прибавилось света. — Как дела? Приходи к нам сегод-
ня на блины!

Она не дала ему даже поздороваться, осыпая вопросами и пред-
ложениями, на которые сама ни разу не дожидалась ответа. Что
на улице, холодно? Что не видно тебя? Придешь к нам на Новый
год?

Краснов по привычке пропускал ее щебет, а о чем беспокоился,
так это как лишний раз скосить глаза на ее обутые в сланцы ноги с
розовым педикюром.

Внизу начинало безобразно щекотать.

— С кем ты трещишь? — высунул голову муж Ани, Вася Пласти-
лин. — Здорово, Толик! Мне с Питера канистру коньяка привезли.
Жду тебя!

— Не могу, — ответил окосевший Краснов. — На работу завтра.

— Правда? Куда?..

Краснов налил чая, сел за стол и положил перед собой газетный сверток, принесенный от родителей.

Он пил чай и думал, что счастье обязательно настанет. Там будет и собственная женщина с розовым педикюром, и подарки племяннику, и спокойные, трезвые родители. Счастью быть!

Он развернул газету. В ней лежал осиновый кол. Как раз на фотографии депутата Асафьева, человека с большой головой, похожей на молот.

19—21 декабря 2010 года

ВОЙНА, МАТЬ И ДОЧЬ

(рассказ)

До его прихода осталось пять минут, а Екатерина захотела спать. Подлое шампанское. Пить бы чай и не курить.

С целью взбодрить себя она набрала в телефоне Свету.

— Без пяти четыре, — вяло пожаловалась Екатерина, — может быть, он не придет?

— Он всегда точно приходит, если не залипнет, — веско ответила Света. — Боишься? Он больно делает!

— Почему обязательно больно? — оживилась Екатерина.

— Он мастер. Только-только кости не ломает.

— Почему же тогда не в каком-нибудь салоне работает, а ходит на дом?

— У него лицензии нет.

— Откуда же умеет?

— Мать научила. Она раньше в какой-то правительственной здравнице работала.

Екатерина, держа у уха радиотелефон, подошла к бару и одной рукой налила из початой бутылки шампанского.

— Только не спрашивай его про войну, мать и дочь, — наставляла Света. — Залипнет.

— Что ты все «залипнет-залипнет»? — обиделась Екатерина на загадочный жаргон.

— Значит, замолчит, уставится в одну точку, и хоть бей его, бесполезно.

— Что за война?

— В Чечне. Он там, говорит, женщину ел.

— Живую? — возмутилась Екатерина, выронив из губ сигарету.

— Как живую?.. — споткнулась о сложный вопрос Света. — Сначала мы все живые.

— Меня-то не съест?

— Меня же не съел.

— Так ты старая, — вырвалось у Екатерины.

— Чего? — закашлялась Света, видимо, тоже что-то выпивая или евши.

— О! Он идет! В окно вижу!

Екатерина поспешила с третьего этажа по винтовой лестнице, а Света бросала ей в трубку советы:

— Он сразу, как придет, моется. От него пахнет. Денег не плати, пока все двадцать сеансов не проделает. Грудь женская, говорит, как коровье вымя...

— Ладно, все! — рыкнула Екатерина и отключилась. — У тебя самой вымя.

За калиткой стоял, нет, не костолом. Ниже и моложе Екатерины, щуплый. Удивляло, что в глазах его отсутствовал взгляд. Хотя он улыбочиво шурился, но черные щелки не источали эмоций.

— Добрый день, Екатерина Сергеевна! — сказал он проникновенно, будто мечтал о встрече и был влюблен.

— Роман? — отступила Екатерина, смутившись. — Сначала ополоснешься?

— Обязательно.

Она повела его в тренажерный зал на нулевом этаже. Не в джакузи же пускать. Хватит с него душевой кабинки.

— Чуть не опоздал, — говорил он по пути. — Читал. Я, когда читаю, могу забыть про все. Правда, бывает, что также забываю, о чем читал.

— Зачем тогда время тратить? — густо нахмурилась Екатерина.

— Нравится.

— Так-то я тоже начитанная натура, — вежливо поддержала она разговор. — Книжки помогают отвлечься от нашего мира, в котором деньги, деньги, деньги...

Оставив Романа в душе, Екатерина вышла на улицу и снова набрала подругу:

— Слушай, а ты мне не дурачка прислала?

— Да, — прямо ответила Света. — Он контуженный. Его поэтому жена бросила. Кстати забыла сказать! Вином его не пои. Он становится болтливым, не унять.

После душа Екатерина провела его в свою комнату. Хотя он был помыт, но все равно резко пах чем-то враждебным. Екатерина втягивала носом и вспоминала этот запах. С тех пор как она обосновалась в трехэтажном доме с бильярдом и кинозалом, подобные враждебные запахи ее не преследовали.

— Где будем? — спросила она.

— На полу, — ответил он.

Екатерина приготовила свежую простыню, взмахнула ею, чтобы постелить на пол, и снова уловила струйку запаха. Вспомнила! Пахло псом. Псиной.

Раздевшись до трусиков и покрываясь мурашками страха, Екатерина легла на живот. Роман щелкнул колпачком пузырька, и его влажные, в масле, руки легли ей на спину.

После недолгого нежного разогрева он вдруг принялся рвать на Екатерине кожу.

— Ой! Полегче там! — возмутилась Екатерина.

— Хорошее тело! — без жалости приговаривал Роман. — Вам тридцать? Самый вкус! Но раньше вы были полнее, потому что много кожи. Килограмм десять сбросили?

— Девять, — поражаясь боли, выговорила Екатерина. — Что еще видишь?

— Делали аборт и не один.

— Кто сказал?

— Вижу. Раньше друзья, когда собирались загулять с какой-нибудь, просили меня издали посмотреть на нее на пляже, и я никогда не ошибался. Все равно у вас хорошее тело. Таз аховый. Спинка ровная. Мышцы эластичные. Прелесть!

Он переключился на позвоночник, и Екатерина закричала.

— Терпите! — усмехнулся он. — Здесь запущено, гибкость страдает. Но исправим.

— Хватит! — взмолилась Екатерина. — Я слышу, как хрустит!

— Это сейчас больно, а к двадцатому сеансу станете, извините, кончать.

Хруст и крики длились час. Пот с лица Романа сыпал на ее раскаленную спину.

Счастьем Екатерине казались секунды, когда Роман отрывался, чтобы полить на руки масла.

В заключение сеанса он принялся избивать ее ладонями, отчего Екатерина взывала до слез и укусила себя за кулак до крови.

— Все! — победно произнес он.

Екатерина встала, пошатываясь.

— Еще! — сказала она и упала в кресло.

— Что?

— Ножки.

Ползая по полу, он массировал ей ступни, а она сквозь дрему шептала:

— Божественно...

Спустя вечность он спросил ее:

— Что теперь?

Она открыла совсем пьяные глаза и тихо-тихо сказала:

— Там.

Он быстро понял, стянул с нее трусики и приник лицом.

Спустя несколько вечностей Екатерина оттолкнула его голову.

— Больше не могу! А то умру.

На третий этаж она поднималась, держась за стены. Там из бара взяла шампанское.

— Вам нельзя! — сурово высказал Роман. — После сеанса нельзя!

— Тогда пей ты. Заслужил! — вручила она ему бутылку и бокал, а сама легла на софу. — Ты мастер. Сильный. Умелый, — бормотала она несвязно. — У меня ведь никаких удовольствий. Думаешь, я хорошо живу? Да что ты! Фитнес, тупые подружки и муж гей, у которого платьев больше, чем у меня. Детей, наверное, так и не заведем... — Она смолкла и внимательно глянула на Романа.

От жажды он выпил всю бутылку и игрался пустым бокалом.

— Ты давно для Светы работаешь? — спросила Екатерина.

— Полгода, — охотно ответил он. — Добрая женщина, только платит мало. Очень мало.

— Не переживай. Я не как эта старуха, не жадная. А что ты ей массируешь?

— Она любит, когда голову. И любит жесткий секс. Слишком жесткий. Плети, кровь чтобы.

— Иди! — оборвала его Екатерина. — Завтра также к четверем!

Выпроводив Рому, она металась по дому, плюясь и крича:

— Ну и стерва! Шпиона ко мне подослала! Выведать обо мне решила!

Несколько раз она хваталась за телефон, но в итоге разбила его о стену.

— Ладно, Светик! Я у тебя его перекуплю!

Душ ее еще больше разозлил. Ей захотелось большего, и сегодня.

Она взяла другую трубку, благо телефоны имелись едва не в каждой комнате. Где-то в книге вызовов должен был быть Павлик. Екатерина знала, что ее муж, перед тем как начать с кем-либо денежное дело, сначала звонит Павлику и спрашивает одно и то же: «Надо пробить человечка», вслед за чем ему становится известно, чем человек питается и во сколько встает ночью в туалет.

Ага, нашла.

— Павлик?

— Да, я.

— Это супруга Мики.

— Да, Катюша, что случилось?

— Мне человечка пробить.

— Называй.

— Роман Сотнев.

— Местный?

— Да.

— Что хотим? Связи, источники дохода, компрометирующие данные?

— Да мне где живет и больше ничего.

— А, ну тогда пять минут. Подождешь?

Павлик обманул. Адрес он назвал через две минуты.

— Что с ним сделать? — весело поинтересовался Павлик. — Свозить на зеленую? Дадим лопату, чтоб сам себе копал.

— Нет-нет! Мне для другого.

— Смотри. А то всегда обращайся.

Хорошо, что она взяла джип, а не спорт-кар, потому что поселок, где находился дом Романа, просто-напросто не имел дорог, а не то чтобы они были плохие.

У дома с нужным номером Екатерина вышла, и досада сжала ее томившееся сердце. Дом выглядел нежилым. Половина его когда-то обгорела. Забор стоял и лежал, как вздумается.

Екатерине стало жаль себя, зря спешившей, и она решила пойти к дому из одного лишь детского любопытства.

Однако вступив за калитку, она почувствовала то самое — враждебный запах. Двинулась дальше и запнулась. Посмотрела, за что, и черная обморочная волна едва не уронила ее. На земле лежала оскалившаяся собачья голова.

Дверь в дом была не закрыта. Она просто имелась, криво прислоненная к косякам. Екатерина отодвинула ее и попятилась.

Внутри громоздился мусор в таком количестве, словно бульдозеры загнали сюда уличную свалку. У самого порога стояло ведро, полное разноцветных кошачьих голов.

— Екатерина Сергеевна! Вы ко мне?

Екатерина пошатнулась, хватая руками воздух, и увидела Романа. Он шел к дому, ведя на веревке серую лохматую дворнягу.

Войдя во двор, он деловито привязал дворнягу к вишне и поднялся на крыльцо, где стояла Екатерина.

— Пойдемте в гости, — пригласил он. — На мусор не смотрите, я скоро уберусь. И голов тоже не бойтесь. Я раньше их выбрасывал, но люди увидели и подожгли дом.

Не веря происходящему и себе, Екатерина прошла за Романом, высоко поднимая ноги, чтобы переступить завалы.

Он провел ее в комнату, в которой кроме свалки находились табурет и две кровати. Одна кровать была завалена ворохом ватных одеял, а другая показалась Екатерине странной, но сил, чтобы уяснить, в чем странность, не осталось.

— Видите, сколько у меня книг? — горделиво спросил Роман и обвел рукой горы мусора.

Екатерина пригляделась и различила, что добрая половина свалки состояла из старых, грязных книг. Вот торчал корешок Бунина, вот распласталась отдельно от страниц обложка Толстого.

— А это мама моя, — показал Роман на странную кровать.

Екатерина минуту смотрела, пока не угадала под покрывалом контуры человека.

— Она, кажется, не дышит, — хрипло произнесла Екатерина.

— Да. Полгода уже, — согласился Роман. — Я получаю за нее пенсию.

Еще минуту промолчав, Екатерина выговорила:

— А куда ты деньги тратишь?

— На дочь, — с готовностью ответил Роман. — Все до копейки отдаю жене на дочь. На одну дочь.

Он сел на табурет и добавил:

— Больше ни на кого.

Екатерине срочно требовался воздух. Она сказала:

— Я пойду.

Роман не ответил.

— Слышишь?

Он не шевелился. Залип. Только медленная слеза текла по его щеке.

Екатерина выбралась из дома и хотела сунуть в рот пальцы, но испугалась собственных рук, трогавших недавно дверь.

Широко шагая, чтобы быть устойчивей, она направилась прочь от дома, однако остановилась около собаки.

Та прыгала и плясала, счастливая оттого, что перед ней человек, который освободит ее от веревки. Но если отвязывать, думала Екатерина, собака испачкает лапами одежду.

19 января 2011 г.



ВАЛЕНТИНА КЛОЧКОВА

г. Волгоград

*Прощай!*

Ну, прощай! И прости,
 Что дарила тепло.
 Ну, прощай! Не грусти,
 Время наше прошло.
 В небе звездном, ночном
 Полумесяц взойдет.
 Он напомнит о том...
 Но все быстро пройдет.
 Слов не надо, пойми,
 Все что было, всерьез.
 Полумесяц любви
 Вспоминаю до слез.
 Взгляд зеленых очей,
 Режет душу мою,
 Сколько было ночей,
 Я в стихах воспою.
 Ласки жарче огня,
 Обжигающий зов.
 Вот такую меня,
 Помни, мой сердцелов!

* * *

«Любви все возрасты покорны»...
 А в сорок пять она мудрей,
 Понятней, ярче, благородней,
 Возвышеннее и ценней.

Храним ее, о, чудо света!
 И пьем, как в знойный день росу,
 Так вдруг зимой наступит лето,
 И мы окажемся в лесу...

Но все скрываем наслажденье
 От чувства нежного до слез.
 Заветного, как цвет весенний,
 Как сок трепещущих берез.

Но нет! Не прячьте это чувство —
 Его не скрыть, не потушить!
 Оно прекрасно, безыскусно.
 Когда ты любишь — проще жить!

* * *

Дети катаются с горки.
 Снежная, веселая пора!
 Санки летят, на пригорке
 Подскок, снова в снегу детвора!

Смеясь, стою, наблюдаю:
 Вот и двое легли на картон.
 На той же кочке взлетают,
 Вновь слышен возгласов перезвон!

Сколько радости, восторга!
 Падают в снег и звонко визжат.
 На одежке снежная корка,
 Щеки ярким румянцем горят.

* * *

А мне часто снится мое детство,
 Мои безоблачные дни.
 Они достались мне в наследство,
 И в жизни так нужны они.

В них нет забот и нет печалей.
 Есть только розовый рассвет,
 Да роспись из голубых эмалей,
 Цветов невиданных букет.

Все в детстве просто и красиво.
 Все ясно, ярко и светло.
 Эх, если только можно было —
 На миг вернулось бы оно.

* * *

Зимнее утро синее,
 Вы разве не замечали?
 Деревья стоят в инее,
 И ветер рассвет встречает.

Бегу я в чистое поле,
 А там волшебства картина —
 Снежное вокруг раздолье,
 И манит к себе долина.

Воздух звенит снежинками,
Радость на сердце шальная,
В мыслях лечу пушинкою
Птицей летаю над краем.

Небо синее-синее,
Славное снежное царство.
Люблю я утро зимнее,
Люблю и зимы убранство!

* * *

Зима. Побелели поля.
Из труб повалил дымок,
Как ты прекрасна, земля!
На ней мой родной городок.

И снежинки летят искрясь,
Вьюги и песни поют.
И горе забыв, смеясь,
Я в жизни нашла свой приют.

Пусть дуют сквозные ветра,
Бураны след заметут.
Верю в величье добра,
Которое люди несут.

Великое чудо — добро,
И от него мне тепло,
Теплее, чем от печи.
Умеет и греть, и лечить!

* * *

Лис на охоту на опушку вышел.
Принюхался, замедлив шаг.
Он возню мышиную услышал,
Резко прыгнул, уткнулся носом в снег.

Очень быстро лапами работал,
Мне показалось, он ее достал.
Но мышке стать добычей неохота —
В воздух взвилась, а лис ведь не поймал.

Секунда. Мышь зарылась в норку,
Под снегом остужает пыл.
А лис пошел, не торопясь, к пригорку,
Может, просто не голодный был?

* * *

Приятны русских женщин лица —
Их нежность, свежесть, красота,
А руки, словно крылья птицы,
Нет позы, ум и простота.

В глазах лучи добра искрятся,
Улыбки дарят нам, любя.
И не умеют притворяться,
Когда страдают и скорбят.

Мужей, детей обогревают,
Очаг домашний берегут.
В беде любой не унывают
И никогда не подведут.

Идут чарующей походкой,
Любуешься невольно вслед.
Не ищут доли себе легкой,
Прекрасны и на склоне лет.

В работе споры и сметливы,
А запоют — так в сердце звон!
Мечтательны и терпеливы.
Земной им от меня поклон.

* * *

Однажды у меня спросили:
Каким мужчину видишь для себя?
Конечно, умный, смелый, сильный
И чтоб любил одну меня.

Чтобы цветы не только в праздник
Мои любимые дарил.
Трудолюбивый, не проказник,
И на работе чтоб в почете был.

Не обязательно красивый
Лицом, и рост тут ни при чем.
Главное, чтобы любимый
Не был продажным подлецом.

Вот он, со мной, мой самый милый,
Полон любви, душою чист.
Единственный, неповторимый,
Нежный, ласковый и оптимист.

Полюбила цыгана

Полюбила цыгана
И лавандовый цвет.
Полюбила Ивана,
А взаимности нет.

Без него все немило,
Ни луна, не заря.
Так его полюбила,
Да, наверное, зря.

Была ночка глухая
И пылали сердца.
Лишь теперь понимаю,
Его ложь до конца.

Я поверила ласкам,
Его нежным словам.
Да, как видно, напрасно,
Не любил он, а лгал.

Разве сердцу прикажешь,
Чтоб его разлюбить.
И кому все расскажешь,
Кто поможет забыть?

Ночь приходит слепая,
Звезды молча глядят.
Только я все вздыхаю
Много ночек подряд.

Я забыть и не в силах,
Глаз, как отблеск углей.
Приходи, мой любимый,
И меня обогрей.

* * *

Ах! Какой дивной весна наша была!!!
Солнце светом снег весь растопило.
По дорогам вешняя вода текла,
Вся природа о любви трубила!

Деревья буйно, ярко зацвели,
Ирисы ландыши, тюльпаны.
Мы с тобой наговориться не могли,
Задумывали жизненные планы.

Рано прилетели соловьи,
Ночи напролет рулады пели.
Две жизни мы в одну сплели,
От любви и счастья сладко млели.

Как молоды тогда мы были,
И весна нас нежностью свела.
Мы весь мир восторженно любили.
Я все помню — там любовь жила.

Маме

Утрата, разлука — где времени срок?
Когда оно рану залечит?
Заштопана боль, но невидимый рок
Ложиться мне грустью на плечи.
Ах, мама, зачем ты так рано ушла,
Оставив тоску и сиротство?
Ведь ты для меня святою была,
Идеалом любви, благородства.
Прости за обиды, что тебе нанесла,
Твоим не внимала советам,
Что мало подарков тебе привезла,
А в письмах одни лишь приветы.
Прости за все слезы твои обо мне,
За горькую женскую долю.
Но чувствую я, где-то там, в глубине,
Что ты еще рядом со мною.
Что слышишь и видишь все то, как живу,
И стыдно бывает порою,
Что редко тебе говорила «люблю»,
Чтоб сердце твое успокоить.
Спасибо за руки твои и тепло,
Которое ты мне дарила.
Спасибо за ласку и нежность тех слов,
Которые ты говорила.
Прости меня, мама, во сне приходи,
Скажи мне хоть жестом или взглядом,
Что я живу с правдой на этом пути —
Скажи мне, что ты очень рада.
Ах, мама, зачем ты так рано ушла?
Ищу я твой взгляд у прохожих.
Недавно старушка седая прошла —
На тебя, показалось, похожа.
Так хочется рядом с тобой посидеть,
Прижаться, как в детстве, щекою,
В родные глаза твои посмотреть,
И знать, что ты боль успокоишь.

* * *

На улице дождик, и вся земля промокла.
Осень золотая к нам стучится в окна.
Для красы и цвета красок накопила,
Вот пришла пора — она заговорила.

Цветом желтым, красным, золотым и бурым,
Осень листья красит, такая уж натура.
А потом на землю ковры расстилает,
Без огня и дыма костры разжигает.

Птицы загалдели, в путь засобирались.
Калина, рябина под окном зарделись,
Запахло грибами, яблоком из сада.
И стоит в тумане шепот листопада...

* * *

Мне осень на плечи упала листком,
Гомоном птичьим, последним цветком.
Дождем — нескончаемой пеленой,
Туманом и краскою золотой.

Березка моя под окном загрузит,
И ствол ее белый от слез заблестит...
Не надо же плакать, ты ранней весной
Покроешься новой зеленой листвою.

Не будем о прошлом с тобой вспоминать
И терпеливо весну будем ждать.

* * *

Вот и все! Больше не приходи.
Отшумели ветра, отстучали дожди.
Не ходи, не проси, не кури под окном.
Злость свою погаси, позабудь о былом.

Лучик солнца с небес
я в ладони ловлю —
Все продумай и взвесь,
просто я не люблю.
Жаль, что время ушло, жаль,
что память грустна.
Все в душе замело... И я снова одна.



НАТАЛИЯ УЛЬЯНОВА



Когда неизбывная нежность

Когда неизбывная нежность
Коснется в ночи твоих губ,
Узнаешь всю ласки безбрежность,
И радость познаешь ты вдруг.

Тогда только море ты вспомнишь,
Как нежно прилив целовал...
А ты отвечала, не зная...
Фрегатам так нужен причал.

И тихо волна набегала.
И берег покорно терпел,
Фрегат она с мели снимала,
Прилив оказался у дел...

Исчезнут страны...

Исчезнут страны и виденья.
Исчезнут грады и моря.
И воплотятся из пучины
Давно ушедшие года.

Не смогут прожитые вехи
Уют привычный нам сломить.

Давно исчезнувшие краски
Уж больше нам не возродить.

И перекраивая снова,
Латая жизни полотно,
Не замечаем мы упреков,
Не слышим глубины веков.

Отражение

Опрокинулось солнце
В озеро,
Светит глазом
С самого дна.
Молчаливые сосны
В воду смотрятся,
Прохладе радуясь,
На исходе дня.
Стоят,
Ветками пошевеливая,
Словно важный
Ведут разговор,
А в глади озера,
Как в зеркале,
Отражается
Неба простор...

Тибетский олимп

Подобен дивному виденью
В своем величии — он Бог!
Не храм закрыл просторы тенью,
Собою скрыл Олимп порог.

А благолепие низринет
Там, где струящийся эфир
Грядущее — потоком примет.
Там Боги видят свой Олимп!

Как красных вишен ароматом
Несет благоуханья жар,
И ветер отдает пенатам —
Вновь плоскогорья — новый дар.

Они не спустятся с Олимпа,
Не видно нам богов иных,
Там возникает Афродита.
Там, где природы дух притих,

Она, как ветра дуновенье,
И моря пенистый поток,
Являясь миру, как виденье
Любви и времени исток.

Путь...

Галактик дальних звездный путь
Зовет меня на мир взглянуть,
Увидеть звезды и планеты,
Чтоб вновь могла писать сонеты
О дружбе, счастье и любви,
О мире звезд и жителях Земли.

.....
О том, как в мире галактических надежд
Из-под ног Земля уходит у невежд.
Нам право истины дано,
Его увидеть суждено
Не всем, живущим на Земле
И обитающим во мгле.
Но сила мысли такова,
Что лишь подумаешь едва,
И мысль твоя летит стрелой
На помощь людям и дает покой,
Что может Душу оживить
И Свет божественный пролить
На жизнь людей, живущих на Земле.
И их тернистый путь счастливым сделать...

Старинные сферы

Старинные сферы полных глубин,
Они воплощают единство и мир.
Стройны, как колонны, и полы внутри.
Они сохраняют красоты седин.

Здесь девы молодые и страж богатырь,
Он их охраняет от страхов ночных,
От холода, мрака и боли внутри,
От чудищ земных в одеяньях людских.

С рассветом заполнится солнцем весь зал,
Старинные сферы в глубинах зеркал.

Ну вот и все...

Ну вот и все... я в ночь ушла
И не посмела оглянуться,
Забрав с собою времена,
Когда не хочется проснуться.

Когда прекрасный нежный сон
Смотреть мне хочется сначала...
Ты вновь влюблен и вновь смешон
Стоим мы снова у причала...

И ветви ивы вновь и вновь
Купаются в прозрачных водах.
И мне мерещится любовь,
Что возникает в водных сводах.

.....
Песок, вода и времена: вновь канут в Лету,
А мне дожидаться бы тебя... но нет ответа.

Кривое зеркало

Истоки мудрости давно
Покоятся в большом сосуде.
И правду-истину одну
К обеду подают на блюде.

Притворство — это не порок,
А ложь предшествует спасенью.
Кривое зеркало одно
Собой являет отраженье.

Но если вдруг когда-нибудь
В большом старинном, светлом зале
Откроет крышку кто-нибудь,
И Мудрость к нам на свет проглянет:

Она растопит лед вокруг
И черное вдруг станем белым.
А Истина лишь вступит в круг,
Где вырастает постепенно.

Она заполнит все собой
И все возьмет в свои объятия.
И трудно будет лишь узнать
Ответ на наши восприятья.

Земля моя!

Судьба аукнется жестоко
На каждый твой ответный крик.
Мгновенья жизни, сон, эпоха
Пред взором пронесутся вмиг.

Как сладок был запретный плод
В душе, будя воспоминанья,
Земля — грядущего оплот —
Несется в небе мирозданья.

Земля моя! Ты так прекрасна.
Ты одолеешь всех и вся.
И многие природы катаклизмы
Исчезнут в мире бытия.

Нельзя ли свет увидеть нам...

Нельзя ли свет увидеть нам
И растворить окно,
Когда весь мир подлунный наш —
Хрустальное стекло.

И так мечта наша прекрасна,
И так холоден наш родник,
И он глубок на дне колодца,
И он прохладой манит.

И там живут мечты-надежды,
Все сокровенные живут,
И исполняются всеместно,
И воли правде не дают.

Души полет...

Души полет и сновиденья
Уносят к звездам высоко,
И вижу с трепетом виденья:
В мир Космоса уходят глубоко.

И там в миру Галактик звездных
Они витают так легко:
И видятся знаменья века
В тиши Галактик высоко.

Принять их нужно сердцем, глазом.
Их изменить: мне не дано.
И я пытаюсь понять разом,
Что испытать народам суждено.

Мне до тебя не докричаться...

Мне до тебя не докричаться,
А так хотелось говорить.
Мне до тебя не достучаться,
А так мечталось вместе жить...

Мне так хотелось вновь увидеть
Улыбку уст, блеск милых глаз.
Непозволительно обидеть
Тех давних дней волшебный сказ.

То было время золотое,
Когда не ведали угроз,
То было время молодое —
Паденье звезд и грохот гроз.

Обвалы счастья и везенья,
Удач сплошная череда.
И никакие душ сомненья
Не посещали нас тогда...

Прошли года...
Ужели новые друзья
нам старых заменили?

Пройду сквозь тайну мирозданья

Пройду сквозь стену бесконечья
И волны гласности найду,
Когда смятенье перестанет
В ту стену биться, я уйду.

Пройду сквозь тайну мирозданья,
Возьму и стену обойду.
Предам я тленью эту тайну.
Когда хочу, тогда уйду.

~ • ~

МАЙЯ ЗОЛОТИСТАЯ

г. Москва

~ • ~

Подушевный... сад!..

Бог... возделывает... свой... сад!.. Мы цветы... подушевных... благ!..
 На земле... расцветает... стыд!.. Словно... где-то... венчают... быт!..
 Не твоя вина!.. Не твое... ярмо!.. Тем, кто с лирой здесь!.. Им принять... дано!..
 Суеверный... страх!.. За небесный... крах!.. И на поле... все... все ромашки... в прах!..

Не успеть... за жизнь... покорить... Версаль!..
 Будет... Моцарт!.. ЖИВ!.. Будет... пьян... Стендаль!..
 Не сорите... здесь... семена... из... душ!..
 Вы сажайте... сад!.. Для... неспелых... груш!..

Прилетает... сном... из небесных... бурь!.. Птицей... Фениксом... к нам... не спящий...
щур!..
 Падает... звезда... в теплый август... лет!.. Мы вернемся... в сад!.. Подушевных... вед!..

Жизнь... как... бой...

Все как есть!.. И верная... свирель!.. И на душе... весенняя... тревожная... постель!..
 Безоблачного неба!.. Радущия... берез!.. Берет к себе... нас небыль!.. И ветреный...
мороз!..

На земле!.. На земле!.. Суетная... всем понятная... жизнь... как бой!..
 И уходит... мечтать... за облако... миф... подаренный нам... мольбой!..

Я сегодня... дежурный... аист!.. И поверочная... мечта!..
 Я сегодня... для вас... стараюсь... притянуть... сюда... чуть... добра!..
 Пусть... колышется... ветром... тронутая... кружевная накидка... снов!..
 К нам... без... боли... без...синей... корысти... не приходит... улыбка... слов!..

Смерть... в... дураках!..

Боязливая... да... брехливая... суть... ходячего... болтуна!..
 За решетками... есть... хранимая... всуе... выданная... судьба!..
 Вот скажи... так!.. И ведь... обидятся!.. Все знакомые с бездной... книг!..
 Позабывтой бумагой... силится... нам напомнить... о смысле... бриг!..

И стучит... постучит... водомерное... у колодезной... правды... ведро!..
 Накукует... и каркнет... воробышек!.. Смехотворное... кумовство!..
 И бегут... по полям... и проселочкам... те дороженьки... влопыхах!..
 Я про то... что... смеялись... звездочки!.. И оставили... смерть... в дураках!..

Лунный... бриг...

То ли... ночь!.. По-весеннему... разная!.. И заботится... лунный... бриг!..
По... просыпанным... звонким... горошинам!.. Тем... что... бисером... станут... вмиг!..
И скользит... по оконному... зеркалу!.. Липким... следом... волшебная... муть!..
Я конечно!.. Про... только... погоду!.. Развожу... похоронную... жуть!..

А для... жизни!.. Улыбчивой... немочи!.. Золотых... нарумяненных... скул!..
Наберу... я серебряных... веников!.. У... лучистых... вертявых... гуцул!..
Научу... молодых... да смешливых... девок... в солнечный... ветер... играть!..
Пусть... на этой... Земле... колосится!.. Возродится... исконная... рать!..

Девы... солнечные...

Не троньте... душу!.. Кто же знает!.. Что... будет с ней... когда... уйдет?..
То... великое... малодушие!.. Средство... лучших... людских... забот!..
И прилипнет... к медали... в золоте... вековуха... земных... трясин!..
Бесконечное... чудотворчество... лежковерных... моих... лавин!..

А и поняли!.. Как и надо!.. И летите... к своим... делам!..
Здесь нетронутое... богатство!.. Вдруг... возносится... к небесам!..
И зеленый... ковер... невинные... девы... солнечные... соткут!..
И... любовь!.. Как... последняя... капелька... к нам... стекает... из... БОЖЬИХ... РУК!..

Елей... несерьезного... опыта!..

По мне!.. Так... любая... серьезная... вещь!..
Словно... нам осужденье!... Словно... глупости... брешь!..
Словно... в... буднях... боль... дня!.. Словно... кость... на столе!..
Словно... холод... в сердцах!.. И... фасоль... в... кожуре!..

Ведь... накопится!.. Тяжесть... надломленных... свеч!..
И растает... под... камешком... смех... наших... встреч!..
Разольется... река!.. Судьбы... наши... неся!..
Не услышит... любовь... нежный вздох... сентября!..

Улыбайтесь!.. Подруженьки!.. Вечность... не... срок!..
Напишите... любимому!... Страстный... попрек!..
И лучистого... хохота!.. Не забудьте... в... постель!..
Несерьезного... опыта... влейте... в душу... елей!

Чашка... таинства...

Не решай!.. Не сегодня!.. Сегодня... не Я!.. Сегодня... весна!.. И задумчивость... дня!..
Пусть... завтра!.. Пусть... полдень... другой!.. А там... пряный... вечер!.. И липовый... бой!..
И ливень!.. И море!.. И нежный туман!.. Но только... не надо... опять... про обман!..
И листья... пожжем!.. Ой!.. Что это... я?.. Какая ж... сухая... листва... в... праздник... дня!..

Я часто... пишу... от души... не от... слез!.. Я... знаю... про... шелест берез... не от... грез!..
Я только... так... согласилась... тут... жить!.. И мне... подарили возможность... творить!..
И пусть... про... ненужное... про... непогоду... напишет рука моя... нежно... семь... годь!..
Не вы... прочитаете!.. Ветер... вздохнет!.. И сладкого... таинства... в чашку... нальет!..

Сказка... моя...

Я хочу... все время... писать!... С ударением... не ошибись!..
Я не слышу!.. Не вижу!.. Страсть!.. Я лишь... чувствую... свет... и кисть!..
Не закрытая... дверь... в душе!.. Приоткрытая... щель... окна!..
И по-утреннему... свежаку!.. Отлетают... хлопья... сна!..

Словно... будят... мою... мечту!.. Без которой... здесь... я... НЕ Я!..
Я ведь... знаю... что даже... дым!.. Знает правду... всего... огня!..
Снег... оттаявший... может быть... Светлой правдой... о смысле... зим!..
И отрадой для... чьих-то... дум!.. Оправданье... тех... пьяных... вин!..

Я скажу... все слова... не так!.. Пусть решат... «опять все... врет!..»
Каждый... должен... понять... кто как... эту вечную... сказку... треп!..
Слива... спелая... под язык!.. И невнятный... мне шепот... век!..
Я возьму и сожму... в руках... мне завещанный... дедом... БРЕД!..

Во... мне... сто... душ...

Во мне... сто душ!.. Ты знаешь... это как?.. Я многое... не... чу!..
Я часто... чувствую... свой мир... неведомым... но... пружина!..
И сто... сонетов... в миг... ночной... я слушаю... душой!..
И говорливый чей-то... страх... стоит... у рук... с косою!..

И тихий... нежный... перепляс!.. Увидевших... зарю!..
Зарю... божественных... прикрас!.. Для рожденных в раю!..
Я никого... не... упрекну!.. И мне не надо... зрить!..
Я просто... сердцем... говорю... положенное... БЫТЬ!..

Рукопись... у... сердца!..

Можно... я не буду... мудрой?.. Можно... не прикинуться... немой?..
Можно... я послушаюсь... как будто?.. И не буду я... вздыхать... весной?..
Если... звездам... нужна... волшебница!.. Звонкой... россыпи... посули!
Мне известная... и... не безбожница!.. Начертала... мои... пути!..

И явилась... мне сном... загаданным!.. Весть... подлунных... земных... раев!..
Там на... рукописи... у сердца... найденной... я прочла... от созвездья... псов!..
Можно спорить!.. Но жалко... времени!.. Можно просто уйти... в поля!..
Ведь за бременем!.. Страстным... племенем!.. Вдруг... исчезнет... наша... Земля!..



АДРИАН ПРОТОПОПОВ

*Ночами пьют русалочки*

Ночами пьют русалочки
густой настой глуши,
как эскимо на палочке,
маячат камыши.

Уснули мысли гнусные,
соблазны-подлецы,
и в небе звезды вкусные
висят, как леденцы.

И спит под каждой елочкой
глухая тишина,
в ручье — лимонной корочкой —
купается луна.

И, души сладко мучая
укорами вины,
бездомные, дремучие
по лесу бродят сны.

Мечтами полуночными
стекает, как обман,
дурманными, молочными
отварами — туман.

Сквозь тьму к ручью гремучему
по слуху, на «авось»,
треща сухими сучьями,
под утро выйдет лось.

И пьет он, тихой сапою
копыта влажный след,
и соком клюквы капает
с лосиных губ — рассвет.

Осені нами злые слова

Осені наши злые слова,
все, что праведно в нас или лживо...
Ты уже ни жива, ни мертва,
все во мне — ни мертво и ни живо!

Ты на ноте холодной поешь,
вместе с ветром скуля и колдуя...
Все равно без меня пропадешь,
все равно без тебя пропаду я!

Тень беды

Скольких мнет и скольких кружит,
скольких губит невтопад
кринолинов, нежных кружев,
тюля целый снегопад!
Эти шпоры, эти споры,
эти глупые грехи,
поцелуи у забора
за полночные стихи.
Околдует грех амурный —
тонкий лаковый сапог...
Дева бедная над урной
праздный держит черепок.
И зеленые шинели
кинув на плечи свои,
на веселый дым дуэли
свысока взирают ели,
жаля иглами хвои.
Может быть, за верным вистом
вдруг кольнет под левый бок.
Петербургский свой острог
бросишь, кинешься в возок,
к звездам выйдешь лицеистом.
Мир покойно тих и пуст,
тракт во тьму бежит верстами,
ветер шепчется с кустами,
под ногой — капустный хруст.
И, забыв высокий слог,
молвишь мерзлыми устами,
боли выплюнув комок,
темноте: «И я бы мог...»
Может, ты потерян в сущем,
в этом — заживо сосущем,
бесприютен, как пустырь,
и к тебе не едет Пушкин,
друг, а может, поводырь.
Разве все уж песни спеты
под нитье твоей кареты?

Башни, шпили, парапеты
опрокинулись в Неву...
Эти званные обеды,
и гостями лезут беды
с добрым смехом наяву.
О, душа твоя — овечка,
ни пожатья, ни словечка,
только боком теплым — печка,
и в глазах жены — испуг,
только лепет глупой дочки,
и ползут скупые строчки,
и Сибирью дышит друг,
не обняв тебя за плечи,
обнимает только вечер,
роковой сужая круг.
И над скопищем бумаг,
о судьбе обеспокоясь,
не в плену ль бескрылых благ
в мелочах стоишь по пояс?
Спит в снегу беспечный Бог.
Осенив чело перстами,
молвишь горькими устами
про себя: «И я бы мог...»
Лет ли давит спешный груз,
не спиной ли встали музы?
Узки помыслы, рейтузы,
и с плеча чужого — век.
Тучи сеют вечный снег
в шепот, пасквили, наветы,
снегом стерты эпoletы,
конь споткнулся, сбавив бег.
Окна глухи, тень беды
обведет дома лорнетом,
дверь захлопнет за поэтом,
сдует с площади следы.

Нет спасу — бередит гранит

Нет спасу — бередит гранит,
и тонко ранят парапеты,
и разведенные рассветы
душа доверчиво хранит.
Над чем ты, блудная душа,
спасенья ищешь не дыша,
забыв и славу, и Пегаса,
и поражения свои?
Нет Спаса! Только на крови
стоит он, не смутясь нимало,
над гладью бледного канала
с самим собою «визави».
Пройдешься каменной прозой

по холодку ее страниц
и выйдешь к вольным крикам птиц,
и вдруг кольнет литой занозой
проткнувший небо тонкий шпиль.
И суевернейшим звенком
замрешь, не слыша, не греша...
Куда ты просишься, душа,
с прозрачной памятью Смоленки?
Нет спасу. Праведен оброк,
Вздыхнув свободно и счастливо,
ты, как заштатный буксирок,
уходишь к отмелям залива.
И невод вольный распластав,
все ждешь доверчиво улова,
и трепеща, сверкает слово
на недоверчивых устах!

Утро в Петербурге

Нет ни птиц, ни шагов, ни речей,
шесть утра и ни звука не надо,
и пучком золоченых свечей
загорелась, светясь, колоннада.

Аккуратно куранты всплакнут,
а вдали, за чертой парапета,
словно щелкнет заносчивый кнут
и копытами цокнет карета.

Серым бархатом мокрая пыль —
на проспектах отчалившей ночи,
и литою занозою — шпиль
на муар голубой приторочен.

Невесомая, как облака,
шевели поплавками счастливо,
проскользнет под мостами река,
убегая в объятья залива.

Белая ночь

На коленях дремлет томик,
беломраморные ню,
окружив кофейный домик,
тонко нюхают меню.

И вытягивает шею
лебединая тоска,
и туманятся аллеи
духом влажного песка.

И над полночью бездонной,
над фонтанною рекой
белобрысая мадонна
машет бледною рукой.

И окно горит огарком
в зыбкой мякоти ночи,
тишина скрипит флюгаркой
и ботфортами стучит.

Будет ночь под лодкой чавкать,
горизонт чертить крылом,
будет думать над Канавкой
вечный дедушка Крылов.

И расступаясь, небо сохранит

И расступаясь, небо сохранит
на крышах зданий отголоски света.
Руками обработанный гранит
возникнет узкой лентой парашета.

В заливе мутно оседает криль,
не помня ни закатов, ни восходов,
и черный дым из чрева пароходов
на город ляжет, превращаясь в пыль.

И чаша моря до краев полна.
мы верим ее шумному прибою,
и город припадает к ней губою,
когда неспешно набежит волна,
неся прокисших водорослей запах,
и обнажаясь, расторопный запад,
пока его пространство не остыло,
дымящееся выкатит светило
на мелководье плоское лагуны,
и наливаясь золотом, Нева
в наручниках мостов своих чугунных
свинцовые засучит рукава.

Соскучившийся по лесам

Соскучившийся по лесам,
по ржавым, ветреным откосам,
по избам, по твоим слезам
и по ногам прохладно-босым,

Приду, прося твоих пощад
и принеся свои прощенья...

Забор наш дряхл и дощат,
на отощавшем псе — ошейник.

Давно оборванная цепь,
давно обглоданные кости,
и жжет укор в твоём лице,
что я опять приехал гостем.

У одичавших книг в плену,
среди покоренных пылью полок
себя ты прячешь, как вину,
как прячут зеркала осколок.

С улыбкой муки на губах
ты зябко стянешь шалью плечи,
и клавесином старый Бах
тебя измучит и излечит.

Нагрянет вечер, и впотьмах,
на ощупь зажигаая спички,
ты испытываешь сладкий страх,
учуяв поступь электрички.

И, даровав свободу мне,
утихнут в доме половицы,
чтобы опять наедине
тебе с бедою затвориться.

Ты потребуешь развода

Ты потребуешь развода,
и задушит нас свобода,
и замрут стихов листы,
но почувствуешь воочию,
выйдя к набережной ночью,
как душой своей железной
молча маются над бездной
разведенные мосты.

Не запирай врата от рая

Не запирай врата от рая —
от сеном пьяного сарая,
где в сонме запахов и света
шуршит засушенное лето,
где светятся стропила крыши,
и в царстве светлой темноты
свисают с неба хомуты,
и мудрая корова дышит,
ее доверчивый телок,

жуя июня сочный клоч,
пускает слюнки лопухо.
В зеленом оперенье муха
свершает медленный виток,
маячат тощие былинки
и, в солнце плавая, пылинки
снопами ломаются в проем
не запертой тобою двери,
откуда, светлая, в район
бежит растерянно дорога,
и, как за пазухой у Бога,
в шуршащем сене мы вдвоем.

У тревог такие руки

У тревог — такие руки,
у разлук — такие плечи!
Вечер этим изувечен
до страдания, до муки!

Хвойный запах в окна — колок,
машут сумрачные ветки...
Здесь, в грудной тюремной клетке,
счастья мечется осколок.

Где найти клочок избыва,
запах горестной надежды?
Шкаф, объевшийся одеждой,
тоже ведь — на грани срыва!

На углу, сверкая плешкой,
лампа пыжится в потуге —
дать прозрение округе,
быть в ночи кому-то вешкой!

Два одиночества

Два одиночества, две серые тоски,
прямые, безнадежные, как доски,
два имени, два помысла, два тезки,
Земли суровой чахлые ростки.

Согреть холодную, бездушную постель —
две головы, души, два теплых тела,
несчастья два, в которых все скрипело,
как у двери, сорвавшейся с петель.

Две совести, измятые в туше,
поверить в возрождение не смея,
прижались, суеверно, как камья,
душой остылой к вымершей душе.

Неверий два, два тлеющих костра,
плечо к плечу — утрата и утрата,
с надеждой обреченною от брата
несбыточной надежды ждет сестра.

Не загасить бы, раздувая вновь,
таящуюся искру в теплом пепле.
Два одиночества от счастья ослепли,
два одиночества затеплили любовь...

Сумерки

Вновь сумерки безгрешны и чисты,
и снова беззащитно близоруки,
и выпускают ветер на поруки
укачивать бессонные кусты.

И, не взглянув на лист календаря,
окончится, обуглясь, понедельник,
и, бархатом отсвечивая, ельник
сольется с небом, иглами соря.

И снова к небу млечному спеша,
на сумеречный выбежав проселок,
на запах свежевывающих иголок
наколется прозрачная душа.

Смоленка

О свет эпических поэм
и сумрак маленьких трагедий!
Душа домашней просит снеди.
Без глаза лишнего соседей
пишу, читаю, сплю и ем.

И наша древняя река
живет все так же — без расчета,
обняв любимые болота,
порой затопит где-то что-то,
как это делала века.

В наш мир, давно уже не Божий,
приходит призрачный прохожий,
с собакой бродит за углом,
читает все про все на свете,
его воспитанные дети
во двор несут металлолом...
Давно асфальтом чернокожим
покрыт проулок, вдоль домов
в затылок выстроились липы,
и мы макулатуры кипы
сдаем за кубики томов.

О быстроногий мирный книжник,

давно ль здесь царствовал булыжник
и пахло сыростью осин,
как небо чистый, керосин
везла задумчивая кляча,
и детство, ничего не знача,
босым бежало в магазин?
И лопухие задворки
в дремотных жирных лопухах
дарили счастье впопыхах,
тепло и запахи махорки.
Меняли дни свои повадки.
Земля не помнила утрат,
и солнце, греясь, по утрам
спускалось по кирпичной кладке
на наши окна. Наши мамы,
зевая, раскрывали рамы
и, теплым прислонясь плечом
к стеклу, мечтали ни о чем.
И утро, не укрывшись мглой,
забыв безвременье беды,
шуршало дворницкой метлою
и наплывало мерным стуком
и мокрым шлепающим звуком
из шланга льющейся воды...
Казалось, где там зло — беда ли?
В комодах прятались медали
от наших зол и наших бед,
и глупый мой велосипед
крутил веселые педали.
Вдоль спящих по ранжиру лип
с проснувшимися воробьями
я провозил сиденья скрип
и зад, усиженный репьями,
в болячках тощие коленки
к дремотным берегам Смоленки,
где пахло стружкой и смолой,
где ветер шевелил золой,
где, как солдатские пилотки,
лежали килем к небу лодки
с блестящей жирною росой,
и их шершавые бока
рука ласкала старика,
рыбак с задумчивой лесой
застыл в своей счастливой спячке,
и катерок вздыхал при качке,
и носом тыкался в песок.
В сучках и трещинах — мосток
висел на сваях голенастых,
и детство не ждало ненастья,
и солнцем набухал восток.
И хоть душа была соплива,
но выходила, не дыша,

к прозрачным заводям залива
с тревожным шумом камыша.
В застиранной белесой майке
она по россыпям песка
ступала, и кричали чайки
почти у самого виска.
В воде, у теплого мыска,
маячили тела салаки,
стрекозы жили среди травы,
а сзади, в мареве Невы,
парил тяжелый Исаакий,
не снявший шлема с головы.

Сложив в молении перста

Сложив в молении перста
и осенив себя знаменем,
мы не измучимся сомненьем,
опять к кресту прибив Христа.
Алкая мудрых вечных Мекк,
чужие разоряя гнезда,
встаем толпою или розно,
и наше небо зло и грозно,
и зол и грозен с нами век.
И меж слепых его путей,
в его асфальте или бурьяне
с пустыми душами детей
мы о его скорбим обмане,
и нас еще в пеленах ранит
тревожный мир его затей.
Ища глазами образа
и образцы для подражания,
мы беззащитны, как гроза,
и светлы, как воспоминанья.
Наш мир уже довольно сед
и ходит, шаркая ногами,
но кирзовыми сапогами
в веках спешит оставить след.
Уже в прожилках синих веки,
и пахнут пролежни систем,
на все ползут библиотеки
по спинам наших тощих стен.
И, суется, спешит провизор
на наш истощный ранний крик,
и с синим глазом телевизор —
наш ментор, родственник, родник.
И мы, припав к его плечу,
душе ища своих ночевок,
как все, кричим: «И я хочу,
чтоб пела Алла Пугачева!»

Она споеет еще на бис
и жизнь свою на бис догонит,
не потому ль так море стонет,
когда залив его прокис?
И день, заламывая бровь,
взойдет не поздно и не рано,
и мы нальем ему из крана
пол-литра крови океана —
в нем голубая ходит кровь!

В этом маленьком мире

В этом маленьком мире,
в этой крошечной жизни,
в этой краткой, как выстрел, судьбе
кто-то вскрикнет от счастья,
кто-то вскрикнет от боли,
и остынут открытые свету глаза.
Но зачем этот свет?
Но зачем это солнце?
Но зачем эти люди и эта страна?
Наливаются яблоки, женщины зреют,
бродят кони степные
среди дикой травы,
пахнет вольно и сладко,
пахнет горько и страшно.
Ах, как, Господи, пахнет
на этой Земле!
Это теплое солнце,
слепое по-детски,
и наивно нагие по пояс леса...
Ветер шлепал по лужам,
трогал дранку на крыше
и бездумно трепал над рекой облака.
Сладко окна зевали,
и жмурились сладко
в паутинной тиши налитые сады.
Осыпались секунды,
часы облетали,
на корню вымирали глухие века...
Все качалось и тикало.
Вечно... кончалось.

Господам либералам

Нет, не прав Антоша Чехов,
верно, он сказал для смеха:
«Надо, братцы, как-то жить».
Жить не надо, братцы, «как-то»!
Что я — червь какой иль кактус?

Кактус надо ублажить
удобреньями и светом.
Кактус вас одарит цветом,
красоту даст и приплод...
«Как-то» — сдохнет весь народ!
Впрочем, нашим либералам
даже смерти станет мало.
Либерал, как кот в сметане —
наплевал на все, урод:
негров всех сожрет в Судане,
Антарктиду всю сметет,
земли все на Марсе купит,
как яичко, Марс облупит,
чтоб умножить свой доход.
Куш заныкает в Майами,
пусть российский идиот
весь в обнимочку с нулями
прозябает в сне и лени
все грядущие века,
и пускай с броневика
ядовито смотрит Ленин
на мученья поколений:
либералу все «до фени» —
нет души, одна рука!
Ну а нам — какой кураж?
Нам — лишь барские объедки,
жизни каверзной муляж.
Как-то жить мечтали предки,
вот и кушаем котлетки,
запиваем «горькой» горе
и с тоской глядим на море,
где родной девятый вал
режет яхтой либерал.
Мы, конечно, пьянь и хамы,
нищета, бомжи и рвань,
но ведь даже Чингисханы
собирали скромно дань,
соблюдали, суки, квоты
и за наш российский счет
набивали свой живот
не до скотской до блевоты!
Россиянин не был раб,
куш платя посильный Игу,
был он сыт, одет — не гол,
и за пазухой монгол
не держал злорадно фигу,
выходя за наших баб,
даже трекал нашим слогом,
дружбу с нашими ценил
и, как умный, заменил
«продразверстку — продналогом».
И народ наш дружбе рад.

Даже церкви иерархи
совершали наш обряд!
Нет, конечно, не был рай!
Но явились олигархи!
Что какой-то там Мамай!
Вся страна — в золе и прахе,
вся стоит, разинув рот:
те же рваные рубахи,
тот же нищий бутерброд,
тяга прежняя к запою,
и клопиною толпою
гастербайтеры ползут.
У мешков валютных — зуд:
за их нищий рабский труд
нефтяные схавать вышки,
прикупить землицы клин,
смазать паюсной усы,
в схватке выиграть трусы,
да не чьи-нибудь — Жаклин!
Вот в лесах и дохнут мишки,
никому не нужен Шишкин,
отдыхает Пастернак.
Ах, у бар особый смак,
блин, особые приколы:
их костистый низкий лоб,
гладко бритый, нежно-полый
заражен «культурой поп».
Наш барчук по-детски рад
снять с культуры этой пенки:
у него висит на стенке
черный вымерший квадрат.
Вот и лезут наши телки,

то есть барские подружки,
распушив шальные челки,
на персидские подушки
поглазеть на счастье в щелки,
жизнь пощупать у людей,
тех, не наших темных Ванек,
пену снять с турецких банек.
Вот толпа из наших Манек
и гуляет средь б...дей!
А законы? Что — законы?
Все их к черту — под сукно!
В мир распахануто окно!
Рай! Исчезли все препоны!
Комсомолки-идиотки
попки прятали в колготки
и стеснялись нашей водки,
глупо плакали в кино,
и любили папу, маму!
Вот уж сраму, так уж сраму!
Ева вон — дала Адаму,
ну а нам-то — все равно.
Никакой не терпим таксы!
Турки, негра, англосаксы,
идиоты, трансвеститы...
Скинь штанишки — не свисти ты —
любят все родные баксы!
Смело в бой! И попади ты —
хоть в модели, хоть — в бандиты,
припади к груди элиты!
Вот для тела — чистый рай!
А душа? Да пропади ты —
с нею точно — жизни край!



ВАЛЕРИЙ ЧАРТОРИЙСКИЙ

г. Заозерск



* * *

Анна! Ты слышишь, Анна,
Как среди дня иль ночи,
Сердце вздыхает странно,
Словно устало очень.

Будто застала вьюга,
Сердце на перевале.

Будто ладони друга
Сердце не согревали!

Словно в степи морозной,
В час ледяной тумана,
Сердце — последней прозой:
«Анна! Ты слышишь, Анна?!»

2007

* * *

Я уезжаю налегке,
Немного грусти в рюкзаке,
Наперсток дум, шепотка песен.
И, как ни сложен этот мир,
Он дорог мне и сердцу мил:
Ты в нем — он этим интересен.

Шумит и ластится листва,
И яркой зеленыю трава
Ласкает взор, зовет остаться.
Как хорошо лежать на ней,
Не знать числа ушедших дней:
Здесь нет тебя — мне возвращаться.

Пройдет лишь несколько недель,
Уйдет, растает вешний хмель
В мечтах о встрече. И зимою
Я вновь под перестук колес
Прибуду на замерзший плес,
Мы венчаны на нем звездою.

Живу порою наугад,
Ошибок груз, забот, утрат.
Но не могу я огорчаться —
Пока ты здесь, мне этот мир,
Пускай он сложен, сердцу мил —
В нем жить, любить! Им восхищаться!

21.05.2007

* * *

Еще небесная улитка
Не заползает высоко,
Ее радушная улыбка
Не засияла широко.

И сопки далматинской кожей,
Встопорщив дыбом шерсть берез,
Стремятся к небу, строя рожи,
Как будто все и не всерьез...

Конец зиме! Погода злая,
Ослабившись, поджала хвост,
А солнце, день за днем листая,
Над Кольским краем рвется в рост!

Конец зиме! Начало мая...

2010

Осенняя иоферская

Листопад закружил по асфальту
Золотою пыльюю листвы.
Раззадорилось утро и с альтом
Ветер спорит под шорох травы.

Разноцветной веселой поземкой
Осень стелется к шелесту шин,
Вихрем радостным, стайкою бойкой
Пламенеет меж встречных машин.

Эта диво-игра листопада
Так прелестна и так хороша,
И дорога, как будто награда,
В час, когда замирает душа!

2008

* * *

Может, придется посечену лечь —
Петь и сражаться готовы —
Меч мой — могучая русская речь,
Щит — украинская мова.

В. Тимофеев

Моя милая Русь! Моя славная Родина Рода!
Нет! Не зрю я в тебе «бульбашей» и «кацапов», «хохлов»...
Ты славянскую сущность, как дар, приняла от Природы
На добро для друзей и на горе для подлых врагов.

С изначальных времен и до нашего смутного времени
Ты стояла упорством родов и всех общин твоих,
И в лихую годину, и в годы военного бремени,
Отвечая единством на козни да хитрость иных.

Мы — поляне, древляне, дулебы, чудь, меря да вятичи...
Русь во все времена — многоликости цельный узор.

2007

* * *

Вот и всё.
Облетает последний листок.
Выпал снег и пропели метели.
Отпусти,
Я прожил в шалаше, сколько мог.
Ухожу.
Отдохну, ожидая весенней капли.

Не держи —
Одинокий всегда одинок.
То ли в шумной толпе,
То ли в знойной пустыне
Он, как этот
Затерянный ветром листок,
Как рыбац,
Что замерз на оторванной льдине.

Не грусти,
Озарит снова солнце твой путь,
И цветущий ковер
Заиграет в пустыне,
А меня позабудь —
Я оставил тебе
На опавшей листве...
увядающий иней.

* * *

Украшенная синью и цветами,
Играя ожерельем дивных рос,
Плывет планета тихими путями
Задумчивых и безмятежных звезд.

Они молчат. Мигают огоньками
И, находясь в немыслимой дали,
Манят своими хрупкими лучами,
Согретых Солнцем сыновей Земли.

Здесь, на Земле, забот еще немало.
Но с думой о космической дали
Стремятся ввысь ракетные причалы!
Им, будто эхо, вторят корабли.

Безбрежные моря седой Вселенной,
Усыпанные звездным серебром,
Ждут первооткрывателей смиренно,
Ждет новых Магелланов космодром.

1990

* * *

Памяти М. Л.

Я проезжаю между Лицей и скалой...
Чуть впереди тот поворот закрытый,
Который вмиг, как будто гений злой,
У Мастера похитил Маргариту.

Я по инерции взлетаю на подъем,
Где жребий был... Где стала карта бита!
Где мы с клаксоном трижды пропоём —
И днем, и ночью — «Рита! Рита! Рита!»

Я ненавижу тот безумный миг —
Хотя мы были с нею незнакомы, —
Когда озлобленный, взбесившийся «Scenic»
Не запятой, а точкой сделал кому.

Хрустальный звон... Уж полночь на часах,
Я возвращаюсь к музыке забытой
И, может быть, даст Бог, на небесах,
Мы закружимся в «Рио Рите» с Ритой!

2010

* * *

Еще небесная улитка
Не заползает высоко,
Ее радушная улыбка
Не засияла широко.

И сопки далматинской кожей,
Встопорщив дыбом шерсть берез,
Стремятся к небу, строя рожи,
Как будто все и не всерьез...

Конец зиме! Погода злая
Ослабившись, поджала хвост,
А солнце, день за днем листая,
Над Кольским краем рвется в рост!

Конец зиме! Начало мая...

2010

Евгений Мюллер

НАРИСОВАННОЕ ЗЕРКАЛО

(повесть)

«За моим окном — двухэтажный бревенчатый флигель, крепкий сруб, ровно, до серебристости, посветлевший от воздуха и солнца. Низ сруба оштукатурен и, похоже, совсем недавно выкрашен розовой краской. Даже отсюда мне видно, как забрызганы ею листья большого репейника, косо торчащего у самой стены. На крыше сруба — в складках шифера, вокруг трубы — полно где черной, слежавшейся, где свежей лиственной трухи: прямо над ним раскинули ветви большие темные тополя. Вот галка спрыгнула с доски на коньке крыши. Галка шла по шиферу, как ходят по шпалам, шагами считая его ребра. Мне еще не скучно и еще не скучно стоять у окна и смотреть на флигель и госпитальный сад. Сейчас я заметил, что флигель на самом деле — одноэтажный: оштукатуренный низ — это фундамент, удерживающий сруб на склоне».

Так начинались записи в небольшой, но толстой, почти как общая тетрадь в девяносто шесть листов записной книжке, которую я вырнул ногой в груде строительного мусора, гуляя с собакой вокруг разломанного под снос старого дома. Такого старого, что кое-где на пластах обваленной штукатурки была видна набитая крест-накрест дранка. Несмотря на то что страницы в книжке плотно слежались и покособились от влаги, записи почти везде были читаемы — может, потому, что сделаны были в основном черной шариковой ручкой, да и бумага страниц была плотной.

В конце книжки помещались подсчеты, только часть которых была мне понятна. Последние свидетельствовали о том, что за два года службы в армии владелец книжки съел 29 кг макарон, почти 15 кг масла, 22 кг соли, 402 кг картофеля, 110 кг мяса, 47 кг сахара, 219 г перца, 215 г горчицы, 28 кг лука. Хлеба пшеничного 292 кг, хлеба ржаного 328 кг. Также употребил в пищу 146 г лаврового листа, 22 кг киселя (сухого), 730 г чая. Я даже подумал: уж и чем мог заболеть сей здоровяк, сей поедатель макарон и картофеля, не упускающий случая щедро посолить, слегка, но поперчить, а также намазать, хоть и тонко, горчицей хлеб. В виде таблицы были зафиксированы даты полученных и отправленных писем, некоторые строки в которой помечены «не отв.» (не ответил?).

Что касается самих записей, заполняющих почти всю книжку, то благодаря хоть и мелкому, но округлому почерку, почти все они были понятны, несмотря на то, что сделаны были по-разному: то аккуратно, с небольшим, но выдерживаемым пробелом между строчками, то

вдруг одна строчка начинала налезать на другую, словно писали в темноте или лежа.

Читать эту книжку — покоробленную, с шершавыми от налипшего песка страницами, плохо разгибающуюся в корешке, — вряд ли пришлось кому-нибудь в голову. И я тоже сначала лишь пробежал глазами то по одной, то по другой странице. И все же некоторые из них сами собой стали складываться во что-то одно. Только их я и перестучал на компьютере, опуская все то, что казалось мне чем-то иным по отношению к главному. Некоторые записи я поменял местами. Думается, что этот редакторский произвол был с моей стороны вполне извинителен. Ведь автор, займись он через какое-то время этой книжкой, наверняка и сам захотел бы кое-что изменить. Впрочем, он записывал с совсем другой целью, если только она у него была. Черта почти всех дневников, по крайней мере опубликованных, — та, что автор то начинает их вести, то бросает. Так что в основе дневника, видимо, лежит не цель, а что-то другое. Еще я был в смущении относительно дат. Иногда возле записей их не было вообще, иногда трудно было понять, сколько записей относится к одной дате. Я оставил лишь те, которые, как мне показалось, могли что-то значить для текста, и думаю, что и здесь не очень погрешил. Читая эпистолярные романы или романы-дневники, я иногда тщетно пытался понять, какое значение имеют даты, аккуратно проставленные над записями. Да и время, как пишет сам автор в одном месте своих записок, «течет быстрее, чем я это замечаю». Наблюдение в общем-то совершенно банальное, но ведь принадлежит оно тому, кто в силу самого своего положения не только старался его замечать, но и вел ему постоянный и очень заинтересованный учет (как всякий, проходящий армейскую службу). Думаю, что самое уязвимое в этой фразе автора — слово «течет». Потому что, как следует из этих же записок, течет-то оно течет, да вдруг словно проваливается куда-то и потом, разлетаясь, разрезаясь, выносит во что-то уже совершенно иное.

Делая все эти изменения, я, может быть, поступил даже более уважительно к владельцу этой записной книжки, чем если бы старательно сохранил в ней каждую букву. Иначе получалось бы, что я без всякого на то согласия выставил на обозрение вполне конкретного человека.

Некоторые страницы в книжке занимают рукописи стихов. Я написал «рукописи», а не «стихи», потому что вот на этих-то страницах полно зачеркнутых, полузачеркнутых и дописанных сверху строк. Я выбрал из всех лишь несколько и поместил их в конце.

Написано все это было уже давно. Судя по записи, упоминающей маршала Гречко, — годах в 1970-х. Кто любит только самое актуальное, может не читать.

Зачем я вообще привел эти записи в какой-то порядок? Не знаю. Но неужели все существует только для того, чтобы кто-то пхнул ногой в старую рухлядь и, подбросив носком ботинка одно-другое, пошел дальше?

26 июня

Снова болит. Болит подолгу, сильно. Врач смотрел, долго мял мне живот твердыми и сухими, как дерево, пальцами: «Да где болит-то?»,

потом сказал: «Ладно, посмотрим». Возможно, он думал, что я симулирую и хочу, чтобы меня комиссовали.

Сейчас хорошо поужинал. Гречневая каша, крутое яйцо, масло, булка, хорошо заваренный чай.

Я думал, что было бы неплохо делать записи каждый день, но это вряд ли будет возможно. Сейчас уже почти девять вечера. Мог ли я что-нибудь сегодня записать? Иногда мне хочется просто описать весь день. Просто с утра и до вечера. Как будто бы это был какой-то особенный, какой-то замечательный день. Может, все дело в том, что вокруг меня теперь — не казарма, а эта светлая палата, где нас только трое, а за окном — сад. Но разве мне не хотелось иногда делать это и раньше? Это похоже на то, как порой хочется вставить в маленький окуляр фотоаппарата что-то вдруг очень понравившееся: просвеченный вечерним солнцем куст на опушке, разводы рельсов на широком пустом перекрестке. Слабый щелчок, и, думая, что ты сохранил, удержал это мгновение, ты на самом деле навсегда его потерял. Да еще и не всмотрелся как следует в этот куст, в эти разводы, а торопливо взялся расстегивать твердую фотокобуру. Да и не будет на фотографии ни именно того солнца, сквозящего в кутерьме ветвей, ни мерно гаснущего блеска уложенной веером брусчатки.

«Девятый час. Уж темно...»,
а я ощущаю разбитость и несобранность.

В госпиталь меня вез лейтенант Серяков. Он — худой, довольно высокий, держится всегда совершенно прямо, но при этом имеет странную осанку: где бы он ни стоял — на асфальте у здания части, на земляной ли обочине, кажется, что его пятки продавливают подошвы ботинок, уходя вниз, отчего носы его ботинок всегда торчат вверх, и, видимо, поэтому брюки его всегда обвисают на икрах, а выше обвисают полы плаща или шинели — что бы ни было на нем надето, и так обвисают его щеки, а над ними и надо лбом — соломенные волосы. И только глаза торчат с его лица тоже чуть вверх, как носы ботинок, напоминая почему-то еще глаза рака, но и им словно бы не дотянуться до куда-то, и поэтому он все время оправляет с боков и за спиной форму под ремнем, словно это позволит ему вытянуться еще хоть немного вверх. Вот так он и стоял около темно-зеленого санитарного уазика, похлопывая по обвислой штанине коричневой папкой, которую держал за один угол, и хотя предстояла поездка, смотрел на меня точно так, как накануне вечером, когда я пришел в санчасть, а он стоял около огромного напольного рефлектора, рассматривая в его мощном свете заусенец на большом пальце правой руки. В уазике было пусто, мотались натянутые между крышей и полом лямки с пустыми петлями для ручек носилок, и я, сидя на жесткой лавке, идущей вдоль боковой стенки, пригнувшись вперед, старался не биться о борт спиной, и лишь иногда заглядывал в маленькие окошки, чтобы рассмотреть, где мы едем. Наша часть находилась на самой окраине города, и ехали мы тоже, похоже, одними окраинами, и когда почти через час езды шум колес под полом стал, наконец, ровным, мы почти сразу остановились в узком зеленом проезде, перед выкра-

шенными серебряной краской воротами, за которыми, падая вниз, виднелись прячущиеся в зелени строения из серого кирпича. Когда я соскочил на землю и сделал несколько шагов, мне показалось, что из меня вытрясло не только то, что было съедено мной утром в столовой, но и все, что я вообще съел в своей жизни.

Палата, в которую меня положили, была трехместной. Все три кровати стояли в ряд, изголовьями к стене. Справа, если лежать на них, была входная дверь, слева — окно, большое, почти во всю стену. Между кроватей стояли тумбочки. Мне указали на среднюю кровать. На соседней слева был виден кто-то маленький, чернявый. Справа, у двери, лежал на спине, положив руки поверх одеяла, — я сразу это понял — дембель. Не «старик», а именно дембель. Хоть мне и самому оставалось служить меньше полугода и нюх на старослужащих мне был уже не нужен, но что это — дембель, я понял сразу. Наверно, если бы не госпиталь, он был бы уже дома. У него был перитонит после аппендицита, его уже два раза чистили, и боль и мокнущая повязка не давали ему возможности не только ходить, но даже сколько-нибудь заметно двигаться. Руки дембеля были большие, сильные, и такой же крепкой, словно с силой чьими-то руками слепленной, была его голова с ровным, чуть запотевшим лбом под светло-русым чубом. Он посмотрел на меня один раз и потом за весь день больше ни разу не взглянул. Наверно, я был для него страшной несправедливостью, ходящим, сидящим, лежащим (по своему собственному усмотрению могущим это делать!) напоминанием его, его (!) обрушившейся на него в его дембельскую пору немощи. И только сама его, хоть и невольная, неподвижность возвращала ему его дембельскую привилегию, его право уже не суетиться ни по какому поводу, тем более при наличии рядом если не салаг, то хотя бы одного — двух мельтешащих поблизости «молодых» (а ему, дембелю, молодыми были уже все, даже старики). Поэтому, хоть и отвернувшись обычно от нас (меня и моего соседа слева) к двери, он был спокоен лицом. По разу два в час он приподымал и опускал отворот одеяла на своей груди, чтобы посмотреть, мокнет ли повязка. Она мокла. Проходило немного времени, и он приподымал одеяло снова и потом лежал, смотря чуть в сторону, в угол палаты, словно это было единственное место, где время, которое все дальше уносило его от того момента, который он так ждал, не двигалось.

Я положил в верхний выдвижной ящик тумбочки зубную щетку, пасту, бритвенный станок, расческу, шариковую ручку и несколько последних полученных писем. Ничего больше у меня не было. Потом я открыл нижнюю дверцу тумбочки и, посмотрев в ее темное нутро с маленькой светящейся дырочкой в боковой стенке, почему-то подумал, что так, наверно, выглядит изнутри скворечник.

На мне была пижама из застиранной фланели цвета того кофе с молоком, который иногда по воскресеньям нам давали на завтрак вместо обычного чая. Тапочки представляли из себя две коленкоровые норки, почему-то еще держащиеся на тонких, как лист картона, кожаных подошвах. И потому, что ступнями в таких тапочках я чув-

ствовал пол так, как можно ладонями чувствовать холодную и шершавую стену, а каждая штанина была так непомерно широка для одной моей бедной ноги, что мне так и хотелось, когда я одевался, взять и засунуть в ту же штанину и вторую ногу — я казался себе в этом одеянии еще меньше и еще более худым, чем был.

Дня через три мне стало казаться, что нигде на свете я никогда и не жил, кроме как в этой палате. Не потому, что в ее светло-серых стенах вдруг проступило что-то знакомое, а русский чуб на соседней кровати торчал над подушкой все так же неприминаемо. Просто все эти три дня, за исключением завтраков, обедов и ужинов, утренних обходов врачей, нескольких хождений за две-три комнаты по коридору, чтобы быть уколотым противной маленькой железкой в палец или вполне добропорядочным шприцем в вену — я спал! Спал с удивительным правом спать до и после обеда, перед ужином и после него. Спал даже в краткие моменты вынужденного бдения (разбудив среди дня, позвали на рентген, потом сказали, что надо с полчаса подождать в палате, так как кончилась пленка, и потом подойти снова — и я сразу заснул, и меня, уже с укоризной, будили снова). Засыпал, уже приготовившись идти в столовую и вдруг решив, что собрался слишком рано. И естественно, что чем больше я спал, тем самым значимым для меня действием — после этого скоро мной уже и не ощущаемого процесса сна, становилось другое действие — пробуждение.

Я могу загибать пальцы: я просыпался в своей жизни, как, впрочем, многие: 1) от чирканья кем-то спичкой на кухне — сквозь сон этот звук казался на самом деле не звуком, а маленькой черной вспышкой; 2) от шума воды, льющейся в чайник; 3) от тривиального будильника; 4) от шума дождя, ниспадающего в бездонный колодезь нашего двора; 5) от поскребывания лопат дворников, по звуку которого можно было сразу определить, мороз за окном или царство непролазной мокрой ваты; 6) от чей-то идиотской радиолы майскими короткими ночами; 7) от — не с этого ли надо было начинать — стука чьих-то сапог в проходе за койками; 8) от утробного гудения на плацу за казармами разогреваемых еще до подъема грузовиков; 9) от четкого, близкого, но словно не принадлежащего никакому человеку «Рота, подъем!..»; 10) от...; 11) от... . Но я никогда еще не просыпался от тишины.

Как ни странно, тишина сама по себе не была чем-то отдельным. Она появлялась в тот момент, когда во вдруг возникающем муаровом мареве моих ресниц вдруг что-то сдвигалось, и вслед за этим в фортификационные сооружения одеяла на моей груди проникало что-то узкое, тоже почти белое, и в согретую норку моей подмышки, кроме которой, казалось, во всей вселенной пока еще не было ничего, упиралось что-то твердое, холодное и слегка влажное — градусник.

Черт подери. Единственное, с чем это можно сравнить, — так это с нарушением девственности. И еще это был тот единственный случай, когда зачатие и деторождение происходят одновременно, и плодом их являлся — всего лишь, о великое чудо! — новый день.

«Все равно у меня всегда 36 и 6», — говорил Джикия. Джикия — это тот парень, который занимал кровать слева. У Джикии было несколько удивительных свойств. Как бы он ни лежал: на боку, на спине, на животе, — в положении сидя он оказывался мгновенно. Его могло вообще не быть в палате, и вдруг он оказывался, вернее, я вдруг видел его туловище и профиль сразу вертикально помещенными на его кровати, прямо напротив окна. Другой особенностью Джикии было то, что его затылок и шея составляли всегда одну совершенно прямую линию. Еще одну совершенно прямую линию в его голове образовывали лоб и нос. Нос был длинным, раза в два длиннее лба. Соотношение это было неизменным и четко заметным благодаря плоским, но очень черным бровям, прямо восходящим от переносицы, на которой они смыкались, к вискам, к черным клиньям волос, совсем коротко остриженных, но все равно плотно чернящим его голову. Когда Джикия вдруг возникал на кровати на фоне окна в положении сидя, эта вторая его особенность приобретала особую зримость.

И еще у Джикии всегда было 36 и 6.

Сегодня 30 июня. Время течет быстрее, чем я это замечаю. В самый первый день здесь мне было сказано, что ходить по другим отделениям, то есть этажам, и выходить на улицу — нельзя. Я и не выходил. А вчера, повалявшись без сна часа полтора после обеда, я спустился на один марш по лестнице к окну на площадке и, постояв немного около него, пошел дальше вниз. Что меня выдавало, так это противное сухое шкрябанье подошв моих тапок по шершавым ступеням. Но, наверно, строгость запрета существовала только при его оглашении. Никому из повстречавшихся мне на лестнице и в большом коридоре внизу до меня не оказалось никакого дела, и, благополучно пройдя остекленный тамбур, грохнувший за мной железной дверью, я вышел на улицу.

Корпус, в котором я пролежал уже пять дней, был четырехэтажным, из белого кирпича. Широкие окна расслаивали его на узкие белые и серые полосы, из-за чего он казался еще длиннее, чем был. Глядя на него сейчас снаружи, я сразу вспомнил коридор, в который выходила дверь нашей палаты и до дальнего конца которого я еще не доходил. И еще я подумал: как странно, что окна, которые на самом деле прозрачные, днем почти всегда кажутся более темными, чем стены. Словно дому не хочется, чтобы кто-то заглядывал в него, тогда как сам он только и делает, что смотрит на тех, кто снаружи. В одном месте корпуса был устроен выступающий, сплошь остекленный «фонарь», который навряд ли был чем иным, как не операционной.

Я повернул за торец корпуса и оказался на земляной дорожке, плавно спускающейся вниз — туда, где возвышался такой мне уже знакомый бревенчатый флигель. Было очень тепло, душно, густую траву по краям дорожки прямо распирало от обилия самой себя, и бледно-розовые мальвы, целыми семьями торчавшие то там, то здесь на газонах, так жадно тянули во все стороны свои огромные бутоны, что казалось, что для пропитания им мало солнца, мало воздуха, влаги, а нужно что-то еще. Все края дорожки были густо пробуравлены дождевыми червями, а через несколько шагов я увидел трясогузку,

скакавшую впереди меня и крутящую по сторонам головой с таким же любопытством, как и я. Перед флигелем дорожка поворачивала вправо, и, пройдя по ней еще немного, я остановился перед просветом в деревьях. Сделав к нему несколько шагов, я остановился, чуть качнувшись вперед: почти вертикальный обрыв падал вниз. Оттуда, где я стоял, мне было не видно, что в его низу. Зато прямо впереди, вдалеке, я увидел что-то узкое и желтое, отделенное чем-то другим, белесым и — не неподвижным. И я понял, что это Волга катила свои ровные, поблескивающие на солнце воды, а желтые, сверху зеленые полосы — это скаты далеких узких островов, вытянувшихся по ее течению. А самая дальняя полоса — это был уже другой берег, но его в этой белесости купающегося в воде солнца почти и не было видно.

Как завороченный я стоял и смотрел в просвет темных деревьев, сияющих расти как все деревья вверх — на крутом, почти отвесно падающем склоне. Может, еще и потому, что то белесое, что медленно двигалось в просвете деревьев, было — я это чувствовал, несмотря на все разделяющее нас пространство, — совершенно неостановимым.

— Ты хоть Волгу-то когда-нибудь видел? — спросил меня лейтенант Серяков, когда перед посадкой в «пазик» я спросил его, далеко ли госпиталь, а он ответил, что почти в центре города, на самом берегу. Как же, видел... В увольнения ни летом, ни тем более зимой мы в город не ездили, довольствуясь ближайшим парком при стадионе: с учетом пересадок на одну дорогу ушло бы часа три. Лишь один раз я побывал почти рядом с нею. Как-то в воскресенье нашу роту возили на концерт в Дом офицеров. Рассадили нас на балконе, и все, кто выходил на сцену, светлевшую в лучах прожекторов далеко внизу, казались нам маленькими-маленькими. Мы сидели, жрали печенье из положенных на колени фуражек, купленное в перерыв в буфете и оказавшееся, как позже выяснилось, несвежим (человек десять потом маялось животами), и смотрели на гимнастов, жонглеров, певцов, одни из которых, когда пели, делались похожими на бюсты, а другие, словно без этого их голос не мог бы долететь до нашего балкона, надувались, как готовые вот-вот лопнуть воздушные шары. Последним номером концерта было выступление маленьких, словно это был детский балет, танцующих в купальниках и плащиках, исполнивших «оригинальный танец». «Я б вон ту. А я — эту, у той мослы торчат, словно некормленная», — пошло по нашим рядам на балконе. Когда на обратном пути наш автобус застрял на перекрестке и, пытаясь пробиться, развернулся почти поперек улицы, а потом, рыча, круто стал забирать вверх по упирающемуся в набережную спуску, я, очнувшись от дремоты, увидел за окошком уходящий вниз берег. Красное садящееся солнце озаряло сады, огороды, прилепившиеся к пологому берегу домики, окна которых горели на солнце. И вдруг, не менее ярко, блеснул внизу клин темно-синей воды, ленивыми разводами омывающей изогнутый берег. По выющейся между грядок и низких заборов тропке медленно поднимались два мужика, одетые во что-то подходящее этим огородам и тащившие, положив каждый себе на плечо его конец, огромное бревно, видимо,

прибитое водой к берегу. Вот такой я и увидел первый раз ту, которая — «издалека, долго».

Джикия лежал с геморроем. В конце зимы, присаживаясь по нужде на снег или водружаясь на край толчка в казарме, он стал замечать тонкую, словно бьющую из шприца, сильную струйку алой крови. Сначала он не придавал этому значения, потом сходил все же в санчасть, полежал в гарнизонном лазарете и вот теперь оказался в госпитале, в ожидании операции. Джикия говорил, что поначалу он даже не испугался этой струйки, и более того — ему даже не казалось, что это кровь: настолько она была алой и настолько он ничего при этом не чувствовал. Более того — ему даже нравилось, сидя на корточках и низко пригнув голову между широко расставленных колен, смотреть, как алая струйка секла и протапливала снег. Он говорил, что уже издали замечал на кочках, на обочинах дорог красные промерзшие свои отметины и говорил, что стал чувствовать себя словно собакой, так зримо и незаметно ни для кого узнавая свою, ему одному видно как помеченную территорию.

Однажды, как всегда незаметно оказавшись прямо сидящим на своей кровати, Джикия изрек фразу, которой поначалу меня удивил. Он сказал:

— Вообще, гадить надо только на улице.

Я спросил — почему? И он ответил:

— А потому, что когда ты делаешь это на землю, то это так природой задумано. А тебе что, кажется правильным, да, гадить в собственном доме?

— Ты с чем лежишь? — спросил сегодня Джикия. А я не знал, с чем я лежал, и моя боль, нет-нет мучившая меня, как это ни странно, казалась мне чем-то совсем неглавным здесь, в госпитале, так что я даже ни разу не спросил у врача, что со мной. Бревенчатый флигель в окошке и огромные пузыри на лужах после дождя в саду занимали меня гораздо больше.

— Тогда зачем ты лежишь? — спросил Джикия.

Во второй день майских праздников нашу часть повели на стадион, расположенный в полчасе ходьбы от военного городка. Было не то что тепло, а жарко, все окна и балконы домов на улицах, по которым мы шли, были открыты, и пока мы шли, я увидел в этих окнах и на балконах столько людей, просто людей, не солдат, сколько не видел, наверно, за все время службы. Уже летал тополиный пух, свежая, сочная, еще не запыленная листва блестела на солнце, и наш идущий повзводно строй в светло-зеленой повседневной форме (на стадион парадную решили не одевать) и с утра начищенных, еще сочно-черных сапогах не только не противоречил этому майскому дню, но даже казался частью этого всю зеленую лиственно-травяного мира. На самом стадионе развевались флаги, вокруг поля бегали спортсмены с эстафетой, потом был футбольный матч — команда одного завода играла с командой другого (стадион назывался «Металлург»), а мы сидели на скамьях указанного нам сектора полупустых трибун, шатались по дорожкам вокруг, какие-то счастливицы сбегали куда-то за

мороженым и хвастались, что пили газированную воду. На трибуне страшно пекло, многие сидели, расстегнув кители и положив снятый ремень на колено, а меня вдруг стало знобить, и противная червячная боль шевелилась в боку. Это длилось около часа, потом боль прошла, и в часть я пришел, про нее забыв. Через пару недель я опять думал, что же это такое у меня в животе: в послеобеденные полчаса мы лежали с ребятами на заросшем лебедой бугре, и то один, то другой отрывал тем борщом, второй бачок которого, уже сытые, мы залучили в качестве добавки (на раздаче в этот день стоял земляк нашего взводного) — из одной лишь неизбывной солдатской жадности до еды и привычки при возможности наесться впрок. Потом из-за этой боли мне казалось, что я не выстою строевые, потом я по привычке к ее неожиданным появлениям и исчезновениям, а потом, столкнувшись как-то возле части с лейтенантом Серяковым, я, больше от нечего делать, сказал ему, что у меня что-то болит. Он велел мне зайти в санчасть после ужина, и когда я пришел, кивком головы указал на топчан. Рядом с топчаном стоял высокий напольный рефлектор с огромным полукруглым никелированным отражателем. Когда зимой я лежал в санчасти с простудой, под этим рефлектором фельдшер сушил по вечерам свои сапоги, а на полукруглом отражателе — портянки. Лежа на топчане со спущенными штанами и глядя на свое отражение в никелированном отражателе, я видел себя маленьким-маленьким и где-то далеко-далеко — совсем как тех певцов на концерте. Лейтенант Серяков сначала молча смотрел на мой живот взглядом таким же неподвижным, как этот отражатель, потом долго мял мне живот пальцами.

— Я утром в госпиталь еду, за солдатом одним. Поедешь со мной, пусть посмотрят, — сказал он.

— Резать будут, — заключил Джикия.

Сегодня я прошел-таки весь коридор. Наша палата находилась в самом его начале, в углу корпуса, слева от двери на лестницу. Направо от нее серела обитая цинком узкая глухая дверь с надписью «Буфетная», а на некотором расстоянии от нее блестела стеклами дверь в столовую. По все остальной части этой стороны коридора темнели проемы дверей в палаты. Посередине коридора в небольшой нише располагался сестринский пост: стол, два стула (один за столом, другой сбоку), а на стене над столом — табло в виде жестяной коробки с квадратиками матовых стекол с номерами палат. По другую сторону коридора также шли палаты, только напротив сестринского поста выделялась двустворчатая дверь в ординаторскую. А ближе к концу коридора располагалось то, что называлось холлом. Здесь стояло штук шесть мягких кресел, между ними — низкие столы со столешницами в виде шахматных досок, телевизор, а у окна — несколько кадок с монстерами. Их листья были такими огромными, а черенки их — толстые и длинные, как у ревеня — были подвязаны к кривому, но крепкому стволу. Подвязаны они были простыми бинтами, отчего казалось, что растения эти забинтованы.

Вечером перед ужином мне сказали, что в соответствии с общим порядком я, как ходячий больной, назначен на завтра дневальным на

пост отделения — с 9 утра до 9 вечера. Пост располагался в коридоре, возле самой двери, выходящей на лестницу, и представлял собой точную копию казарменного: тумбочка и табурет возле нее. В обязанности дневального входило... Если говорить честно, в обязанности мои не входило ничего. Формально я должен был следить, чтобы на отделение не заходили посторонние, а из него не выходили те, кто на нем лежал. Но если у себя в роте я точно знал, кто есть посторонний, то здесь я понятия не имел, кто из периодически шаствующих по коридору и лестнице свой, а кто чужой. Сидя на табурете у тумбочки и глядя на проходящих туда-сюда по коридору, на поднимающихся или опускающихся за стеклянной дверью по лестнице, единственным посторонним я ощущал себя. Наиболее ценной моей обязанностью была, безусловно, периодическая выдача устных справок врачу на вопрос «Медсестра не проходила?» и медсестре — «Куда пошел врач?».

Известие о назначении на дежурство меня не обрадовало. И не потому, что «тихий час» для меня, значит, отменялся, да и чтением я еще не запасся. Но, уже не один раз подневалив на суточном дежурстве у себя в роте, я знал: не так уж трудно переждать, рассевшись впритык друг к другу на ступенях казарменной лестницы, вдруг начавшийся перед утренним разводом ливень, или пересидеть, глядя невидящими глазами на экран, дурной фильм в клубе, или осилить, нет-нет поглядывая на часы, ночную чистку картофеля в пищеблоке, или отмучить строевые занятия. Но нет ничего ужаснее, чем переждать не что-то конкретное, а просто время. Видимо, для времени, чтобы ему существовать, необходимо быть впитанным в какое-то действие, в чью-то работу, и поэтому оно ненавидит тех, кто по той или иной причине становится просто его наблюдателем. Я узнал это, сидя за тумбочкой у дверей нашей роты в синем, как солдатские одеяла, полумраке ночной казармы, при свете одной только красной дежурной лампочки на стене над моей головой. Чем дольше длилась ночь, тем сильнее я ощущал на себе чей-то неотступный, ненавидящий взгляд, направленный на меня из глубины казармы, из темноты. И это мог быть только один взгляд — времени.

Но заняв утром место у тумбочки в коридоре, я скоро понял, что молчаливый диалог с неподвижными, сколько на них не смотри, стрелками часов мне сегодня не грозит. Уже за полдня я узнал и заметил столько, сколько мне никогда бы не открылось без этого дежурства.

Например, я узнал, что самым большим бегальщиком по лестнице — вниз и даже вверх, на последний, четвертый этаж, является Джикия. Вообще я вдруг обнаружил, что жизнь в нашем корпусе была организована и протекала не только горизонтально, как это мне и могло показаться на моем этаже, но и вертикально — благодаря этой самой лестнице. В начале одиннадцатого, прыгая через ступеньку и вдевая на ходу руки в рукава халата, влетел на отделение один из наших дежурных врачей. Наверно, он боялся опоздать к началу обхода, а я-то видел его всегда почти недвижным, со стопкой папок в руках, подающим заведующему отделением при обходе нужную историю болезни. В начале первого сестра-хозяйка вышла на площадку и стала что-то кричать в пролет, потом сама открыла фиксаторы на той по-

ловинке двери, что была обычно закрыта, и под ее руководством стали стаскивать вниз тюки с бельем: лифт почему-то не работал, а пришла машина из прачечной. Потом я увидел, как медленно поднимается по ступенькам та худенькая, низенькая сестричка, которая иногда входила к нам в палату, говоря тоже тонким, но мягким певучим голосом: «Мальчики, приготовьте ваши пальчики». Лево́й рукой она прижимала к груди, придерживая еще и правой, специальную стоечку с позванивающими пробирками, похожими на хрустальные соты. А как осторожно она потом спускалась, высматривая через край прижатого к груди подноса, на котором стояла та стоечка с уже заполненными, заткнутыми ватой пробирками, кончики своих туфель! Звали ее Тamarой. Это Джикия знал имена всех сестер и встречал их всех схожей фразой: «Вот Тamarочка к нам идет!»

Может, насмотревшись на эти осторожно выставляемые вперед кончики туфель, я заметил, что другая медсестра — Люда, уже несколько раз заходившая к нам в палату с градусниками или чтобы обработать шов русому чубу, ходит в босоножках — совсем простых: широкая, без носка петля на пальцах и раздваивающаяся полоска кожи, идущая вверх по лодыжке и охватывающая ее легкой петлей. При ходьбе тонкая подошва на миг отскакивала от ее ступни, отчего рождался легкий, всегда следующий за ней щелкающий звук.

Один раз Джикия стремительно сбежал с четвертого этажа, минуя наш, куда-то вниз. Один раз он что-то принес снизу в свертках и тут же убежал обратно.

Около двух часов, заполняя собой всю ширину и длину лестничного марша, появилась группа студентов. Входя с площадки на отделение, они создали пробку в двери, и я невольно поднялся и встал у тумбочки, реагируя таким образом на возникший беспорядок. Больше в этот день моего участия ни в чем не потребовалось. Последнее, что я наблюдал со своего поста, — это уход домой трех женщин, работавших в буфетной. Примерно через час после ужина, все перемыв и убрав, они, уже без халатов, вышли из буфетной, закрыв ее на ключ, и медленно, устало прошли мимо меня, неся большие, тяжелые, распираемые изнутри сумки. В их спинах, когда они спускались по лестнице, было что-то безнадежное. Так спускаются со ступенек железнодорожной платформы, таща за собой тяжелую сумку, когда до пересадки на другой поезд еще несколько часов и их надо как-то переждать.

Люда была выше Тamarы, но обе были такие легкие, стройные, только на Люде халат сидел совсем прямо, так что даже было незаметно, перехвачен он поясом или нет, а на Тамаре он был жестко притален, и манжеты рукавов тоже четко обозначали запястья. Вообще Тaмaра была не просто меньше — всегда бледненькая, с полупрозрачным носиком, с не омрачающей лицо, но все же всегда заметной синевой вокруг глаз. Казалось, она не тверже и не прочнее пробирок, позванивающих на подносе в ее руках. «Мальчики, приготовьте ваши пальчики». На самом деле, пальчики были у нее тонкие, прохладные, с легкой синевой от жилок, и когда она протирала мне спиртом безымянный палец на руке, и потом брала маленькую, но противную, с острым шипом на конце железку, я боялся, как бы она не укололась сама.

Сегодня я опять выходил из корпуса и бродил по дорожке за ним. Дождя не было, но земля так отдавала на солнцецепке пропитавшую ее влагу, что казалось — вот-вот в воздухе возникнет если не дождь, то какие-нибудь горячие, бьющие туда и сюда брызги. Огромные шмели медленно кружили в этом зное вокруг до предела вывернутых граммофонов мальв, и казалось, что их кто-то держит на ниточке и медленно пытается попасть ими во влажные, розовые отверстия цветков.

После обеда к русому чубу приходили два его земляка. Один тоже был уже дембель, другому, почти не говорившему, а только молча слушавшему и нет-нет оглядывавшему палату, было еще служить. Первый сидел на краю его кровати, второй — на табурете. Я стоял у окна, оперевшись локтями в подоконник, и слушал их негромкий говорок с мягким, задушевым матерком... «Земляк», который тоже был дембелем, пару раз оглянулся на меня, отчего у меня невольно возникла уже привычная в таких случаях мысль — а не убраться ли на всякий случай подальше. Из их разговора я, в частности, узнал, что в госпиталь сегодня приезжал капитан Саруханян — за каким-то своим военнослужащим. Капитан Саруханян был командиром комендантского взвода, и имя его приобрело магическое значение для всех солдат в нашем гарнизоне. При этом магия эта нисколько не уменьшалась от того, что число тех, кто только слышал о нем, было во много раз больше, чем тех, кто действительно имел неосторожность попасться «волкам» из комвзвода в увольнении, самоволке или же поступал на гауптвахту в организованном порядке. Очень способствовала этой разросшейся и ставшей уже постоянной славе внешность Саруханяна. Это был высокий, крупный и попросту полноватый мужчина, чего, наверно, он не хотел признавать, потому что и мундир и шинель были ему всегда узковаты: по всему туловищу он был словно в «завязочках», какие бывают на теле у пухлых младенцев. У него было смуглое овальное лицо и прямой, крупный, с закруткой на конце нос. Глаза его напоминали две крупные, только что вынутые из рассола маслины. К своему удивлению, встретив его раз пять, я обратил внимание только на представительность его фигуры, но не нашел в нем ничего хищного, а уж чтобы сказать «изуверского» — мне бы и в голову не пришло. Этот магический человек показался мне скорее неким подобием Карабаса Барабаса, нежно любящим своих кукол и при этом даже без всякой плеточки в руках. И это в то время, как я, как и все у нас, хранил в памяти рассказы о таких формах воспитания на гарнизонной гауптвахте, как раскапывание голыми руками специально засыпанного песком куста колючего крыжовника. Но было ли это правдой? Ведь все, побывавшие у Саруханяна, возвращались целыми и невредимыми. И ни у кого из них не были забинтованы руки. И в то же время их молчание и косые, направленные куда-то в сторону полуулыбки, понимались всеми вполне однозначно и никакие вопросы уже не задавались.

Говорили, что он любит вдруг выглядывать из-за угла. И мне, точно, казалось, что я тоже несколько раз видел его нос и смуглое лицо под тенью козырька фуражки — он и зимой не менял ее на ушанку, — показывающиеся из-за серо-кирпичных углов нашей казармы.

Слушая и смотря в окно, я поворачивал несколько раз голову в сторону русого чуба и видел две пригнутые, приблизившиеся к нему темные, неподвижные спины. И нежный ковер мокрицы, и купы крапивы и одуванчиков за дорожкой у флигеля не казались мне уже в этот день такими далекими от всего-всего-всего-всего.

Джикия был из Абхазии, но призывался из Ростова, где до призыва жил и учился в техникуме. В Ростове он жил в общежитии, в центральной части города, но говорил, что все равно присмотрел где-то глухое, заросшее место и, когда его подпирала большая нужда и была возможность по времени, ездил туда на трамвае.

— Сегодня надо раскрутить этих медсестер, — сказал он как-то, валяясь на кровати и не имея, видимо, в этот день настроения мотаться по корпусу. Первой раскрутке подверглась у него Тамара, как нарочно зашедшая скоро к нам в палату.

— Тамарочка, а кто твой муж? — спросил он, глядя, как она колдует над своим подносом возле кровати русого чуба.

— Я еще не замужем, разве не видно?

— А откуда видно? Что кольца-то нет? Хочешь, когда отслужу, я на тебе женюсь?

Тамара засмеялась — даже и пробирки ее зазвенели.

— А у тебя что, никакой девушки на гражданке нет?

— Почему нет, и какая разница, есть или нет. Я на тебе жениться хочу.

— Подожди, сначала мы тебе операцию сделаем. Может, потом тебе и жениться расхочется.

— Молодая еще, — заключил Джикия, когда Тамара ушла.

Когда в этот день к нам зашла Люда, Джикия начал свой разговор так, словно Тамара только что вышла или вообще находилась еще тут.

— А вот Люда у нас уже замужем, — изрек он. — Да, Люда?

— А вот отгадай.

— Замужем, замужем, хорошая девушка, зачем гадать. Я даже знаю, кто у Люды муж. Хочешь скажу, а, Люда?

— Ну и кто же? — смеялась Люда.

— А один врач с четвертого этажа, правильно, да?

— А вот нельзя больным по этажам бегать. Заведующий увидит — выпишет.

— Не выпишет. А захочу, я сам уйду.

Когда Люда ушла, Джикия только рукой махнул.

— Ни за каким она, на фиг, не замужем. Кому она нужна, доска такая?

Я впервые понял при этом разговоре, что беганье Джикии по этажам не были просто свойственной ему формой время препровождения. Если я, сидя на посту у тумбочки, высматривал, что еще интересного может появиться на уходящей вверх и вниз лестнице, то он, похоже, обегал весь этот дом, чтобы знать, где и что может быть ему полезного в этом доме. Я вспомнил и то, как несколько раз видел его через стекло двери разговаривающим на лестнице с какой-то санитаркой, работавшей, видимо, на другом этаже. Это была женщина лет тридцати пяти-сорока, одетая в синий халат, сидевший на ней не как

на время надеваемая, а вполне ее постоянная одежда, часто — в длинных и великоватых ей резиновых перчатках, в косынке, выпадающую на лбу прядь из-под которой она, кажется, незаметно для себя нет-нет поправляла, выворачивая при этом кисть у запястья так, чтобы не касаться лба резиной перчатки. Я видел, что она что-то передавала Джикии, и потом он долго перекладывал это в своей тумбочке. Однажды он сказал: «Сегодня мне на рынке купят и принесут сюда мед». И я сразу понял, кто это для него сделает. А однажды, лежа на спине, заложив ладони под затылок и водрузив одну ногу на колено поставленной на одеяло другой ноги, он сообщил:

— Вообще-то я с ней уже договорился. Она скоро будет дежурить в ночь, и я к ней пойду.

Операция Джикии была назначена на вторник на следующей неделе. Он все чаще лежал вот так на спине, и когда в палату входила Люда или Тамара, спрашивал у них одно и то же:

— Ну как, замуж еще не вышла? — уже не называя имен.

Через день после дежурства у тумбочки меня отрядили дежурить «на кухню», что означало — помогать в буфетной. Здесь грели на плитах поданные по подъемнику с первого этажа, из кухни, кастрюли, резали хлеб и булку, разливали и раскладывали по тарелкам первое и второе, разливали по стаканам компот, кисель и выставляли все это на полку в проеме, ведущем в столовую. Я же в основном мыл посуду в огромных металлических чанах, куда шумно хлестала вода из больших, как в бане, кранов, поднимая, как в бане же, облака пара. Скоро я заметил, что независимо от того, что подавали на завтрак, обед и ужин, смываемые горячей водой остатки еды с тарелок пахнут совершенно одинаково — чуть едко, слегка напоминая доносящийся издалека запах рассольника. К концу дня мне казалось, что я насквозь пропах этим запахом, им пахли мои руки — от ладоней до локтей, запах шел и от живота, которым я терся о край цинкового чана, и от ног — пол возле чанов, сколько его не протирали за день, блестел от впитавшегося в камень жира. Я даже подумал: не проще ли было просто как-нибудь выделить изо всех блюд эту, видимо, главную во всякой еде субстанцию и подавать ее три раза в день в необходимых количествах уже без всех этих оболочек — тефтелей, котлет, биточков, рагу, кнелей и макарон по-флотски.

Утром после завтрака в палату входит несколько врачей с папками в руках. Это обход. Весь день по коридору, лестнице снуют люди, работающие здесь и на соседних отделениях. Несколько раз в день шумят женщины в буфетной. Иногда, стоя у окна, я вижу, как с подъезжающих к служебному входу грузовиков сгружают или, наоборот, загружают на них баллоны с кислородом, коробки, мешки с бельем. Сколько людей включено в работу, в заботу обо мне! Почему же мне так тяжело, так одиноко у этой тумбочки-скворечника, так некуда деться в этом коридоре, где столько дверей, на этой лестнице, на этих дорожках в саду?

Поздно вечером спустился вниз, обогнул бревенчатый флигель, дошел до того прогала в деревьях, словно вымытого потоками воды

в сильные ливни, и спустившись по светлой глинистой земле до места, от которого склон начинал падать почти отвесно, смотрел на Волгу, на другой ее берег. Было удивительно тихо, солнечный золотисто-красный свет мерк в темных зарослях бузины, но еще горячо играл в верхах больших тополей, росших выше на склоне. Я стоял и стоял, словно чего-то ожидая. И ушел только тогда, когда солнце село за темными полосами островов.

Сейчас она прошла мимо окна. Воздух был уже сырой, и я почти прикрыл створку окна и встал между ним и занавеской. Услышав сначала ее голос, я смутился. Она или не она? Из-за угла дома вышла она, еще с другой медсестрой. Наверно, она заметила меня боковым зрением, хотя я и был совершенно неподвижен. Она улыбнулась и махнула рукой, поиграв пальцами. Только тут я качнулся в белизне рамы и сказал: «До свидания, Люда!», понимая, что она навряд ли меня услышит. Она улыбнулась и пошла вверх по дорожке. Зачем я закрыл за минуту перед тем окно? Но почему она заметила меня? Она не должна была меня заметить за темным серым стеклом — свет в палате не горел. Зная, что окна выходят сюда, она повернулась специально или просто, поправляя рукой волосы, немного развернула голову?

На следующий день после дежурства у тумбочки я пошел в библиотеку. Она располагалась в здании клуба, которое стояло ниже по склону и было почти не видно за рощицей молодых тополей. Перед клубом блестела морем одуванчиков огромная поляна, и от ничем не прикрытого здесь солнечного света у меня заломило в глазах. И из-за этого же света мне показалась, что в комнате, в которую я вошел, вообще ничего нельзя было различить. Да и была она узкая, вся заставленная до самого потолка стеллажами. Мне даже показалось, что я снова попал в рентгеновский кабинет в нашем корпусе — такой же темный, заставленный аппаратами. Я шел в проходе, ведя рукой по корешкам книг на полках. «Большие надежды», «Фараон», «Пармская обитель», «Бесы», «Обыкновенная жизнь».

В этот день после тихого часа к нам с градусниками вошла Люда и, увидев у меня на тумбочке книгу, задержалась и посмотрела на обложку, тронув ее пальцами и задержав их на ней. Я провожал ее взглядом, когда она переходила от одной кровати к другой — быстро, даже резко, и вдруг заметил в каждом ее движении какую-то определенность, а в завершении любого движения — четкость, законченность. Я даже вспомнил, как однажды наблюдал в парке за белкой: быстрая, стремительная, непоседливая, она в конце каждого прыжка, разворота, вскидывания головки вдруг делалась — на короткое мгновение — совершенно неподвижной, и в любой из этих моментов ее хотелось сфотографировать. Так двигалась по палате и Люда, почти все время оказывалась ко мне спиной, и я опять обратил внимание на ее локти. И верно — она обычно держала руки согнутыми в локтях, даже тогда, когда ничего не несла, поэтому нельзя было не заметить, что локти ее — как раз на том месте, где вся фигура ее делилась на две удивительно соразмерные части. Наконец, она двинулась к выходу, и хоть она только что сказала нам всем несколько легких фраз, лицо ее

уже выражало какую-то заботу, и ресницы ее скрывали куда-то наклонно и твердо направленный взгляд. Вот такой я и видел ее все — в коридоре, на лестнице. Даже дежуря на посту, она, откинувшись на спинку стула, смотрела всегда прямо перед собой, готовая в любую минуту, как золотистая белка, двинуться, встать, взглянуть — уже совсем по-иному.

После завтрака, в ожидании обхода, не читал, а просто листал «Бесов», заглядывая в случайные страницы, как порой заглядываешь в окна, мимо которых идешь. И вдруг прочел занятную строчку: «Я совсем болен, но не так уж плохо быть больным».

После обхода, который случился сегодня рано, я спустился вниз, вышел из корпуса и пошел бродить. Свернул на одну дорожку, потом на другую. Всюду было жарко, вся солнечная сторона гудела пчелами. Петунии, настурции, анютины глазки, коготки, трава за ними — все было таким, словно возросло под огромным невидимым парником. Все буквально исходило яркими красками, пахучими, едва удерживающимися в своих зеленых оболочках, соками. Мальвы у стены, во все стороны выставившие белые, лиловые, бордовые цветки-граммофоны, были такими высокими и огромными, что казались не цветами, а живыми существами, готовыми вот-вот с тобой заговорить. Глядя на них, я споткнулся обо что-то твердое. Это была небольшая, меньше обычных, крышка водосточного люка, и хотя она была присыпана мелким, блестящим песком, я заметил выдавленную на чугуне надпись: «Завод И. С. Молчанова. Самара. 1911 год».

— Что это вы там рассматриваете? — услышал я тонкий знакомый голосок. Обернувшись, я увидел Тамару.

— А вот нашел исторический памятник, прямо под ногами.

Тамара подошла вплотную ко мне и нагнулась вслед за моим взглядом.

— Надо же! Действительно. Можно в краеведческий музей отдать. Да еще с этим твердым знаком на конце. А я раньше никогда не замечала.

Я решил блеснуть эрудицией:

— Один французский писатель сказал, что памятники в твоём родном городе лучше всего знают иностранцы.

— Верно. Тут ходишь, ходишь, разве заметишь? А ты куда направился?

— А вы?

— Да я уж возвращаюсь.

— Пройдем чуть вперед? У тебя есть время? Я в этом краю сада еще не был.

Мы говорили то «ты», то «вы», но почему-то было очень легко, и этот разнобой не мешал нам идти близко друг к другу, так что порой мы касались друг друга локтями. Здесь, на залитой солнцем дорожке, синева вокруг больших голубых, но очень светлых глаз Тамары была почти не видна, но зато вся она в этих лучах казалась почти полупрозрачной, еще легче и даже меньше, чем была. Она показалась мне вдруг похожей на маленького мотылька, и если бы — даже сегодня, в такую теплынь — не плотные манжеты на ее запястьях и не

плотно перехваченный поясом на талии халат, она, наверно, точно могла бы чуть что — вспорхнуть и улететь.

— А вы заметили, что здесь весь склон не ровный, а спускается террасами? И все дома стоят поэтому ступеньками, — в свою очередь сказала она. — Вон тот — это хирургия, а ниже, под ним — терапия. А еще ниже — клуб, где кино. Был уже там? Правда, сеансы только по выходным. А у вас в части кино показывают?

— Показывают. Правда, клуб у нас совсем недавно построили, до этого зимой в столовой крутили, а с весны — на улице, у казармы. Даже отбой в этих случаях делают позже, ведь надо, чтоб было темно.

— Совсем как на юге, на курорте.

Я засмеялся на это ее сравнение, и она поняла и рассмеялась тоже.

Мы спустились еще ниже. Здесь уже не было так солнечно, дорожки во многих местах были темны, по их краям вились желтые полосы осевшей цветочной пылицы — следы луж. И заросли вокруг были все гуще и гуще. И все ближе казалась, видная в редких просветах, вся в бесчисленных блестках вода Волги. На краю особенно сырой тенистой аллеи стояло что-то небольшое, с острой крышей.

— Тамара, смотрите, — сказал я, — это же, кажется, часовня.

— Какая часовня... — она странно хмыкнула. — Это же прозекторская, тут этих, жмуриков, режут.

Она замедлила шаги, но я не мог удержаться и подошел поближе.

— Вот это кирпич, — сказал я, постукав ладонью по кладке. — Не то что сейчас. На землю, не на бетон, уронишь — пополам колет.

Добротная кладка и сейчас удивляла своей ровностью, и также из кирпича, где зубчатого, где округлого, были выложены полуколонны, карнизы, наличники. Из шатрового купола торчала вверх ржавая трубка — наверно, еще от креста. Над широким входом приметно темнело прямоугольное углубление размером с книгу, обрамленное выступом — наверно, место для образа. Деревянная дверь — единственное, что перекошилось, растрескалось во всей постройке — похоже, была та, что и когда-то. Недавно ее покрасили: она вся была облеплена присохшим, еще почти белым тополиным пухом, наиболее крупные пушины которого шевелились на ветерке.

— Холодно... — поежилась Тамара. — Пошли-ка.

Я вспомнил, как Джикия однажды назвал ее чахлой.

— Тамара, вы сами-то здоровы? Вы такая иногда... бледненькая.

— Я знаю. У меня же гипотония, низкое кровяное давление. Меня здесь наш доктор даже на обследование укладывал. Что делать! Вот, приходится всегда таскать с собой пузырек с кофеином. Чуть что — пару таблеток. Говорят, с возрастом это проходит. Буду старенькая и совсем здоровенькая.

Она рассмеялась, и, смотря в ее бледно-бледно-голубые глаза — как выросшие на ярком солнце незабудки, — я прочитал в них, что ей совсем не хочется быть старой и здоровой, а хочется, чтобы все-все у нее было уже сейчас. Мне так захотелось погладить ее, что я сделал это, проведя ладонью по ее руке. Мы повернули назад, и, улыбаясь и жмурясь на солнце, она прошла снова у часовни, уже не замечая ее.

Сделав вид, что я их всех путаю, я спросил:

— Слушай, а вот медсестра Оля Удалова — это какая? Такая полненькая? Она мне так хорошо уколы делает, даже те, про которые сразу предупреждают, что они болезненные (врал — в последний раз мне показалось, что воткнута не игла, а наполненная горячим маслом воронка).

— Да, Оля — очень хорошая девушка. Но она скоро увольняется и уезжает куда-то. Замуж выходит.

— А вот еще Люда...

— Люда уже давно здесь работает. Но она, знаешь, какая-то... Нам не нравится.

— Нам — это кому? Ах да, есть еще Люба, Люба...

— Пинегина. Черненькая такая. Она вообще-то хирургическая сестра, поэтому дежурит реже.

Незаметно мы подошли к корпусу. Каким темным показался мне сейчас его тамбур!

Тамара исчезла в пыльном белесом кубе, и тяжелая железная дверь стукнула за ней так, словно рассердилась, что вместе с ней внутрь куба попало немного солнца. Я же повернул обратно и пошел вдоль цветочной гряды, высаженной по краю дорожки, и, глядя на укутанные в жужжание насекомых белые, лиловые, красные петунии, не мог отделаться от ощущения, что это и Тамара полощется среди них в горячем ароматном мареве.

И еще я пожалел, что не заставил ее более подробно рассказать о Люде. Да, по сравнению с Тамарой Люда казалась замкнутой. Даже притом, что она вовсе не была неразговорчивой. Замкнутым было ее лицо. И эти локти, всегда прижатые к телу... И все же она была веселая. Да, Люда была веселая. Не знаю, откуда, но я это знал.

Люда, Люба — даже имена эти были похожи, и иногда я замечал, что, задумавшись о Люде, вдруг думаю о Любе, даже если в этот момент не видел ее. Я сразу, еще издали замечал ее и на лестнице, и в коридоре, хоть была она, как все, в белом халате и колпачке. Но всегда с ровно уложенными, что было, наверно, непросто, густыми черными волосами, косо идущими от середины лба к вискам и потом поверх ушей к шее, соединяясь на ней в черный плотный узел. Еще приметны были в ней тонкие, ломкие, темно-красные губы. И линия плеч — тоже была не такая, как у других. Ее плечи покато шли вниз от черного узла волос на шее, и хоть не были узкими, были очень подвижны, отчего во всей ее фигуре, движениях жила какая-то тревожность. Мне всегда хотелось смотреть ей вслед. Еще мне казалось, что она была старше и Люды, и Тамары.

Шли странные, хоть и совершенно похожие один на другой дни. Жара все не спадала, каждый день на парк по несколько раз обрушивались шумные, бурные ливни — недолгие, но не дававшие исчезать огромным лужам по краям дорожек, и даже большие, радужные пузыри так и стояли на темной, густой воде от дождя к дождю. Я плохо спал, просыпался с мокрой шеей и мокрыми волосами. Иногда колотилось сердце. И тянулись медленно: пробуждение, время между уже привычными вехами дня — завтраком, обходом, обедом, ужином. Медленно и читалось. Иногда, когда я лежал на кровати среди дня, —

все путалось в моей голове. Поднимаясь, я медленно выходил в коридор, брел к окну в его торце, замирал у лестницы — спуститься, не спускаться? И все равно, все равно, глядя туда, где был сестринский пост, я ждал — не сидит ли там, как обычно вытянув вперед ноги и наклонив к столу голову с золотисто-русыми кудряшками Люда.

С подходившими шутниками, когда они собирались возле стола на посту, она говорила легко, без раздражения, почти всегда улыбаясь. Вчера после ужина я подсел к ее столу, когда она была одна. Скоро кто-то подошел и, встав около нее, завел какой-то треп. Я продолжал говорить, словно не видя его. Она иногда приподнимала и чуть отклоняла назад голову — видно, ей было не совсем удобно перед тем, другим, но я продолжал говорить и не видеть его. Он ушел.

— Скучно, наверно, по вечерам? — спросила она. — Вон, в холле телевизор работает.

— Да, но там нечего смотреть. Эти дядечки садятся прямо с полдника и смотрят одни новости и футбол. Посмотрят по одной программе, потом переключают на другую, где новости только начинаются, и смотрят и слушают опять то же самое. Разница в новостях только та, что их зачитывают то блондинка, то брюнет. Я, кстати, заметил, что брюнеты ту же новость, что по другому каналу зачитывала блондинка, зачитывают с большим металлом в голосе.

— Какой вы злой. Это же пенсионеры, ветераны, что им еще делать? Неужели непонятно?

— Понятно... А вам что-нибудь непонятно?

Она какое-то время смотрела куда-то, приспустив веки, потом сказала:

— Вы в столовой нашей... не замечали?

— Что?

— Там на четырех столиках у окна стоят в вазочках цветы, здесь на клумбах нащипанные. А рядом — таблички маленькие: «Для офицеров». На остальных столах цветочков нет. Я понимаю, что офицеры должны, наверно, сидеть отдельно. У них свои разговоры... Но цветы... Это... как-то странно. Впрочем, это не самое важное.

— А что — важное?

Она не ответила.

— Вы тоже из стройбата? Эти последние два-три года что-то особенное. Один стройбат. У нас врачи шутят — видно, коммунизм решили по-быстрому достроить. Расскажите что-нибудь.

Но что нового я мог рассказать ей в дополнение к тому, что до меня на все лады рассказывали у этого стола другие? Узкий длинный коридор был пуст. Край света от лампы падал на ее лицо, и ресницы блестели.

Наверно потому, что она только что говорила про столовую, я вспомнил вот что.

— Недалеко от корпуса, который мы строим, метрах в ста, стоит продолговатое одноэтажное здание с тонкой черной трубой. Мы называем его «сухаркой» потому, что над входом в него висит вывеска: «Сухарный цех» такого-то хлебозавода. Там действительно пекут сухари — лимонные, с орехами, с маком, ну, которые в каждой булоч-

ной продаются. Их, кстати, знаете, как пекут? Сначала выпекают длинные тонкие булки, наверно, с метр. Потом их режут на дольки и уже эти дольки просушивают в печи. Иногда эти длинные булки ломаются, и тогда их снимают с конвейера и сбрасывают в фанерные короба. Как отходы, лом. Так вот. Я уж не знаю, что там по технологии с этим ломом делают, но в этом цеху работает одна женщина, которая иногда набирает целый подол этого лома (кстати, эти выпеченные булки-заготовки — необыкновенно вкусные, особенно те, из которых делают сухари лимонные и с изюмом) — и выходит на улицу. Она заходит за угол, где ее никто не видит, и ждет. Наши солдаты, естественно, про этот цех давно уже знают и регулярно навещаются туда, чтобы пожить. Знают они уже и про эту женщину. Увидев издали солдат, она машет им рукой и раздает, отламывая куски, содержимое своего подола. Но самое интересное, что выдает она куски этих сухарных булок вовсе не всем.

— А кому?

— А только самым худым. Справа от нее к стенке цеха всегда приставлено что-то вроде хворостины, и ею, махая направо и налево, она отгоняет от себя всех, кто, по ее мнению, и так толстый. Кстати, вашу Тамару эта женщина откормила бы в два счета.

Люда рассмеялась.

— Врач дежурный идет, — сказала она, увидев появившийся в конце коридора силуэт. — Пока.

И опять происходило что-то странное. Сегодня, после ужина, незадолго до отбоя (здесь, по «Распорядку дня», вывешенному в коридоре против поста, это называлось «Отход ко сну») я снова подсел к ее столу. Неожиданно подошел один из врачей нашего отделения.

— Дай мне папку анализов, — сказал он ей.

Она подала.

Он полистал папку, потом взглянул на меня.

— Тебя уже резали?

— Нет.

Он посмотрел на меня еще пристальней.

— По-моему, у тебя такой вид, словно ты этим даже огорчен. Да, Люда?

Она рассмеялась.

— Ну, тогда возьми это и отнеси вниз, в ординаторскую на первом этаже. Там открыто. Просто положи на стол.

Я спустился по совсем пустой лестнице и нашел недалеко от нее дверь ординаторской. Положив папку на стол и выйдя в коридор, я, сам не знаю почему, пошел не вправо, к лестнице, а влево. Вдруг я увидел широкую железную дверь с двумя круглыми стеклянными окошечками и надписью «Лифт». Я нажал на ручку, дверь открылась, и я вошел в полутемный шкаф, наполненный, как почти все лифтовые кабины, запахом покрытого лаком дерева, трущегося, редко смазываемого железа и чего-то неизъяснимого, исходящего глубоко из-под лифта, из пустоты. Лифт был еле освещен слабой лампочкой, надписи на кнопках были полустерты; я нажал на ту, на которой, как мне показалось, значилась цифра моего этажа, и лифт пошел, но почему-то не вверх, а вниз. Он почти сразу остановился, я неуверенно шагнул,

повернул за угол и оказался в тоже полутемном помещении. На стене, еле светя, горел круглый плафон, тут же стоял стол, на нем, тускло отсвечивая боком эту лампу, — алюминиевый чайник. Рядом со столом, опираясь спиной о стену, а локтем о стол, сидела полная старуха в синем халате. По другую сторону стола, тоже спиной к стене, стояла еще одна, очень высокая и какого-то кикимористого вида: с бровями, углом поднятыми над переносицей, длинным-длинным носом и торчащим вперед подбородком. Сидевшая у стола удивленно, но спокойно посмотрела на меня.

— Солдатик, ты, никак, заплутал. Садись, милый, отдохни. Тебе куда надобно-то? Наверх, поди? А к лифтерам попал. Там что, наверху, стемнело уж совсем аль нет? По дню так еще туда-сюда по этажам едешь, то белье поднять-опустить, то еще что. Сядь, посиди, не хватает, не дома. Никому здесь не нужен.

Я между тем осмотрелся. В одном месте у стены стояла каталка, в другом — кислородные баллоны. В углу желтел покрытый обычной больничной клеенкой топчан.

— А мы вот тут жизнь свою горюем. Все друг другу за день расплачем. Ты, вон, целонький какой, хоть на выписку, а сюда, знаешь, каких иногда привозят? Ой-ей-ей, давленных-передавленных. Всего насмотришься. Того насмотришься, что на свое слез уже не хватает. Да, Алевтина? Да и нет их, слез, откуда им быть, как ты думаешь — продолжала она, — если я три года назад внука семнадцатилетнего схоронила — вышел из дома, и через полчаса приходят и говорят: ваш-то, сторяча, на мотоцикле совсем разбился. А сейчас вот сорок дней будет, как и сына рядом с ним положила. Простыл, лечили-лечили, да не вылечили.

Лицо ее взбухло, и широкой ладонью с почти одинаковыми по длине пальцами она прикрыла всю его нижнюю часть. Я никогда не видел, чтобы слезы текли так беззвучно, без какого-либо движения щек, глаз, лба. Просто текли.

Кикимора, стоящая у стены, стала раскачиваться — не из стороны в сторону, а вперед-назад, вперед-назад, и скоро стало казаться, что и сама стена — холодная, каменная стена за ее спиной — качается, движется, ходит туда-сюда.

Я смотрел на ту старуху, что сидела, и мне показалось, что лицо ее — прямоугольное, прорезанное длинными, почти прямыми морщинами, лежащими на лбу, на щеках, косо, поперек, лучиками расходившимися от глаз, пазух у ноздрей, углов рта — что лицо это никогда не было каким-нибудь другим.

Кикимористая, уже совсем отделившаяся в своем качании от стены, медленно ушла — просто как поглотила ее темнота, заполнявшая все углы.

— Татарка, — почему-то сказала вслед ей старуха на стуле.

За темными стеклами тамбура лил дождь. Приближаясь по ступеням к окну на лестничных площадках, я слышал, как он гремит по карнизам. В нашем коридоре никого не было, только шары ламп горели под потолком, каждый следующий — меньше предыдущего.

Джикия ждал меня в палате.

— Ты что, забыл? Я же тебе говорил.

— Да-да.

Утром его должны были оперировать. Ему уже сделали клизму, и еще ему надо было выбрить всю промежность. Его уже звала в ванную санитарка, но он, само собой, сказал ей, что все, что там надо, он сделает сам.

Он взял бритвенный станок, мыльницу, помазок, и мы пошли с ним в ванную комнату. Там прямо посередине комнаты — как я не видел нигде — стояла большая, порыжелая внутри ванна. У стены стоял топчан, застеленный простыней, а в ногах — куском желтой, измазанной йодом клеенки. Еще был шкаф, тумба с открытыми полками, заставленными банками с грубо сделанными прямо по стеклу надписями. В углу, за перегородкой, белел унитаз. Стояла вешалка, сделанная из изогнутых алюминиевых трубок, соединенных кольцами внизу и вверху. Она была такая неустойчивая, что как только Джикия повесил на одну из торчащих трубок свою фланелевую куртку, вся вешалка вдруг перекрутилась вокруг своей оси, завалилась на сторону, и я едва успел подхватить ее. Джикия выругался, буркнув: «И ее не кормят».

— Я себе спереди уже побрил. Вот, смотри.

Глянув на то, что он показывал, я почему-то вспомнил висящих вниз головами на крючках в гастрономах ошипанных, с отвисшими полурасправленными крыльями цыплят.

— Теперь надо сзади. Но сзади я сам не могу — ничего не вижу. Говорят, надо сбрить все.

Он уже хотел намочить помазок и взбить на куске мыла пену, но я остановил его.

— Я слышал, тут говорили, что лучше по сухому. Из-за пены не видно, где уже сбрито, а также мест, к которым прикасаться уже нельзя. Будет больно — скажи.

Джикия расставил ноги, уперся руками в край топчана и замер, опустив голову. Какие мысли носились сейчас в голове этого горного орла? Я встал на колени и, отодвинув левой рукой одну его ягодицу, провел первый раз бритвой. Гусиная кожа выступила сразу везде, но я снова и снова проводил бритвой, сдувая на пол легкие волоски, которые на лезвие казались более светлыми, чем на коже. Красные геморроидальные узлы Джикии были похожи на очищенные половинки грецких орехов.

Заснул я в эту ночь, закутавшись в одеяло по самую голову. Меня знобило. Стараясь выдыхать под одеяло, чтоб быстрее согреться под ним, я пытался представить, где меня могло так прохватить на сквозняке. В половине второго ночи я проснулся потому, что сильная как никогда боль выкручивала мне половину живота. Я ждал и ждал, что пройдет. И все же в какой-то момент вытянул из-под одеяла руку в показавшийся очень холодным воздух над кроватью и нажал кнопку, темневшую на белой стене, хотя как любой, лежащий в больнице, был уверен, что ничего это не работает. Я так и не понял, кто пришел первым, потому что так и лежал с головой под одеялом и на вопросы поначалу тоже отвечал, едва отводя его от лица. С трудом приподняв правую ногу, я перебрался на каталку, и потолки, потолки, потолки побежали перед моими глазами. В холодной операционной хирург сказал мне: «До утра, что ли, не мог подождать?» Закинув назад голо-

ву от боли, когда потом, несмотря на введенную заморозку, мне казалось, что кто-то накручивает и накручивает что-то в моем животе себе на кулак, я вдруг увидел большие карие, застывшие близко от моего лица глаза Любы, смотревшие на меня с узкой полоски кожи между белизной колпачка на лбу и марлевой повязкой, прикрывающей переносицу и все остальное.

Утром, а может, уже был день, сквозь муторность, проваливаясь периодически в сон, я все же видел, как привезли Джикю. Его переложили на кровать на бок, он лежал спиной ко мне, и мне стало немного легче, хоть нам обоим было нехорошо и даже спросить что-нибудь друг у друга не приходило в голову.

И Люда, и Тамара, зная, как все на отделении, о «букете», который выдавала наша палата, входили к нам, улыбаясь еще от двери. Мы с удовольствием брали градусники, и даже Джикю, лежавший на левом боку, спиной к двери, силился поднять и повернуть голову, отзываясь на их приветствия. Дожди попритихли, лишь иногда мерно и несильно постукивали по подоконнику, и два дня после операции я спал и спал — почти как в первые дни нахождения в госпитале. Книги, которые были мной взяты в библиотеке, были уже прочитаны, и Люда принесла мне «Большие надежды» Диккенса. «Диккенс — это лучшее чтение для отпуска», — сказала она, на что Джикю в его нынешнем положении только приподнял голову, вздохнул и то ли махнул рукой, то ли просто переложил ее на одеяле. Дни проходили незаметно, и наше выздоровление, а вернее заживление, проходило тоже незаметно. Вот мне уже должны были снять швы, вот уже отпали у Джикю перевязанные узлы, и он, кряхтя, походкой кавалериста, уже выходил в туалет. После первой после операции ходки туда он ввалился в палату, проковылял, перебирая руками железные спинки кроватей, к своей, повалился сначала набок, а потом, подтянув колени к груди, замер. Через какое-то время он произнес: «Теперь я знаю, что своему врагу буду желать».

Сегодня к нам сразу вдвоем зашли и Люда, и Тамара. Джикю, с утра написавший домой письмо, копошился, сидя на кровати, сложив по-турецки ноги, с вытащенными из тумбочки своими запасами. Похоже, он делал им смотр, готовясь пополнить. Вечером вчера к нему заходила та санитарка с другого отделения, и он дал ей что-то свернутое, сказав: «Там деньги и все написано».

— Девушки, не уходите, хотите, я вам кое-что почитаю, — оживился он и, заложив в тумбочку свертки, устроился поудобней, оперзав спиной по подложенной подушке. — Вот, слушайте и говорите, правильно это или нет.

В руках у него появилась небольшая, совсем простая записная книжка, какие всегда лежат в магазине нашей части на одной полке с зубной пастой, шариковыми ручками, мылом и одеколоном «Кармен». Когда он начал читать, я сразу понял, что он, как многие солдаты, записывает, как бы это сказать... ну, в общем, изречения, претендующие на высшую мудрость, на что-то философское и в то же время связанное с ближайшими для солдата интересами. Обычно это все — весьма сомнительные, банальные фразы, порой отдающие про-

сто глупостью, хоть порой и заключающие в себе некоторые житейские истины.

— Вот, слушайте, — говорил Джикия, все устраиваясь поудобнее, словно старичок, собравшийся что-то прочесть, но все не могущий приладить как надо очки на носу и расположить на нужном расстоянии бумагу. Тамара, приготовившись слушать, облокотилась сложенными на груди руками на спинку его кровати, а Люда чуть привалилась боком к спинке моей.

— «Любит тот, кто безумно ревнует», — произнес Джикия первое изречение и тут же, подняв голову, воззрился на девушек. — Как, правильно я говорю?

— Ревность может и оскорблять, — сказала Тамара.

— Потом, — начала Люда, — если кто-то безумно ревнует, а безумно — значит не только очень сильно, но, наверно, и очень много, подолгу, то когда ему, собственно, остается время любить?

— Э, вы не понимаете, — поморщился Джикия. — Когда мужчина ревнует, то сразу и видно, что он любит, а то как? Ладно, поехали дальше. «В мире единственная женщина, которая ждет солдата, — это мать».

Он опустил себе на колени руки и повернул голову ко мне — не то чтобы ища поддержки, а, наоборот, заранее деля собственное впечатление от этой фразы со мной.

— А? Это-то ведь верно?

— Понимаешь, Джикия, — сказала Тамара, — это, конечно, верно в том смысле, что кому же еще, как не матери, ждать больше всех своего сына...

— Ну!

— Но получается, ты только не обижайся, что, тогда, скажем, какая-нибудь девушка своего солдата уже не ждет. Мне даже кажется, что эта фраза, как это ни странно, грязна, потому что она прямо подразумевает неверность и непорядочность подруг...

— Э, вам все не так. Вы еще молодые и жизни не знаете. «Первая любовь и первая обида никогда не забываются». С этим вы тоже, что ли, будете спорить?

— Опять, Джикия, получается, что...

— Почему эти две вещи у тебя в одной фразе? — перебила Тамару Люда. — Ведь и то верно, и другое тоже верно. Но у тебя это опять вместе, опять получается, что где любовь первая, там обязательно должна быть и обида. На кого обида-то? На того, кого любил?

Эти замечания доконали Джикию. Он закрыл книжку, забросил ее в тумбочку и, вытянув руку, сказал:

— Градусник давай.

— Не нужен тебе градусник. Вставать уже пора. Чем больше будешь ходить, тем будет тебе лучше. И к вам тоже это относится, — сказала Тамара, проходя мимо моей кровати.

В один из этих вечеров на дежурство заступила Люба. Она вошла и прошла по палате, берясь рукой за никелированную спинку каждой кровати, как бы проверяя, все ли если не в порядке, то хотя бы на месте.

— Как вы себя чувствуете? — спросила она меня. — Вы не берите в голову, наш Афанасий Николаевич, который вас оперировал, он —

такой, любит тучу сначала нагнать. Я видела, вы уже ходите. Все хорошо?

От того, что на ее лице сейчас не было марлевой повязки, скрывавшей все, кроме глаз, глаза ее, так близко и так пристально смотревшие на меня в ту ночь и казавшиеся тогда такими большими, не казались меньше и сейчас. И может, поэтому же теперь особенно бросались в глаза ее узкие, темные, как поздно снятая вишня, губы, необычайно подвижные при каждом слове. При каждом слове они двигались, казалось, чуть больше, чем это было необходимо для этого слова. И это привораживало, потому что создавалось впечатление, что кроме того, что она произнесла, ею сказано что-то еще. И было еще что-то в Любе, что разнилось с другими — Людой, Тамарой. Ту, например, словно пронизал свет, даже собственная ее тень, казалось, принадлежала не ей, а кому-то другому. Люба же, входя в палату, словно что-то вытесняла из нее, и комната становилась меньше — меньше на Любу. Я смотрел на нее — словно в первый раз: она всегда только проносилась мимо меня в коридорах, на лестнице, в саду.

— Люба, возьмите, пожалуйста. Это вам привет из моего города. Мне вчера привезли из части посылку, в ней были и они.

— Нет-нет, — качнула она головой, глядя на апельсин в моей руке... — Ешьте его сами, там витамины. К нам в город апельсины почти не привозят.

— Пожалуйста, Люба...

Она улыбнулась, и когда ее пальцы коснулись удерживаемого мной в ладони апельсина, они дотронулись и до моих пальцев. И я опять почувствовал, что она — это она, а все остальное — воздух, свет, ветерок от окна, отводимая им и спадающая потом занавеска — другое.

После нескольких дней часто очень оживленных разговоров Люда вдруг сделалась со мной как-то суха. Здоровалась коротко, отрывисто, едва взглянув. И что-то неподвижное появилось в ее лице. И вдруг — я знал, что она заступила на суточное дежурство, — она вошла в палату. Было часов семь вечера. Джикия смотрел в холле телевизор, русого чуба должны были вот-вот назначить к выписке, и он по подню пропадал где-то с земляками. Я был один и читал. Люда попросила меня сходить вниз в приемный покой и узнать, исправен ли там телефон, потому что она никак не могла дозвониться туда. Она не сразу сказала мне это, а некоторое время стояла молча, смотря больше даже не на меня, а словно стараясь разглядеть, что я читаю. Я пошел. Конечно, она могла бы сходить и сама, но, может быть, боялась оставить пост? Проще всего и ближе ей было подойти к холлу и попросить об этом кого-нибудь из смотревших телевизор. Когда она вошла, я сидел на стуле, положив ноги на кровать. Она подошла к кровати, а не сказала от двери. Она стояла у кровати, касаясь бедром ее края. Мне стало не по себе, я напрягся, словно хотел изменить то положение, в котором сидел, но не делал этого, и ощущение, что я сам чувствую прикосновение ее ноги, продолжалось. Когда я вернулся, я нашел ее в ординаторской — увидел ее через остекленную дверь. Я приоткрыл дверь, говоря, что в приемном покое с телефоном все в порядке. Она перебирала что-то на полках шкафчика и только раз, отогнувшись назад, чтобы выглянуть из-за его дверцы, взглянула на меня. Мне хо-

телось зайти к ней, но я боялся, что может прийти врач: однажды я слышал, как он распекал солдата, зашедшего в ординаторскую, а потом выговорил и медсестре. Так вот, не был ли я глуп, когда она вошла ко мне в палату?

Опять я бродил целые часы в, казалось, ставших еще более густыми зарослях склона. Иногда я останавливался — и не сразу понял, не сразу признался себе в этом, чтобы передохнуть. Куртка и штаны болтались на мне — почему-то я очень похудел за дни после операции. И когда с реки налетал ветер, я чувствовал, как штанины полощутся позади моих ног. Теперь, когда я встречал в саду Тамару, она уже не казалась мне такой худенькой, хоть на самом деле, дунь ветер сильнее, он унес бы ее, как пушинку с листа, за который она случайно зацепилась. И как-то все это разделилось: в саду я искал глазами Тамару, на этаже — вглядывался, не сидит ли на посту или не спешит ли по коридору с папками в руках Люда, а когда шелкала нажимаемая с той стороны ручка двери — поворачивал голову в надежде, что, еще только распахивая дверь и уже обегая взглядом все в палате, войдет Люба. И когда однажды на дорожке в саду я увидел идущую мне навстречу и улыбающуюся Люду, я испытал смятение, словно назначил свидание одной и вдруг, в то самое время и на том самом условленном месте, встретил другую.

— У вас время сейчас есть? — спросила она, подходя, словно это я мог не иметь здесь времени, а она, наоборот, не знала, куда подевать свое собственное. — Пойдемте, там внизу есть оранжерея, она заброшенная, но там хорошо. Еще я хочу посмотреть, много ли будет в этом году малины, там есть уголок, весь ею заросший.

Как ни странно, несмотря на все свои блуждания, я ни разу не выходил ни к какой оранжерее и, конечно, пошел с Людой, постепенно оказываясь позади нее, потому что тропинка в зарослях становилась все уже и уже. Я шел и смотрел, как листья, трава обхлестывали ее высокие, ровные, лишь чуть розоватые икры, и мне казалось, что мы идем в невероятной, непонятно где расположенной глуши.

— Вот она, — сказала наконец Люда, и я действительно увидел растущие заметным прямоугольником кусты, местами наглухо забитые стелющимися по их зелени вьюнками и то там, то здесь пробитые вымахавшими над ними лозами малины. Медленно пробираясь в этих зарослях, я несколько раз ощутил ногами еще сохранившиеся возвышения гряд и заметил серые, до серебристого блеска промытые дождем и высушенные ветром деревянные столбы, торчащие за кустами.

— Не приживаются у нас оранжереи, — сказал я. — В нашей школе тоже как-то взялись строить оранжерею, рядом со спортплощадкой. Работали и на уроках труда, и на субботниках, выложили фундамент, даже рамы уже начали ставить и — так и бросили. Стояло, стояло все это, пока потихоньку не рассыпалось да не растащили. Теперь и следа почти нет.

— Здесь тоже следы найти трудно, — засмеялась Люда. — Никто сюда и не ходит. Мы здесь одни. А вот и малинник мой. Ну-ка, ну-ка...

Поднимая руки, как это иногда делают, когда входят в воду, она двинулась в заросли, вынося вперед то правую, то левую половину

тела, и скоро только плечи ее и тонкие длинные руки были видны над серебристой зеленью малиновых кустов. Она поднимала, высвобождала один от другого перепутавшиеся стебли, и я тоже видел целые гроздья светлых завязей.

— Как вам «Большие надежды»?

— Нравятся. Мне Пип очень нравится.

— Да? А чем?

— Может, потому, что в нем есть что-то общее со мной. Верней, не между нами, а некоторыми обстоятельствами.

— Интересно... Вообще-то я видела ваш адрес в истории болезни. Честно говоря, это не совсем то же самое, что маленький домик на краю болот.

— Да, но и в этом большом доме, где я живу, у меня, как и у Пипа, в детстве никого не было. Родители-то, конечно, были, а вот бабушек, дедушек, сестер, братьев, родных или двоюродных — никого. Родственников по моей матери я вообще видел только раз в жизни, когда мы ездили к ним куда-то на край света в деревню. У отца, правда, были и брат и сестра, но у никого из них не было детей, и, может, поэтому мы виделись с ними редко. Те, у кого нет детей, живут как-то иначе... Чаще по праздникам мы ходили в гости к тете. Может, потому, что жила она совсем близко. У нее была комната в большой квартире, в самом конце длинного-длинного коридора, с одного бока — совершенно глухого, а с другого — с многочисленными одинаковыми дверями. Почти как здесь, на отделениях. За этими дверями жили какой-то дядя Арсик, какая-то Людмила Николаевна, у которой каждый вечер сидел ее поклонник — какой-то Тюлькин. Еще жил отставной моряк. По вечерам он стоял у ворот дома в кителе и фуражке и был похож на поставленный на прикол пароход. И ни у кого, ни у кого из этих людей не было детей! В праздники почти все они собирались у тети — ее комната была самой большой в квартире, а может, ей нравилось, когда у нее дома делалось шумно. Пеклись пироги с капустой, из закусок — вечная селедочка под луком, винегрет и только по большим праздникам — ветчина. Под конец в селедочницах валялись пожелтевшие кружки лука, и я помню одинокие, высохшие рыбы головы с вытянутыми, открытыми ртами. Словно их только что вытащили из воды и они умирали. Я сидел за столом и слушал разговоры о каком-то управдоме Панкратове, который все время пьянствовал, судился, разводился... Выпив несколько рюмочек, дядя Арсик, маленький, пахучий — он говорил, что работает в театре, но на самом деле он был парикмахером, я увидел однажды его в окно парикмахерской — брал гитару, и тетя пела что-нибудь из «Сильвы». Я слезал со стула и бродил меж гостей в большой тетиной комнате. Рассматривал посуду, торчащие веером фруктовые ножички на огромном буфете, отделявшем ту часть комнаты, где стояла тетина кровать. Стоял перед открытым пианино — его никак не могли собраться настроить, и неподвижные клавиши его казались мне полосками пастилы. Еще там было много картин на стенах: сцены из усадебной жизни, царица Савская, слезающая с верблюда, красный закат в зимнем лесу. Но больше всего я простаивал перед небольшой, странного, янтарного цвета акварелью — совсем юная, почти обнаженная девушка возносилась с двумя ангелами...

— Как интересно...

— Может, это, конечно, и интересно, но я был там один, совершенно один среди всех этих дядей Арсиких, Галин Николаевн, Тюлькиных... Я, маленький мальчик, сидел, ходил среди всех этих взрослых людей и был одинок самым простым и естественным одиночеством. И может, именно тогда, в тех тетиных гостях, в меня и вошло это постоянное ожидание чего-то.

— Да, я заметила.

— Что заметили?

— А вы так ходите по коридору, в саду. Здесь ведь никто никого не ждет. Это в больницах как впускной день, так все торчат в коридорах. А здесь — кто к кому может прийти? Хотя, все, наверно, чего-то ждут. Правда, для большинства это — малоприятное занятие, не зря же говорят «ждать да собираться...». В детстве все, наверно, одиноки. Ведь даже самые близкие люди — отец, мать — взрослые. Все равно они живут другой жизнью, как бы вас ни любили. Не случайно ведь есть такая вещь, как игрушки — вместо той, другой жизни. Ничего! Теперь-то вы большой, взрослый, даже служите в армии. И у вас теперь столько товарищей!

— Мне кажется, что солдаты не бывают взрослыми.

— Почему?

— Не знаю. Наверно, взрослый — это тот, кто делает то, что хочет. Наверно, поэтому в армию и берут почти что детей. А не взрослых, живущих настоящей, всамделишной жизнью.

Пока я это говорил, я ходил вокруг росших прямоугольником кустов, внутри которых все это время медленно передвигалась среди листьев и трав Люда. И Люда то поворачивала голову, то я видел ее склоненной, словно рассматривавшей что-то в корнях малины, то я смотрел на ее спину, и мне казалось — она так раздвигала и приподнимала ветки, — что она ест и ест снимаемые с них ягоды, чего не могло еще быть. То я вдруг видел ее прямо перед собой — она смотрела на меня, словно вдруг увидела и удивилась, что кто-то еще бродит здесь кроме нее. Я даже не знаю, слышала и слушала ли она все то, что я говорил. Но, наверно, слышала, потому что, выходя из малиновых зарослей, она вдруг сказала:

— А я в детстве всегда все теряла. Мне мама даже говорила, что мне дарить что-нибудь — неинтересно. И ужасно расстраивалась я. В детстве ведь все самое ненужное — самое бесценное. Нет, не ненужное — не настоящее. И я сейчас иногда думаю: почему все то ненастоящее терять было так обидно, как теперь — ничего. Ну забыла я тут недавно в «жигуленке», что подбрасывал меня, сумку с тридцатью рублями и с зонтиком. Жалко, что ли очень? Жалко конечно... Ну да все равно — наплевать. А игрушечное трюмо для куклы, в которое смотреться нельзя, с нарисованным зеркалом, на скамейке как-то оставила — до сих пор как увижу это место в саду — слезы наворачиваются... Всегда, всегда все у меня куда-то уходило. Мама говорила: тебя вещи не любят. А может, мне не нужны вещи?

Люда вышла из зарослей и стояла, смотря по сторонам. На ее халате — воротнике, рукавах, груди там и здесь пристали паутинки, спутавшиеся с семенами, древесной трухой.

— Хорошо здесь, — сказала она. — Наверно, вас уже скоро выпишут?

Я пожал плечами.

— И не за горами — домой?

Я протянул руку, чтобы снять с ее рукава прилипшие на паутине мелкие веточки, и когда потянул одну, нить паутины потянулась от ее руки следом за моими пальцами. Я увидел, как она следит глазами за этой паутинкой, и почувствовал, что тонкая безвесая нить тянет меня к ней.

Что-то хрустнуло в нескольких шагах от нас в гуще кустов.

— Пойдемте, — сказала она. — Мне уже пора.

Словно холодный ветерок пробежал по саду. И Люда была уже другой, с тем вдруг замкнувшимся лицом, какое я так часто видел.

Погода испортилась, стало прохладно, пасмурно, и мрачней всего было квадратное поле перед клубом. Нижний этаж клуба был сплошь застеклен, но стекло казалось черным, а выше шла стена серого кирпича, и наверху, видимо, когда смолили крышу, кто-то плеснул на стену расплавленным варом. Словно огромная ворона издохла на краю крыши и свесила вниз крыло.

В саду встретил Сухачева из нашей роты. Его замучили фурункулы. Как-то на разводе я стоял позади него и смотрел на багрово-синий бубон, вздувшийся на его шее. Сухи, как мог, тянул вверх и вбок свою крепкую белобрысую голову, чтобы торчавшая, безумно-болезненная головка нарыва не прикасалась к жесткому краю подворотничка. Поговорили с час, болтаясь по дорожкам. Сухи рассказал, что в роте уже вовсю начали делать дембельские альбомы. Почти все уже обзавелись — купили здесь или им прислали в посылках из дома — красивыми, у многих в сафьяновых переплетах, альбомами, и теперь по вечерам многие усердно корпят над ними (в роте даже стало тише), заполняя их страницы фотографиями, накопившимися за время службы. В большом ходу открытки с видами города, поздравительные с цветами — их вырезают и вклеивают между фотографий. Сухи рассказал, что Бурмин — командир отделения во втором взводе — украл ночью из тумбочки Аливапова открытки. Тот уличил, кричал на весь кубрик: «Вор!» Бурмин набросился на Али-бабу (Аливапова), избил, крича: «Ты видел? видел?» Аливапов пошел жаловаться к командиру роты, грозил, что отправит Бурмина к Саруханяну. Ротный, когда разбирался с ними, сказал Али-бабе: «Снял бы сапог с правой ноги да дал пару раз в левое ухо, и всех делов». Бьюсь об заклад, что в том же альбоме есть хоть пара фотографий, на которых Бурмин и Али-баба стоят, обнимаясь за плечи.

Вечером мне хотелось рассказать все это Люде. Мне казалось, что это ее рассмешит. Но дежурство в этот день у нее было из тех, когда не присядешь, не поговоришь. Я много раз проходил по коридору, но она то куда-то отлучалась, то возле нее стояли медсестры, врачи, так что наконец я возвратился в палату и больше не выходил.

Сегодня снова видел из окна Сухачева. Он несколько раз прошелся с кем-то мимо корпуса, но я не вышел.

Мрачные дни, мрачные вечера. Сегодня вечером по этажу ходила медсестра и искала ребят, чтобы отвезти в морг солдата, попавшего под товарняк и сегодня умершего.

Сегодня, совсем как Джикия, я сидел на кровати и перебирал полученные в последнее время письма. Все они приходят ко мне с опозданием. Я никому не написал, что лежу в госпитале, поэтому сначала письма приходят на часть, а потом их пересылают сюда, и на них синее лишнее штемпель. Как же мало того, что разнообразит тут жизнь, если он сразу бросается мне в глаза на простом конверте. Один мой одноклассник пишет, как они развлекались в совхозе, посланные после первого курса «на картошку»; что ходят слухи, будто «Битлаз» снова собирается объединяться; что наружные швы на брюках нынче модно делать двойными, со складкой. Заканчивал он свое письмо словами: «А вокруг все несется своим чередом». Лежа потом на кровати, я думал: а что такое это «все» и этот «черед»? Недавно к Алибабе приезжали родственники. Они жили три дня на квартире в доме рядом с частью — пара жильцов в этом доме подрабатывает, сдавая для этого комнаты, — и я видел, как Алибаба шел с ними по улице. Он шел совсем рядом с ними, среди них, и все равно было видно, что они — из другого «череда». Я засыпал, просыпался, тряс головой, словно хотел понять, сон это еще, или нет. Вставал, выходил в коридор, шел к холлу, смотрел на неподвижные затылки сидящих в креслах у телевизора, поворачивался, выходил на лестницу, куда-то еще. В какой-то момент я опять заснул на кровати и проснулся от того, что воротник был мокрым, отворилась дверь, в палату просунулась носатая, с большими полукруглыми затылками голова Аливапова, он посмотрел на меня и сказал: «Не спи, замерзнешь». Я проснулся, опять ходил по коридору, по лестнице, выходил из корпуса, словно что-то искал, словно хотел выпрыгнуть из самого себя, как иногда выпрыгивают из окошка.

Сегодня выписали Джикию. За ним пришла из его части машина. Перед уходом он отыскал всех сестер и каждую заставил записать свой адрес в Абхазии, потому что после армии решил вернуться жить домой. Также и меня. Велел всем приезжать к нему в гости или заезжать, если кто будет отдыхать на юге. После обеда я спал, а когда проснулся и невольно повернул голову на свет, к окну, то удивился, что не вижу две прямые линии профиля Джикии, который, проснувшись, всегда какое-то время сидел на кровати недвижно, как бы соображая, где он на этот раз оказался. Когда первые дни после операции сестра приходила обрабатывать смоченными в чем-то тампонами его перевязанные геморроидальные узлы, он, молча и напрягшись, лежал на боку, лицом к окошку, и только в конце, когда она уже вставала с табуретки и накидывала ему на зад одеяло, спрашивал: «Не отпали еще?» Теперь, когда на его кровати лежало ровное, не смятое одеяло — словно на самом деле что-то отпало, и окно за его кроватью казалось теперь еще больше, а подоконник — более пустым.

Опять стало жарко. Уже без того изнурительного зноя, что пронизывал все еще неделю назад, но теперь ровное, спокойное тепло

наполняло все вокруг. Словно лето успокоилось, осмотревшись и поняв, что все то главное, что оно должно было сделать, — сделано. В саду было душно, теплая, прогретая земля отдавала с избытком накопленную в почти ежедневно шедших дождях влагу, и я, если и выходил гулять, слонялся вдоль корпуса. Порядок дежурств почему-то сбился, в день, когда я ожидал увидеть Люду, дежурила Тамара, а потом вдруг появлялась совершенно незнакомая медсестра. И может быть от того, что я совсем не видел Любу, мне иногда казалось, что больше всего мне хочется увидеть ее, и я напрягался каждый раз, когда кто-то показывался в белом халате. Сегодня днем я гулял по широкому, плавно поднимающемуся и потом снова опускающемуся пандусу возле приемного покоя и вдруг увидел Любу, выходящую из него.

— Люба! — окликнул я ее, и она обернулась и пошла ко мне.

— Что вы здесь по камням гуляете, шли бы в сад. Хотя и пасмурно, но все равно хорошо. Может, кого из знакомых встретите.

Я шел рядом с ней, смотрел на нее и подумал: как это получается — ведь халат, колпачок у всех одинаковые, но как они умеют носить это как что-то свое, имеющееся только у них.

— Да не хочется мне никого встречать. Вы торопитесь?

Она сделала еле заметное движение головой, которое скорее означало не «нет», а «вы же знаете, всегда есть, что делать, но это можно сделать и чуть позже». Мы пошли вниз по пандусу влево от входа, хоть мне показалось, что поначалу, выйдя из дверей, Люба двинулась вправо. Мы шли медленно — я по наружному краю пандуса, в котором темнели на равных расстояниях друг от друга квадратные углубления, усыпанные по дну старой, уже сизой щепой и разным мусором.

— Что-то тут не достроили, — сказал я, показывая рукой на эти лунки. — Похоже, как если бы хотели ставить колонны... Вон, кое-где даже доски опалубки из бетона не выбили.

— Значит, и не достроят. Это уже давно так оставлено. Зачем здесь колонны... По-моему, это было задумано для цветников. Почему так? Все стараются сделать лишь что-то основное. А на остальное и внимания не обращают. А ведь радует по-настоящему — пусть даже что-то совсем небольшое. Помните, вы дали мне апельсин? Я сама не понимаю, почему мне было так приятно идти и держать его в руке. Я потом положила его на белый подоконник. Он — как маленькое солнышко. Настоящее — вон оно, каждый день. А это — ни с того ни с сего вдруг в руки закатилось.

Она посмотрела на меня, и я увидел, что на солнце она совсем другая. Люба шурилась — словно солнечный свет был непривычен для нее. И действительно, я почти никогда не видел ее, неторопливо идущей в саду. Всегда она словно спешила, шла самыми близким и прямыми дорожками. Мне даже показалось, что здесь, на солнце, она похожа на остальных. Казалось, солнечный свет не столько грел ее, сколько беспокоил, как не неприятное, но все же ненужное прикосновение постороннего человека.

— Люба, вы давно здесь?

— Здесь — это где? В госпитале? Впрочем, все равно — давно. — Она улыбнулась. — Вы тоже, наверно, уже привыкли? Или в армии это не так? Я имею в виду привычку к тому, с чем тебя не то что

ничего не связывает, но что все — не твое, чужое. Ведь его так мало, своего.

— Если вы здесь давно...

— Я родилась здесь.

— Почему же вы говорите, своего так мало.

— Не знаю... Мне иногда кажется, что не чужим может быть только человек. Все остальное... Ко всему остальному просто привыкаешь.

— К людям тоже можно привыкнуть.

— К чужим.

Она помолчала. Потом сказала:

— А вы — молодец, много гуляете. И не только тут, а по всему парку... Это все замечают и знают. Тут все все знают.

«Все замечают и знают...» Я вспомнил, как что-то хрустнуло в кустах, когда я стоял совсем близко от Люды в малиннике. Не Джикия ли это отслеживал нас, а может, это Тамара легко и незаметно гуляла по парку?

Мы уже снова поднялись по пандусу и стояли в тени, под навесом. И я опять видел ту Любу, которую привык видеть всегда. И вдруг я понял, что ей не нужен солнечный свет, не нужен этот насквозь прогретый им сад. Я чувствовал другое, более сильное, нет, не сильное, а все проникающее тепло, исходящее от нее самой. И словно тоже чувствуя его опять, без этих помех ему от какого-то другого света, она улыбнулась мне знакомой, вернувшейся к ней улыбкой.

Через день на обходе мне сказали: «Собирайся, завтра тебя выпишывают». Я сдал книги, и когда вернулся и открыл тумбочку, увидел, что кроме зубной щетки, записной книжки и ручки мне собирать и нечего. Да, утром я сказал, что до части доеду сам, и мне сказали, чтобы я напомнил выдать мне маршрутный лист, и я сразу взял это на заметку, потому что тут же вспомнил капитана Сарухяна.

Днем я несколько раз выходил в сад. Мысли, которые носились в моей голове, не были особенно ясными. Приходило мне в голову и то, что своим пребыванием в госпитале я на месяц, получается, сократил срок своей службы, но и это казалось мне теперь несущественным. Было что-то более главное, что не отпускало меня, когда я сворачивал с одной дорожки на другую и видел то Волгу, то снова квадратное поле перед клубом, то серое крыло корпуса за деревьями. И это главное было чем-то смешанным, словно что-то разделившееся на время на несколько частей кружилось вокруг меня, как скатавшиеся шарики тополиного пуха в ветряной ловушке в углу двора, и я тщетно старался понять, что же это на самом деле могло быть. Люда, Люба, Тамара. Как мотылек, последняя первой отпархивала в этом кружении, или мне так только казалось, а дальше... Кого хотел бы я сейчас видеть на этих дорожках, если вообще хотел, в этот непонятно зачем данный мне еще один день, обреченный, потому что утро после него будет совсем иным. И возвращался в корпус я с чувством неожиданного для себя равнодушия, а не определенности, и то, что я уже знал, что с утра на дежурство заступила Люда и, значит, вечером в корпусе будет она, ничего уже не меняло.

С того дня, как мы ходили смотреть заброшенную оранжерею, мы виделись лишь урывками. То ли дежурства у нее выпадали такими, то ли... Поэтому я совершенно не мог представить себе, каким будет этот последний вечер. Но уже в начале десятого всех на отделении, из коридора, холла как сдуло. Когда перед самым отбоем шла раздача лекарств на ночь, я сидел совершенно один в холле возле стола, за которым за весь этот месяц не сыграл ни одной партии — ни в шашки, ни в шахматы, ни в нарды. Временами я заглядывал за край стены в коридор, чтобы узнать, не освободилась ли Люда, как вдруг она подошла сама и села — за этот же стол, напротив. Она откинулась на спинку кресла — ничего не говорила! — и сидела, протянув под столом ноги. Она была совсем близко от меня, я видел ее, стол, ее ноги. Несколько раз она посмотрела на меня через зеркальную полировку стола, и наши взгляды встречались в этом отражении.

— Книги сдали? — спросила она.

Вот ведь как. Ведь в первый раз она тоже заговорила про книгу.

— Стендаля-то прочитать успели? А мне больше нравится «Красное и черное». Только я не понимаю, как можно любить сразу двоих.

— Двоих?

Неужели в моем голосе звучало какое-то удивление? Но она посмотрела на меня так, словно это я что-то сказал, а она не поняла. Я отвел взгляд, переведя его на поверхность стола, и наши взгляды снова встретились в отражении. Стоило чуть двинуть головой, и взгляд, попадая в белую клетку, исчезал, появляясь потом или не появляясь в соседней черной. Мы сидели, сидели. О чем мы говорили? Несколько раз она вставала и уходила в палаты посмотреть на капельницы. И время убывало. Секундная стрелка на круглых часах на стене щелкала при каждом сдвиге. Уходили секунды, уходили минуты. Капли отрывались и исчезали, сливаясь со вздрагивающим кружком жидкости в трубке, воткнутой во флакон. И жидкость убывала. Только убывала равными дозами. Становилось все меньше ее. И всего остального. Ее ноги в белых босоножках были близко-близко. Какие простые босоножки. Так просто было все в ней, ничего в ней не заслоняло ее саму. О чем же мы говорили, о чем говорили?

На следующий день, идя по улице, одетый в армейскую повседневную форму, колюче кусающую кожу — может, с непривычки, а может, потому, что она почти месяц провисела, затиснутая среди таких же других в кладовке, я ощутил, что отвык от пространств — больших, чем дорожки и лужайки в саду госпиталя, да и от людей, не бродящих вокруг, а прямо и быстро идущих по своим делам. Меня пошатывало, ноги, казалось, болтались в сапогах, и непривычная глухость воротника у горла стесняла дыхание. Уже видя впереди себя большую магистраль, над которой в сером, хоть и солнечном небе вспыхивали блестящие искры над трамвайными дугами, я спустился в какую-то столовую в подвале. Наверно, потому, что ее стены были выложены пиленым серым ракушечником, в ней было прохладно и полутемно. Я съел свекольник и котлету с макаронами. У кассы стоял поднос, уставленный стаканами с компотом из сухофруктов с повисшими на краях развалившимися дольками яблок. Я сразу вспомнил «Буфетную» и за-

пах той «субстанции» и попросил просто чая. Дорогу в трамвае я не помню. Может, мне просто нравилось ехать вот так одному в полупустом трамвае, целиком отдавшись этому государственному средству доставки гражданина из одной точки пространства в другую. Только когда я сошел на трамвайном кольце возле виадука и, привычно минуя его, перешел пути в зарослях лебеды и огромных, под собственной тяжестью валящихся на землю лопухов, и потом шел по улице, сотни раз уже протоптанной нашей ротой, даже удивляясь, что так легко, как по нюху, добрался сюда, — мир опять изменился, и прошлым стал не обнесенный бетонной оградой военный городок с торчащими пятиэтажками казарм, а госпиталь.

Когда я поднялся в роту, стрелки часов в кубрике первого взвода едва доходили до трех. Дневальный протягивал пол мокрой тряпкой. В нашем, втором, взводе было уже вымыто и почти сухо. По нашим понятиям, была чистота-порядок. Ровно синели заправленные койки обоих ярусов, и также ровно тянулись вдоль них коричневые табуреты. Какими тяжелыми и грубыми они мне вдруг показались! Какими толстыми и жесткими показались мне вдруг здесь, на ровном чистом полу, подошвы моих сапог!

Когда я переходил в наш кубрик, навстречу из канцелярии вышел Фурман — так называли у нас замполита. Он чуть вздрогнул, увидев вдруг появившееся новое лицо, и, как-то у него это получалось, засеменил ногами, стоя при этом на месте. Было видно, он что-то хочет мне сказать, но, похоже, вдруг забыл мою фамилию. Я махнул у пилотки рукой и доложил: «Рядовой такой-то из госпиталя прибыл». — «Ну, давай», — проговорил, наконец, Фурман, и неровно пошел к выходу, поглядывая на еще сырой, поблескивающий пол.

Я получил в каптерке постель, сдал ту, что была у меня, и получил рабочую форму. Поболтал с дневальным. Потом сидел у окна за своей койкой, пришил свежий подворотничок. Так я и сидел, когда далеко внизу лестницы возник нарастающий, возносящийся гул, топот, гомон и с быстротой обвала с лестницы ввалилась в казарму вернувшаяся со стройки рота.

Сегодня ночью мне снился госпиталь. Ничего не происходило — я просто ходил, ходил, ходил. Было похоже, что я сижу в кинотеатре и смотрю кем-то неторопливо снятый фильм. Станный фильм, где нет людей, где не раздается ни одного звука — даже деревья качались без звука, и только стены и окна медленно проплывали перед глазами. Сон был настолько ясным, что я нисколько не устал от этого долгого, медленного сна. Только в самом конце я увидел Люду. Она, как обычно, сидела на своем месте в коридоре, сложив руки на груди и вытянув вперед ноги. Спокойная, недвижимая. Вдруг она повернула голову и посмотрела прямо на меня.

Сегодня шли со стройки и я увидел девушку, похожую на Люду. Похожую не лицом, его я почти не видел, а телом, ногами, соотношением плеч и талии, бедер. Она шла чуть впереди по пешеходной дорожке, отделенной от улицы кустарником, и постепенно отдалялась, потому что дорожка на повороте уходила в сторону. Два раза кто-то

толкнул меня руками в спину, потому что я, подаваясь чуть в сторону и вытягивая шею, отставал. Спина девушки то показывалась в прорехах кустарника, то исчезала снова, а когда появлялась опять, была все дальше и дальше.

Вечером сидел с ребятами на бордюре у казармы, и вдруг возникла почти такая же, как тогда, боль. Она не проходила, вот-вот должны были объявить построение на ужин, и я пошел в санчасть. Серяков посмотрел, дал мне градусник, потом сказал, что все нормально. «Наверно, перетянули, когда зашивали, — сказал он. — Иногда будет побаливать, потом пройдет. Давай, дуй, догоняй роту». А я думал: «Неужели опять я окажусь там?» И не мог понять, хочу ли этого. Я ощутил это, глядя, как передо мной, сбиваясь с шага, мелькают чьи-то сапоги. Почему-то я смотрел и смотрел на них, словно в этом мелькании осевших задников и косо сношенных каблучков мог оказаться ответ.

Сегодня бетонировали фундаменты в самом конце строящейся погрузо-разгрузочной эстакады, на самом краю стройки. Когда раскидали последнюю машину бетона, подошел прораб и сказал, что больше сегодня машин не будет — можно курить. Примерно с час мы провалялись на щитах заготовленных опалубок, и за это время высохла земля, верней, ее смесь с глиной и бетоном, забившаяся в щели над подошвами сапог, в складки и поры голенищ; до белого высохли брызги на штанинах. Почистились, отряхнулись и решили двинуться на съём не по дороге, а, чтобы скосить путь, по железнодорожной заводской ветке, идущей в обвод как действующих, так и строящихся корпусов. Мельча шаг по близко положенным шпалам и невольно смотря под ноги, я увидел двух гусениц, сидящих на рельсе. Решив, что их в любой момент может раздавить таскающийся тут взад-вперед маневровый тепловоз, я сбросил их в траву. Пройдя чуть дальше, я снова увидел гусениц, сидящих на рельсе. Я потрогал рельс рукой — он был теплым и, чувствовалось, глубоко прогретым за день на солнце. Машинально я скинул еще пару, но, подняв голову, увидел бесчисленное число почти одинаковых гусениц, облепивших рельсы. А когда оглянулся, то увидел: те две первые гусеницы снова взбирались на рельс.

Сегодня ночью мне снился странный сон. Я шел по нагретой на солнце песчаной дорожке в саду, цветущем саду, и крупные камешки кварца словно соревновались в сверкании с горячими лепестками настурций и петуний, густо нависающих над краями дорожки. Из цветков, словно одурманенные, тяжело вываливались, еле заметно поблескивая слюдой своих крылышек, большие черно-коричневые шмели и медленно отлетали или прямо по лепесткам перебирались в кажущуюся более прохладной зелень. Я шел и шел, шурясь от солнца, в его пронизывающем жару, которому некуда было деться над песком меж густых цветочных гряд, и вдруг увидел перед собой муравья. Он полз мне навстречу посередине дорожки, прямо, как по нитке, лишь изредка виляя задней частью своего тельца, когда песчинки уходили из-под его лапок. Я остановился, смотря на него, и не сразу заметил,

что муравей увеличивается в размере более быстро, чем был бы должен, приближаясь ко мне. Он был размером уже с котенка, когда я понял, что что-то — не так. Он был размером уже с собаку, а потом и больше собаки, и двигался все так же прямо и все так же прямо на меня.

Прежде чем испугаться, я обрадовался. «Наконец-то рассмотрю, что за зверь муравей, — подумал я. — Ну-ка, что у него, например, за лапы?» И я присел, чтобы рассмотреть получше. Но как только я присел, муравей вдруг бегом бросился на меня, посчитав, наверно, мои действия приготовлением к битве. А битвы никакой не могло уж и быть, потому что стал он к этому времени таким же большим, тяжелым и мохнатым, как ломовая лошадь. Я успел только сделать шаг назад и сразу же был поднят на воздух, перевернут (деньги — мелочь — полетели из карманов на песок) и тут же проглочен. Последнее, что я видел, были две трех- и одна пятикопеечная монетки, лежащие на искрящемся песке.

Кажется, ночью у меня вытащили кошелек. Там было семь рублей — ежемесячные и еще не потраченные три рубля 80 копеек от маршала Гречко и еще оставшиеся от десяти рублей, присланных из дома. А ведь до следующей выдачи был еще почти месяц. Буркнул об этом шедшему рядом со мной в строю Мосунову, когда шли от машин к прорабской. Тот двинул бровями — «фиг ли теперь...».

Холодно, весь день дождь. Мерзнут руки. В казарме ишу самые теплые места и жду, скорей бы отбой.

Уже несколько дней, как снова тепло. В воскресенье стирал рабочую форму. Рукава от манжетов до локтей, штанины над коленями, возле тех мест, где кончаются голенища, воротник — все почернело, залоснилось. Надо было б и раньше, но — не хотелось. Почти все ребята моего призыва всюду готовятся к дембелю: укорачивают, ушивают шинели, меняют погоны, пришивая парадные, с позолотой, да еще укрепляя их специальными вставками. Зауживают по стройбатской моде галифе, кители. В субботу вечером Мосунов примерил свою парадку — ушитую, напялил фуражку с какой-то немыслимой кокардой. «Генерал ты аргентинский!» — отпустил, оглядев его из-за койки, Бурмин.

Вчера снилось — я выписывался из госпиталя и, уходя, тронул ладонями его стены — теплые, живые. Смотрел на окна ординаторской, столовой и в углу у окна увидел ее. Ее угловатую стройность, подвижность, ломкость рук, локтей. Потом все было перепутано, почему-то мы оказались с ней между стекол двойных рам, было безумно мучительно и хорошо, но даже после этого она была щемяще близка.

Под деревьями — голуби цвета запотевших слив. Облака, деревья — все блестит, словно все это — через тонкое хрустальное стекло, словно все умыто, только — чем в этом холодном пустом воздухе? И еще так тихо, что даже на стройке еще издали слышишь чьи-то шаги.

Бывают моменты, когда совершенно ясно ощущаешь, что что-то происходит, совершается какой-то поворот, перелом. Таким был сегодняшний день. Была суббота, но нашу роту вывели на стройку, чтоб к понедельнику два цеха, где мы работали, были готовы к монтажу. Никого кроме нас на стройке не было. На вагончиках субподрядчиков висели замки, и в этот сухой солнечно-прохладный день вагончики эти, загнанные в заросли ивняка за дорогой, казались чистенькими, нарядными — синие, красные, желто-белые. Рота разбрелась и исчезла, и когда я через полчаса пошел по высокой эстакаде в контору за геодезистом, то увидел лишь двух солдат, мелькнувших в стороне. И то один, кажется, торопливо спасался, только-только перебравшись через забор там, где чуть дальше темнела крыша сухарного цеха. Отправив геодезиста, зашагавшего по эстакаде с треногой на плече, и рассчитав, что сам понадобится не раньше чем через час, когда придет первая машина с раствором, я спрыгнул с эстакады и двинулся к месту, примеченному еще тогда, когда шел в контору. Я не знаю, как это все образовалось в моей голове. Может, я словно увидел все это, когда утром глянул на чистое голубое, уже холодное, но еще не равнодушное небо в окне казармы.

Возле утонувшего одним боком в землю бетонного колодезного кольца, окруженного молодыми светлыми побегими повыврубленного ивняка, образовался небольшой приямок. Тут же валялся пяток ломаных ящиков, в каких привозят на стройку стекловату. Соорудив из них сиденье, я сложил из их же обломков костерок и, вложив внутрь его тут же найденную скомканную пачку «Беломора», чиркнул спичкой. Огонь лениво заблуждал внутри дощатой пирамидки и вдруг зажил возле моих ног, оранжевый, то в одном, то в другом месте принимаясь похлопывать на ветру и сдвигать с места обгорающие дощечки.

Наверно, будь вокруг еще хоть какое-нибудь движение, мне и не пришло бы в голову устроиться в этом приямке. Но никого не было вокруг. И — ни звука. Да и неоткуда ему было появиться. Метрах в тридцати от меня замер на взгорке гусеничный кран со вздетой высоко в небо стрелой, и мне казалось, что четко очерченный в синеве неподвижный крюк под ней эту тишину и источал — так четок и неподвижен он был. Солнце, хоть еще и яркое, как-то осторожно доставало до моего лица, моих рук и, бедное, словно старалось восполнить это совсем уже слабое, почти незаметное прикосновение яркой синью неба и безжадным золотом кучки ясеней у дороги. Я сидел, журился — то ли от солнца, то ли от дыма, остро чиркающего вдруг по холодной коже щек и краешкам повлажневших век. Потом глаза привыкли, и я просто смотрел сквозь то прозрачный, то синеватый дымок. Просто смотрел, как это устроено — вперед себя. И вдруг я понял, что все — кончилось. Что угодно могло еще случиться за эти остающиеся полтора-два месяца, но все — кончилось, умерло, опало, упало, как эта листва, местами уже густо выстилающая обочины дороги. И я сам: я мог сидеть, мог подняться, встать и пойти — все равно, это был уже не я. Того человека, который, нагнувшись, собирал здесь щепки полчаса назад и, сидя потом на корточках, разжигал костер, его уже не было. И когда я вернулся, и командир отделения, никогда одинаково не матерившийся, крикнул мне для порядка: «Тебя,

мать твою, только за страусиными яйцами посылать», — он не знал, что он крикнул это уже не мне.

Только сны не менялись. Сегодня мне снилось, что у меня была ее книга. Нет, не так. Как будто мне нужна была какая-то книга, а она была у нее. И я пришел в библиотеку, но это был не госпиталь, а какое-то общежитие. И почему-то по формуляру можно было узнать, в какой комнате она живет. И вдруг получилось, что она совсем не в этом общежитии, и это почему-то все знали. Но формуляр почему-то тоже был. И там было столько народу, все объясняли, но толком никто ничего не говорил. Я и проснулся от шума этих голосов. Посмотрел на часы. Только что пошло за полночь. Было так тихо, словно никто в кубрике даже не дышал. В окне стояла тьма — не черная, темно-синяя. И острые звезды казались тоже голубыми.

Уже все голое. Почти месяц мы ходим на стройку и со стройки пешком — все машины угнаны на уборочные работы, и когда мы поднимаемся на виадук — видно далеко кругом.

Снова снился госпиталь. Я шел по коридору в шинели, в сапогах и даже, кажется, в шапке. Но меня никто не видел, даже когда кто-то проходил совсем рядом со мной, словно я, шинель, шапка и сапоги были частью другого, невидимого мира. Я стоял у стола и смотрел на нее. Говорить было не нужно, потому что я знал — голоса тоже не будет.

Вчера, когда вернулись в казарму, первое, что бросилось в глаза в кубрике первого взвода, — несколько пустых коек. Не было даже матрасов. Значит, больше я их уже не увижу. Ни Кутышева, за которым после первой же ночи в казарме закрепилась кличка «Дрочила»; ни Жихаря, про которого говорили, что когда никто не видит, он жрет горстями корм для рыбок в Ленинской комнате; ни Киреева, чей зубной протез — целая челюсть! — ребята иногда под утро вытаскивали из его тумбочки и подкладывали кому-нибудь в сапог. Никого. Увольнение происходит стремительно — даже не верится, что от человека, два года тут жившего, отсутствие которого, когда он срочно требовался командиру роты или старшине, вызывало такое бешенство, можно так быстро и просто избавиться. Полчаса на оформление обходного листка — библиотека, каптерка, санчасть, клуб. Потом в штаб — и тут же получаешь расчет и печать в военный билет. Все. Ты больше не нужен.

Вечером Фурман, зайдя в кубрик нашего взвода, спросил: «Кому на послезавтра бронировать билеты?» И я тоже сказал: «Мне».

Сегодня в часть возвратился Али-баба. Его демобилизовали два дня назад. Я видел, как он шел с чемоданом к воротам — как все, с ничего особенно не выражавшим лицом, перекладывая иногда чемодан из руки в руку. Теперь он вернулся и говорит, что никуда не поедет. Где он был эти два дня и что делал — никто не знает, он не говорит. Командир части разрешил пока оставить его в казарме. На работу он не ездит, сидит между спинкой койки и окном и смотрит в окно.

Мой самолет — рано утром. Я договорился с нашим прорабом, что, уйдя из части вечером, переночую у него — аэровокзал был в трех остановках от его дома. Потом — один час автобусом и — аэропорт.

24 ноября, небо.

Прораб живет в кирпичной пятиэтажке. Двухкомнатная квартирка, он, жена. За ужином жена старательно предлагала котлеты — домашние, но я не хотел есть. Мне постелили на кресле-кровати. Рядом на столике горел ночник. Сначала я выключил его, но потом зажег снова. Я привык спать при свете дежурки — красной лампочки, слабо и косо светившей над входом в кубрик. Спал ли я? В нескольких ста метрах от дома, где жил прораб, был госпиталь. Уже под утро я все же выключил ночник. И меня поразил свет, проходящий с улицы через занавеску. А больше — сама занавеска, пронизанная с той стороны окна слабым, еле заметным светом, неясно откуда берущимся. Я не видел такого давно-давно: в окнах нашей роты висели только плотные коричневые шторы. А когда я вышел утром на улицу, то понял, откуда ночью приходил тот свет. Все вокруг было белым от выпавшего первого снега. Чернел только асфальт, и то только там, где много ходили. Так много белого было еще только в госпитале. Ее халат, косынка на голове.

Январь, два года спустя.

В субботу мы блуждали с женой по Гостиному Двору в поисках того, что собирались купить, и того, что, может быть, попадется, и на что мы могли бы потратить наши две квартальные премии. На Садовой линии в одном из мест галереи жена потянула меня в глубь отдела, где явно что-то «вынесли» — у прилавков толпился народ, а перед примерочными уже стояла очередь. Она, оторвавшись, юркнула в людскую гущу, а я замешкался, потому что прямо по ходу возникло препятствие из вдруг скопившихся в одном месте нескольких человек, что-то медленно обходивших и при этом рассматривавших что-то на полу. Я всмотрелся и увидел, что причиной затора служила большая, широко раздавленная, лежащая на полу, видимо, только что оброненная сетка, полная, сначала я подумал — мячей, но тут же сразу рассмотрел — крупных оранжевых апельсинов. Несколько из них выкатилось на пол уже при мне, когда женщина, присевшая рядом с этой сеткой и придерживавшая другой рукой два больших, обернутых бумагой и перехваченных бечевкой пакета, пыталась предотвратить дальнейшее разбегание апельсинов по полу и хоть как-то сгрудить все это поближе к себе. Даже только взгляда на густо покрасневшие лоб и щеки склонившей голову женщины было достаточно, чтобы понять, как было ей непоправимо неудобно, досадно, стыдно. Я подхватил пару катящихся апельсинов, присел, чтобы, может, помочь и поднять это все и — увидел перед собой Любу.

Она — я понял это — сразу узнала меня, но было не до приветствий, и, прихватив все, что было на полу, мы отошли к стене, к приставленному к ней небольшому пустому прилавку.

— Люба, — начал я, — ты? Здесь? Надо же! Надолго? Как там — все?

Я смотрел на нее — и понимал, что легко мог и не узнать ее. На ней был черный меховой полушубок и сиреневая шерстяная шапочка,

связанная чалмой. Никогда я не видел ее ни в чем не белом. Но лицо, нос, брови, темные волосы, расходящиеся на стороны со лба, губы, глаза — были ведь Любы!

— Ты совсем не изменилась, — сказал я.

— А вы — немножко другой. Хотя сколько прошло? Три года? Ну как вы? Все в порядке?

— Да... — и я понял, что ничего иного не могу ей сказать, кроме того, что учусь, работаю, женился.

Подошла жена.

— Помнишь, — почему-то радостно обратился я к ней, — я рассказывал, что лежал в госпитале? Это — Люба, медсестра, представляешь? Вот вдруг взяли и встретились.

Жена, поняливо и улыбаясь, кивала.

— Я пойду, — сказала Люба, — у меня поезд скоро. Боюсь уж и опоздать, да еще дефицитами нагрузилась.

Конечно, она сказала что-то еще — уже отходя, и я тоже что-то еще говорил, говорил, говорил.

Едва отойдя, она тут же исчезла. Спины, спины, лица, лица. И ведь все это заняло какие-то минуты, не больше. Какие-то минуты.

— Может, надо было пригласить? — спросила жена.

Мы шли по Садовой линии, прошли уже, наверно, половину. Казалось, мы идем уже очень давно. Хотя с каждым залом что-то вокруг менялось, но одинаковым всюду был ровно разлитый, без теней, желтый, надышанный свет. Я ничего не вспоминал — тут было слишком много людей, чтобы можно было что-то вспоминать. Просто шел с женой под левую руку. Я еще словно не понимал, но все время чувствовал, что несу его. Потом я согнул в локте правую руку и посмотрел. Яркий оранжевый апельсин лежал в моей ладони.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Мюзик-холл

Этих девушек ал
пелеринок отлив,
и искрит их ресниц
фиолетовый прочерк.
Непонятной надежды
отлив и прилив.
И певец пропоеет,
что он честно погиб за рабочих.

Вот выходит жонглер,
трости грацией зал поразив,
и гимнаст и гимнастка устало
играют в любовь под Шопена.
И вдруг станет заметно,
пыльна как, затоптана сцена,
и как счастья и радости
беден и прост реквизит.

* * *

Солдат уснул. Его небытие
хранит с размытым штемпелем белье.
И что он есть, сказали б для врага
лишь два опавших набок сапога.

У входа в кубрик треугольник-свет
шлет в темноту кому и чей привет,
дневальный разве знает. Но и он,
похоже, пулей снайпера сражен.

Внизу на койке, кажется, узбек
на непонятном бредит языке,
Стучится в дом или клянет «куска».
Проснется — сетка вместо потолка.

А рядом, рот разинув, салажок,
что драил допоздна за тех, кто старше,
и в темноте сейчас его плечо
родней и ближе, чем вчера на марше.

Он спит и снова видит тот перрон,
теперь стоять на нем гораздо проще,
и в этом сне на нем гораздо больше
друзей, чем было их, когда ушел вагон.

* * *

Твое лицо всегда в заботе,
всегда ты только промелькнешь,
с налетом легкой позолоты
свои ресницы пронесешь.

Где нет совсем воспоминаний,
где пресен ветер, воздух, дождь,
твой взгляд — как гроз удар желанный,
июньских, первых, легких гроз.

Рисунок губ твоих так нервен,
как первой молнии извив.
И первый дождь нисходит вниз,
как платье на твои колени.

Здесь все в неволе у реки,
все — зеркало ее беззвучья:
дома, стоящие на круче,
движение глаз и жест руки.

Тот берег — только лишь черта,
одна из линий горизонта.
И чернота, и немота
чужих домов, дверей и окон.

Я знаю будет что: цветы,
примятые дождем шток-розы,
привычные, глухие грозы,
и только на мгновенье — ты.

Оставь меня моей весне,
последним мартовским туманам,
непробудившимся полянам,
прогалам в неба глубине.

* * *

Исчезай, уже все. Поскорей исчезай.
Губы — звездный пунктир на далекой волне.
Берегов темнота и молчанье — глаза
с жадным, страшным и властным костром в глубине.
Я боюсь глубины, черноты берегов,
твоих плеч и спины — больше взглядов и слов.
Промелькни, не задень даже воздухом встречным —
этим факельным пламенем, вздетым
так жестоко вблизи от зрачков.
Твое имя древнее, чем «Песня песней».
Твое древнее имя нежней и целей
самых первых дождинок и первых ростков.

* * *

...А Волга так близко, как, может, уже и не станет.
Так ровно и быстро, неостановимо течение.
Река предстает без легенд и без древних сказаний,
как это мгновенье, как сердца стук в это мгновенье.

Как хочется плыть, грудь и руки подставив стремленью
потока, который лицо обжигает и студит,
и все повторить, все изгибы, извивы течения,
а там оторваться, взлететь и что будет — пусть будет.

КОММЕНТАРИЙ К СТИХОТВОРЕНИЮ А. С. ПУШКИНА «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ»

Сбирайтесь иногда читать мой свиток
верный.

А. С. Пушкин

«Песнь о вещем Олеге» была написана А. С. Пушкиным в 1822 году. Сюжетом послужил летописный рассказ из «Повести временных лет», приведенный Н. М. Карамзиным в V главе I тома «Истории Государства Российского». В это время, помимо историка Н. М. Карамзина, на прошлое России обращают большое внимание русские прозаики и поэты. А. А. Бестужев-Марлинский пишет исторические повести, одна из дум К. Ф. Рылеева носит название «Вещий Олег». В контексте интереса к «преданьям старины глубокой» можно объяснить и появление в творчестве А. С. Пушкина «Песни о вещем Олеге». Однако, с моей точки зрения, есть и другая, может быть, более существенная подоплека его создания.

Поэт приехал в свою первую ссылку, в Кишинев, 21 сентября 1820 года. Наместником края был генерал И. Н. Инзов, известный своими симпатиями к масонам и личным участием в их собраниях. В это время в Кишиневе полулегально действовала масонская ложа «Овидий». 6 мая 1821 года А. С. Пушкина приняли в эту ложу. Но в конце 1821 года ложа «Овидий» была запрещена Александром I — первой среди всех, так как Государю стали известны намерения будущих декабристов о свержении самодержавия. Все масонские ложи были запрещены Государевым рескриптом от 1 августа 1822 года. Вот в этом промежутке, между первым запрещением масонской ложи «Ови-

дий» и рескриптом от 1 августа 1822 года, и появилась «Песнь о вещем Олеге».

Тема трагической судьбы князя-язычника никак не накладывалась на текущую светскую и пылкую личную жизнь поэта, его духовные искания в русле романтизма. Воображение певца «сердечных дум» волновала более тема пленника, странника, изгнанника, и судьба ссыльного поэта Овидия воспринималась им как нечто глубоко личное:

Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил.

К Овидию. 26 декабря 1821 год

И почти в это же время из глубин языческой Руси является могучий образ вещего Олега:

Как ныне собирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.

Если бы не это хрестоматийное стихотворение А. С. Пушкина, изучавшееся многими поколениями учеников по программе литературы в пятом классе, мы и не знали бы ничего про каких-то хазар, потому что о них в учебниках истории было написано ровно две строчки: «Он [Святослав] разгромил Хазарский каганат и подчинил племена ясов (осетин) и касогов (черкесов) на Северном Кавказе»

и в Прикубанье»¹. Все. А что же такое Хазарский каганат? Об этом ни слова.

«Хазарская тема» у советских историков была под негласным запретом. Книга М. А. Артамонова «История Хазарии», где впервые она показана как одна из «сверхдержав» Восточной Европы IX–X веков, более 10 лет не публиковалась.

Удивляет также то обстоятельство, что и в дореволюционных популярных исследованиях об истории Древней Руси либо вовсе нет упоминания о хазарах², либо упомянуто вскользь³, либо дана искаженная оценка: «Хазарское иго не было тяжелым для славян»⁴. Тогда зачем нужны были походы Олега, подвиг Святослава? Об этом историки молчат. Да и у самого Н. М. Карамзина о разгроме Хазарского каганата упоминается похода, а ведь это событие изменило ход русской истории: «Древняя Русь перехватила гегемонию у Хазарского каганата в X веке. Следовательно, до X века гегемония принадлежала хазарам»⁵.

Почему же мы так мало знаем о Хазарии? И не только мы. Западные исследователи, в частности, Бенджамин Фридман в своей работе «Правда о хазарах», выражают искреннее удивление по поводу того, что «какая-то таинственная, мистическая сила оказалась способной на протяжении жизни бесчисленных поколений и по всему миру не допускать того, чтобы история хазар и Хазарского каганата попала в учебники истории и в школь-

ные программы по этому предмету»⁶.

А вот А. С. Пушкин наверняка знал этот материал, потому что с ходу включил хазарскую тему в судьбу своего героя и дал на первый взгляд странное определение хазарам, которое как бы «выламывается» из контекста, из былинно-эпического стиля повествования в духе русских сказителей. Действительно, почему хазары названы «неразумными»? Ведь они были врагами славян, совершали «буйные набеги». А разве так говорят о врагах? Почему А. С. Пушкин не написал, к примеру: «Отмстить беспокойным хазарам, вероломным, ненавистным»? Наверное, это было бы не менее правильно! Но ничего «неправильного», а тем более случайного, не бывает у гениев.

Поэт написал именно так, чтобы донести до нас не только глубинный смысл Олеговой судьбы, но и трагический смысл русской истории.

Итак, три вопроса в тексте этого произведения нас будут интересовать:

Почему А. С. Пушкин называет хазар «неразумными»?

Что значат символы «конь» и «змея» для понимания смысла судьбы Олега?

Что хочет донести до нас поэт «хазарской темой»?

Обратимся к истории и зададимся целью понять особый предначертательный смысл такого исторического явления, каким была Хазария. Это важно еще потому, что, как справедливо отмечает современный русский философ-футуролог А. С. Панарин, «со времен появления великих мировых религий мировая история включает мистическую составляющую в качестве скрытой пружины и вектора»⁷.

Государство Хазария существовало с середины VII до конца X века. Ко-

¹ Епифанов П. П., Федосов И. А. История СССР. Учебное пособие для 9–10 классов средней школы. М., 1963. С. 29.

² Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1990.

³ Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 38; Шмурло Е. Ф. Мир русской истории. М., 2009. С. 23.

⁴ Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. Репринтное издание. Пг., 1917. С. 65.

⁵ Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 18.

⁶ Грачева Т. В. Невидимая Хазария: Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. Рязань, 2010. С. 156–157.

⁷ Там же. С. 144.

ренной этнос — тюрки. Территория Хазарии включала Северный Кавказ, Приазовье, большую часть Крыма, степь и лесостепь от Нижней и Средней Волги до Днепра; северная граница проходила по землям современной Воронежской и Тульской областей. Столицей этого огромного государства был город Семендер, который находился на территории современного Дагестана, а с начала VIII века — Итиль. Есть два предположения о местонахождении Итиля: нынешний Волгоград (Сталинград, Царицын) или Астрахань. В обоих случаях местоположение весьма выгодное, так как позволяло контролировать движение грузовых и пассажирских потоков по реке в целях сбора дани, которая составляла 10 % от всех грузов, переправлявшихся по Волге. Кроме того, хазары весьма часто совершали «буйные набеги» на соседние славянские племена с целью захвата собственности и людей, которых обращали в рабство и продавали на невольничьих рынках. Хазария содержала мощную **разноплеменную наемную** армию. Главой государства был каган, впоследствии также царь-бек. С середины VIII века государственной религией становится иудаизм.

Неоценимый вклад в историю Хазарии внес Л. Н. Гумилев, посвятивший этой теме немало исследований и, более того, историю русов, иных народов Великой степи, а также определенные тенденции мировой истории рассматривавший в тесной связи с проблемой Хазарского каганата. Именно проблемой считает выдающийся ученый этот «зигзаг истории», «государство-химеру», которая воплотилась в «антисистему», «скрытую составляющую мирового исторического процесса».

Проблемой Хазария стала, по мнению Гумилева, после переселения туда евреев, перебравшихся на Кавказ и в хазарские степи из-за столкновения с

византийцами, арабами и персами. Современный западный исследователь Артур Кестлер в своей книге «Тринадцатое колено» вообще считает, что поток еврейской миграции в Европу шел в значительной степени из Закавказья через Польшу и Центральную Европу. Тринадцатым израильским коленом, коленом Дана (из которого должен явиться Антихрист!), он называет ту часть евреев, которые ушли на Север через Кавказский хребет после падения Израиля в 722 году до н. э., впоследствии смешались в тюрками-хазарами и утратили свою еврейскую идентичность. О том, как и почему Даново колено оказалось у истоков Хазарского каганата, можно подробно прочитать в книге Т. В. Грачевой «Невидимая Хазария» (С. 187–189).

В Библии сказано, что «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь Твою надеюсь, Господи!» (Быт. 49:17–18). По геральдике колен израилевых символами колена Данова считаются змей и конь. Среди амулетов, найденных на хазарских кладбищах, преобладают эти два: змей (в разных модификациях, в том числе и в виде шестерок, заключенных в кольцо, — изображение, близкое к тому, что мы имеем в современных российских паспортах) и конь (иногда тоже в кольце).

«В середине VIII века произошедшие на всем пространстве Евразийского континента события изменили мир так, как никто бы не мог предугадать»¹ — этими словами Гумилев начинает рассказ о рождении Хазарии, искусственного государства, вследствие переселения туда «путешествующих» евреев, которые сразу «развернулись» и прибрали власть к своим рукам. «Тюркютские ханы из династии Ашина в силу свойственных степнякам религиозной терпимости и благодушия считали, что их держава приобретает

¹ Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. С. 127.

работающих и интеллигентных подданных, которых можно использовать для дипломатических и экономических поручений. Богатые евреи подносили хазарским ханам и бекам роскошные подарки, а красавицы еврейки пополняли ханские гаремы. Так сложилась еврейско-хазарская химера¹. В 803 году влиятельный в Хазарском каганате иудей Обадия взял власть в свои руки и превратил хана (кагана) в марионетку, объявил талмудический иудаизм государственной религией, а сам сделался царем-беком, то есть реальным правителем. Так родилось двоевластие в Хазарии, так родилась химера. Гумилев называет химерой это искусственное государство, потому что на теле одного народа сидит голова другого народа, в результате чего Хазария резко изменила свой облик. «Из системной целостности она превратилась в противоестественное сочетание **аморфной массы** подданных с господствующим классом, **чуждым народу по крови и религии**»², в общность людей с «негативным мироощущением». Л. Н. Гумилев констатирует, что «негативные образования существуют за счет позитивных этнических систем, которые они разъедают изнутри, как раковые опухоли»³.

Иудаизм, по меткому выражению Л. Н. Гумилева, распространялся в Хазарии «половым путем», то есть через смешанные браки. Причем дети из таких семей считались своими среди хазар (где национальность определялась по отцу) и среди евреев (если мать была еврейкой). То есть в любом случае такой еврей был «пригодным» для ведения выгодных и больших дел.

А что же остальные? Коренное большинство? А оно превратилось в собственной стране в **бесправную и аморфную массу**. Труд хазар оплачивался минимально, туземцы трепетали перед

грозными сборщиками налогов, молились в таких же халупах, в каких жили, простым хазарам-мужчинам, однако, предоставлялось право охранять иудеев-купцов, главы иудейских общин выжимали из хазар средства на наемников, которые должны были в случае мятежей этих хазар подавлять. Таким образом, хазары сами оплачивали свое закабаление.

Еще более резкую характеристику Хазарскому каганату дает современный историк Олег Платонов: «Под водительством иудейской религии Хазарский каганат превратился в военно-разбойничье и торгово-паразитическое государство, занимавшееся сбором грабительских даней, посреднической торговлей, сбором пошлин с купцов (больше напоминающим современный рэкет)...

...Евреи вывозили из славянских стран не только воск, меха и лошадей, но главным образом славян-военнопленных для продажи в рабство, а также юношей, девушек и детей для разврата и гаремов. Практиковалась торговля кастрированными славянскими юношами и детьми. Для кастрации евреи оборудовали в Каффе (Феодосии) специальные заведения.

На некоторое время хазарские иудеи подчинили себе племена восточных славян, заставляя платить их дань. В русском фольклоре, например в былинах, сохранилась память о Козарине и Жидовине, о борьбе с «царем иудейским и силою жидовской»⁴.

Хазария, с точки зрения Л. Н. Гумилева, была не только государственной, но и этнической химерой, которая складывалась вследствие вторжения представителей одного этноса в область проживания другого, не совместимого с ним. Эта химера еще страшнее, так как на место единой ментальности приходит полный хаос

¹ Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. С. 131.

² Там же. С. 141.

³ Там же. С. 254.

⁴ Платонов О. А. Тайна беззакония: Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации. М., 2004. С. 101–102.

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

взглядов и представлений, создающих какофонию и всеобщую извращенность. «Она (химера, антисистема) вытягивает пассионарность из вместившего ее этноса, как вурдалак»¹. В таких неестественных (антисистемных) условиях погибает все, в том числе и культура. В самом деле, ничего не осталось от хазар, тогда как иные курганы до сих пор поражают при раскопках своими шедеврами. Ни в одном музее мира вы не найдете «шедевров» Хазарии. Их сосуды лишены орнамента, их строения примитивны, изображения людей вообще нет. Чем же эти степняки были хуже других? А вот чем. Они, **«неразумные»**, то ли по доброте душевной, то ли по слепоте духовной **позволили превратить себя в химеру**. Из живого народа, пригревшего на своей груди змею (вспомним символику хазар!) и отравленного ею, **постепенно уходила жизнь**, как она уходила из могучего тела князя Олега, который так и не оправился после укуса змеи, «от того разболелся и умер он»². Воспроизводить культуру может народ, в ком живы воля, разум и дух. Он через творения искусства стремится обрести бессмертие в истории. В Хазарии «заказчиком» культуры могли быть только богатые иудеи. А они не нуждались в искусстве. Их религия (талмудический иудаизм) принципиально отрицала изобразительное искусство, красоту реализма. Они не имели своих художников, а если таковые и появлялись, то занимались начертанием символов и геометрических фигур в текстах Каббалы (прообраз абстракционизма) или каллиграфией, то есть переписывали Талмуд.

Собственное искусство хазар в Хазарском каганате не могло найти не только заказчика, но и покупателя, потому что хазары были бедны. Они

перестали даже ставить могильные памятники, просто клали покойников на бугры, где тех присыпала степная пыль...

Гром грянул в 964 году, когда князь Святослав со своей дружиной нанес сокрушительный удар по Хазарскому каганату. Была разгромлена иудейская столица Итиль, впоследствии уничтожены все центры разбойничьего паразитарного государства. Киевская Русь оказалась самым могучим и последовательным врагом иудейского Хазарского каганата. Почти полуторастолетняя освободительная война восточных славян, героем которой был и вещий Олег, победоносно завершилась.

Простой народ бывшей Хазарии, не принадлежавший к иудаизму, перешел под покровительство Руси, тогда как иудейские верхи и торгово-ростовщический класс, связавшие себя верой талмудического иудаизма, покинули эти земли и, по мнению ряда европейских историков, переселились на западные земли России, в Польшу, Германию и далее, далее... Эти переселенцы составили ветвь так называемых восточных иудеев-ашкенази, тринадцатое колено Даново, «скрытую составляющую мирового исторического процесса».

Хазарское царство исчезло, как дым. Оно растворилось в половецком степном море. От него не осталось ничего: ни этноса, ни сколько-нибудь значимых культурных памятников, ни языка, ни могильных плит, а столица Итиль превратилась в город-призрак, до сих пор недоступный археологам.

Пришло время Крещения Руси. В «Повести временных лет» летописец рассказывает о том, как к князю Владимиру пришли хазарские евреи с предложением принять их веру — талмудический иудаизм. «И спросил Владимир: “Что у вас за закон?” Они же ответили: “Обрезываться, не есть свинины и заячины, хранить субботу”. Он же спросил: “А где земля ваша?” Они же сказали: “В Иерусалиме”. Сно-

¹ Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. С. 255.

² Повесть временных лет // Художественная проза Киевской Руси XI–XIII веков. М., 1957. С. 20.

ва спросил он: “Точно ли она там?” И ответили: **“Разгневался бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам”**. Сказал на это Владимир: “Как же вы иных учите, а сами отвергнуты богом и рассеяны: если бы бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. **Или и нам того же хотите?**”»¹

Этот эпизод фиксирует попытку хазарских иудеев прибрать к рукам киевского кагана подобно тому, как это получилось с итильским. Тогда бы русы быстро оказались на положении хазар. Но Владимир явил себя очень разумным, дальновидным правителем, он ведал о недавнем прошлом Хазарского каганата, сомневался в правдивости слов хазарских иудеев о том, что их земля в Иерусалиме: «Точно ли она там?» — переспросил он. Владимир оказался проницательнее и **разумнее** доверчивого, **«неразумного»** тюрка Ашина и предпочел союз с православными греками сомнительным хазарским посулам.

Так на Руси появилась вера, которая прямо указывала на богоборца и врага рода человеческого — дьявола и его «детей», отпавших от Господа: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины... Он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

По промыслу или по Божьему попущению как часто человеческая мудрость и здравый смысл натываются на искушения доверчивой беспечностью или гордыней своеволия! На протяжении всей жизни в Пушкине шла эта борьба. С юных лет и до последнего вздоха возле него неустанно обретались люди, которые, что называется, сбивали его с пути истинного. А истинный путь — это путь к Богу. Александр Сергеевич трудно его искал. И в Кишиневе среди разноплеменных

масонских «братьев» он пережил «своего рода падение...

прошел через темные ущелья, где недобрые силы кружились, нападали, одолевали... Что-то томило, **застилало** прирожденную силу его духа»². Это описание внутреннего состояния поэта как нельзя лучше объясняет появление в его творчестве образа вешнего Олега. Все эти темные масонские «ущелья» с их мрачными ритуалами и зловещей символикой (а среди них — змея и конь) вызвали у поэта тревожные раздумья о связи человеческой судьбы и человеческой истории с некими мистическими силами, которые и богатыря велят.

«Могучий Олег»!.. За его спиной — целая череда славных побед, а погибает случайно, от укуса змеи.

Сделаем небольшое отступление-уточнение. Выше мы говорили о том, что в Хазарский каганат мигрировала та часть еврейства, которая представляла колено Даново («аспид на пути, уязвляющий ногу коня»). Но часть этого колена ушла на Британские острова, в Англию, о чем имеются записи в исторических летописях. И на королевском гербе Великобритании присутствуют те символы, которые олицетворяют Дана: лев, конь и змей и надпись внизу: «Никто не причинит мне зла безнаказанно». То есть «око за око, зуб за зуб».

Куда же «собирается» веший Олег? «Отмстить неразумным хозарам!» А в результате отомстили ему «они». Вот и ответ на вопрос о трагической случайности его смерти. Нет ничего случайного в этом мире, где идет непрекращающаяся борьба дьявола с Богом, «а поле битвы — сердце людское» (Ф. М. Достоевский). «Вдохновенный кудесник» напоминает князю-воителю, что «обманчивый вал в часы роковой непогоды», а также «лукавый кинжал» «щадят победителя годы», пока **«незримый хранитель»** могущему

¹ Повесть временных лет. С. 44.

² Тыркова-Вильямс А. В. Жизнь А. С. Пушкина. Том I. М., 2010. С. 294.

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

дан». Об этом нельзя не помнить, ведь голос «кудесника» «с волей небесною дружен»!

Пройдут годы...

Забудется предсказание волхва.
Пирует с дружиною вещий Олег
При звоне веселом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег,
Над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

Печальный какой-то пир. Два многоточия вместо двух восклицательных знаков. Усомнился князь в правдивости кудесника. С горькой усмешкой вспоминает его «презренное» предсказание:

Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертью кость угрожала!

А здесь, напротив, два восклицательных знака. Возмущился князь. А дальше осуществилось то, о чем сказано в Библии: «Аспид на пути». Не видит князь Олег змея, ослеплен разум его беспечностью гордыни и славы. **Поэтому отнимается от «могущего» «незримый хранитель».**

Олег назван «вещим» в «Повести временных лет» потому, что он — прорицатель. Он предсказал Киеву: «Да будет это мать городам русским». Но у Пушкина Олег «вещий» еще и потому, что посылает нам, «как ныне» (то есть всегда), весть о затаившемся где-то в мертвой голове аспиде. Покусился на «неразумных хазар» — помни об аспиде и о его цели: «Никто не причинит мне зла безнаказанно».

Эта змея всегда выползает из недр нижнего мира к уверенному в своей правоте богатырю и мстит ему за его дерзновенные подвиги.

*Как черная лента, вокруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.*

Кстати, какого цвета у Олега был конь? Пушкин об этом не пишет. Мы видим «светлое чело» Олега, «белые кудри» князя и его ратников, а вот конь... Замыслом поэта проникся великий русский художник В. М. Васнецов. Конь, конечно же, белый на его иллюстрациях к «Песни о вещем Олеге». И с этим белым конем Олег прощается...

И отроки тотчас с конем отошли,
А князю другого коня подвели.
Но другой конь —
это уже другая судьба для воина...

Вещий Олег. Князь-легенда, князь-загадка... Великий правитель, великий воин, великий волхв, он железной рукой собрал разобщенные славянские племена воедино. Он завоевал новые земли, «отмстил неразумным хозарам» и прибил свой щит на врата Царьграда, заставив гордую Византию признать Русь равной себе. Он правил так долго, что многие стали считать князя не только вещим, но едва ли не бессмертным, а его загадочная гибель вдохновила поэта на создание стихотворения-пророчества, стихотворения-предупреждения, ибо не случайной была гибель Олега.

Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у берега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

Наши герои опять на вершине холма. Что ж! Жизнь продолжается. Впереди новые сражения, иная история. Не будет ли она внезапно застигнута или неспешно, «путем непрямого действия» одолена тайными силами, что «веют, как вихри враждебные» и «злбно гнетут»? А Тот, который «на берегу пустынных волн» «стоял... дум великих полн и вдаль глядел»? Он чуял эти силы, когда закладывал в план строи-

тельства города и его архитектуру ма-соно-хазарскую символику?¹

*Все флаги в гости будут к нам,
и запируем на просторе!*

Медный всадник и змей под **задним** копытом лошади. Когда стоишь лицом к памятнику — змей не виден. Всадник тоже **не видит** аспида, взор его обращен вдаль.

*Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, **гордый** конь,
И где опустишь ты копыта?*

Или откинешь? «Всадником Апокалипсиса» называли еще этот памятник.

А вот Георгий Победоносец на **белом коне** видит аспида. Он поражает его копьем в самую голову. (Кстати, этот змей нигде не изображается мертвым. Он извивается, придавленный, пытается укунить жертву, но он жив!) Свершится ли то, что Георгий Победоносец, Святой Егорий, как его еще называют в народе, герой многочисленных сказаний и песен у всех христианских народов и мусульман, убьет змея, дракона, который опустошает землю?

Георгий потому и Победоносец, что одухотворен знанием о Спасителе и Его врагах. За Господа нашего Иисуса Христа он сам принял мученическую смерть. «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему... На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона» (Пс. 90:9–13). «Господь — упование мое» (Пс. 90:9).

Илия, самый почитаемый на Руси ветхозаветный пророк, тоже считается «змееборцем». Илья Муромец, про-

славившийся многочисленными воинскими подвигами в борьбе с врагами Отечества, победил страшного змея: в степях рыскало «идолище поганое», с хазарской стороны грозил «Жидовин проклятый». После смерти Ильяшук стал святым.

А. С. Пушкин ведал уже в 1822 году, в какой духовной слепоте, в каком умственном разброде находилось русское общество, прельщенное «просвещением», ослепленное славою минувших побед (1812 год) и возомнившее себя настолько правым, что утратило потребность в «незримом хранителе». «Песнь о вещем Олеге» — это предсказание нашей трагедии в 1917 году и обвала в 1991 году — двух хазарских переворотов. Из наших мертвых, пустых голов выползла та «гробовая змея», которая теперь угрожает нам смертью. А мы до сих пор видим себя на вершине холма и «при звоне веселом стакана» «поминаем минувшие дни». Только эта тризна может быть последней. Ведь и от хазар ничего не осталось.

...И тут я проснулся и вскрикнул:

«Что, если

Страна эта истинно Родина мне?

Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?»

И понял, что я заблудился навеки

В пустых переходах пространств и времен,

А где-то струятся родимые реки,

К которым мне путь навсегда запрещен —

так писал русский поэт Н. С. Гумилев, казненный в августе 1921 года в Петрограде по сфабрикованному контрреволюционному заговору.

Пушкин не сочинял просто стихи и поэмы. Пушкин пророчествовал в рифму. Он сказал нам в 1822 году, что, когда мы забываем о **Главном**, тогда нас и жальят хазарские змеи. Жальят не только напрямую, как Олега, а через разного рода искушения: «то, что хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно» (Быт. 3:6).

¹ В народе ходили слухи, что после возвращения из Европы «царя подменили на немца поганого или жидовина проклятого».

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

Как ныне, как ныне... Почему именно эти стихи почти через сто лет стали неофициальным гимном русской армии в Первой мировой войне, а затем и Гражданской:

Как ныне собирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.
Так громче музыка! Играй победу!
Мы победили: враг бежит, бежит, бежит.
Так за Царя, за Родину, за Веру
Мы грянем громкое «ура! ура! ура!».

Но все закончилось подвалом Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

«На помощь Твою надеюсь, Господи!» (Быт. 49:18). И всегда держу копьё навстречу змею.

Р. С. Собрать, обобщить и изложить этот материал о вещем Олеге, хазарах и змее меня побудило прочтение статьи «Россию хотят объявить “преемницей” Хазарского каганата» в газете «Русский вестник» (2011. № 5), где повествуется о том, что Институт востоковедения РАН и Фонд «Взаимодействия цивилизаций» провел круглый стол на тему «Хазары: миф и история». Его активными участниками были следующие ученые мужи: президент Фонда Рахамим Яшаевич Эмануилов, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Владимир

Яковлевич Петрухин, директор Института востоковедения РАН Виталий Вячеславович Наумкин, президент Института Ближнего Востока Евгений Янович Сатановский, историк Виктор Александрович Шнирельман и член комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям и свободе совести, директор научно-просветительского центра «Аль-Васатый» Фарид Абдуллоевич Асадулин. О чем вели речь? О том, что «Русь созидалась не русскими людьми посредством многих, в том числе кровавых, жертв и усилиями русских князей и ратников, а неким многонациональным конгломератом с иудейской элитой во главе»¹. Автор статьи, Филипп Лебедь, не без удивления восклицает: «Хазары, таким образом, из врагов превращаются в первых собирателей земель русских, а иудаизм — в первую государственную религию на территории Руси!»² «Ученые» предложили также обсудить возможность введения памятной даты «о принятии иудаизма на Руси» (!). В качестве примера мультикультурности привели «афророссиянина» Пушкина, **«который мог бы представлять эфиопскую литературу»** (!!?)³.

Что тут скажешь? Змей не дремлет! Данный комментарий к стихотворению А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» — мое копьё в пасть этого змея!

¹ Русский вестник. 2011. № 5. С. 13.

² Там же. С. 13.

³ Там же.

Вадим Петров

МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1938 года КАК ФИАСКО ПРАГМАТИЗМА

«Тот, кто знаком с технологиями управления толпой, знает, что контроль над историческим сознанием масс дает колоссальную власть над ними. Тот, кто способен изменить прошлое, — тот и формирует будущее. Можно прибегнуть к такой метафоре: история — это руль корабля. Руль находится на корме, но нос судна смотрит только в ту сторону, куда поворачивается руль» [1]. Именно так поступают многие западные историки, стремясь как-то сгладить впечатление от событий конца сентября 1938 года, широко известных под названием «Мюнхенский сговор».

Знаменитая книга А. Гитлера «Майн кампф», написанная в середине 1920-х годов, уже в то время совершенно открыто говорила о предстоящем движении Германии на Восток. А в восточном направлении от Германии в числе других европейских стран расположена и Чехословакия. Поэтому принципиальной неожиданности в территориальных претензиях Гитлера к Чехословакии в общем-то не было. Другое дело, что на сторону Гитлера против интересов Чехословакии встали Франция, Англия и Италия. Особенно циничной, а также попросту самоубийственной как в ходе мюнхенской конференции, так и в ходе предшествовавших ей событий выглядела позиция Франции.

Относительно Пакта Молотова — Риббентропа много и охотно пишут западные исследователи. И это хоро-

шо понятно, ведь этот Пакт дает возможность бросить дежурный камень в адрес СССР и России. Но с Мюнхеном позиция принципиально иная. Никакими усилиями западных историков невозможно доказать какие-то действия Сталина, приведшие к Мюнхену. Поэтому Мюнхен-1938 стараются, поелику это возможно, попросту замалчивать.

«Мюнхенская сделка» возникла не на пустом месте и не спонтанно. Дорога к ней была довольно долгой, но совершенно логичной. И вымощивали эту дорогу, якобы самыми благими намерениями, прежде всего именно Англия и Франция. Посильный вклад в создание прямой дороги к этой политической сделке внесла Италия. А победоносно прошел по этой дороге и получил всяческие максимальные дивиденды А. Гитлер. Посмотрим же, как хронологически развивались события, которые в итоге привели к резчайшему потрясению основ европейского политического равновесия.

Буквально с первых дней своего правления Гитлер стал активно налаживать отношения с Англией. «Придя к власти, Гитлер в начале мая 1933 года направил в Лондон Альфреда Розенберга. На состоявшиеся там переговоры немедленно откликнулся Сталин. 14 мая “Правда” опубликовала отредактированную им статью “Бредовый план Розенберга”, предвосхитившую события осени 1938 года и мюнхенскую политику умиротворения фа-

шистских агрессоров. Сталин оказался политиком, умеющим заглянуть в будущее» [2]. Сама же Англия безусловно благоволила фашистскому режиму в Германии. И это несмотря на то, что в 1933 году гитлеровская Германия демонстративно вышла из Лиги Наций, покинула конференцию по разоружению (14 октября 1933 года), начала форсированную подготовку к войне [3]. Отметим, что Германия начала форсированно, хотя поначалу и скрытно, готовиться к войне уже с первого года пребывания Гитлера у власти. Скрытность была ликвидирована в начале 1935 года. Малочисленный рейхсвер, комплектуемый контрактниками, был трансформирован в комплектуемый на основе призыва гораздо больший вермахт. Также было объявлено о создании военно-воздушных сил, прямо запрещенных Версальскими соглашениями. Затем были сформированы бронетанковые силы, и военная мощь Германии стала стремительно возрастать.

Идеи завоевания ряда европейских стран, в том числе Чехословакии, вынашивались не только в политических, но и в военных кругах Германии. В мае того же 1933 года будущий генерал авиации Кнаус в своей докладной записке на имя Германа Геринга высказал следующие соображения: «Германия — континентальная держава. Исход ведущихся ею войн всегда решается на центральном европейском театре. Ее будущие противники — Франция и Польша в первую очередь и во вторую — Чехословакия и Бельгия» [4].

Во время одной из бесед с Раушнингем, которая состоялась в 1934 году, Гитлер говорил о том, что он собирается включить в состав будущей Германии Австрию и Чехословакию [5].

В марте 1935 года Европа подверглась серьезному испытанию. Германия заявила об отказе от версальских ограничений на вооружение и уже открыто начала готовиться к большой

войне. В ответ 2 мая 1935 года был подписан советско-французский, а 16 мая — советско-чехословацкий договор о взаимопомощи [6].

Когда Германия в военном отношении стала все более и более укрепляться, то, как мы полагаем, в английских политических кругах появилась мысль канализовать эту силу в противоположном от Великобритании направлении, для чего были сформулированы положения, которые впоследствии получили известность под названием «политика умиротворения». Известный историк М. И. Мельтюхов так писал об этом: «Именно с 1937 г. во внешней политике Англии на первый план выходит идея “умиротворения” Германии за счет Восточной Европы и СССР. Удовлетворение экспансионистских претензий Германии должно было, по мнению английского руководства, привести к новому “пакту четырех”. Сепаратные переговоры США и Англии с Германией в ноябре 1937 г. показали германскому руководству, что ни Англия, ни США, ни Франция не станут вмешиваться в случае присоединения Австрии, Судет и Данцига, если эти изменения не приведут к войне в Европе» [7]. Очень важно заметить, что присоединение одобрялось, если оно шло «мирным путем». То есть ради «мирного пути» эти страны были готовы на давление в пользу Германии. Но только в отношении Австрии и двух территорий, то есть немецкоговорящих земель! Но здесь ничего не говорится о Мемеле. И остальные чехословацкие территории не были немецкоговорящими. Заметим также, что «умиротворение» планировалось только за счет Восточной Европы и СССР. Причем можно предполагать, что для перечисленных стран был гораздо более предпочтительным вариант «умиротворения» Германии за счет СССР, нежели за счет стран Восточной Европы.

Далее события развивались в строго логической последовательности, в

полном соответствии с теми намерениями, которые ранее высказывал А. Гитлер. Перед Гитлером в конце 1937 года, а возможно, еще и ранее встал вопрос: «С чего начать?» Начать завоевания с Австрии или же с Чехословакии? Достаточно несложный военно-политический анализ подсказывал, что гораздо предпочтительнее в тех условиях было начинать с Австрии. Большинство населения Чехословакии тогда, в конце 1937 года, было готово отстаивать свою независимость. А значительная часть населения Австрии, будучи этническими немцами, наоборот, была готова воссоединиться с Третьим рейхом. Кроме того, присоединение Австрии позволяло с военно-географических позиций взять Чехословакию «в клещи». И очередность действий Германии на 1938 год была решена. Но механизмы, которые использовались при захвате Австрии и Чехословакии, во многом были сходными. «Этнической пестротой чехословацкое государство обязано Версальскому договору, по которому оно было “выкроено” из территории бывшей австро-венгерской империи; это позволило нацистам воспользоваться тем же предлогом, что и для аншлюса Австрии, а также выдвигать некоторые оправдания сентиментального порядка. <...>

20 февраля 1938 года Гитлер выступил с большой речью в рейхстаге. Подчеркнув нерушимое единство партии, армии и государства, он затем утверждал, что немцы не допустят угнетения 10 млн их братьев, живущих за пределами рейха. Аншлюс вернул в лоно германского отечества 6,5 млн австрийцев, и можно было понять, что остальные немцы живут в Чехословакии» [8].

Австрийские власти лихорадочно искали поддержку у Англии и Франции. Но такие попытки оказались тщетными, и 12–13 марта 1938 года Австрия была аннексирована Германией. Тем самым последняя значительно улучшила свое стратегическое

положение в центре Европы. Уже 17 марта СССР предложил созвать конференцию по борьбе с агрессией, но Англия, опасаясь раскола Европы на военно-политические блоки, высказалась против этой идеи [9].

Ведущим западным политикам вектор направления дальнейших агрессивных устремлений Гитлера в марте 1938 года был совершенно понятен. Так, сэр Н. Чемберлен писал: «План “Великого союза”, как его называет сэр Уинстон, приходил мне в голову... Мы предлагали этот план на рассмотрение начальников штабов и экспертов министерства иностранных дел. Это очень привлекательная идея, можно много чего сказать в ее защиту, пока не подойдешь к ней с точки зрения ее практической осуществимости. Достаточно только взглянуть на карту, чтобы увидеть, что Франция и мы ничего не можем сделать для спасения Чехословакии от вторжения немцев. Поэтому я отказался от любой идеи предоставления гарантий Чехословакии или Франции в связи с ее обязательствами перед этой страной. 20 марта 1938 года» [10].

По данным, которые привел в своей книге Л. А. Безыменский, политический истеблишмент Англии в начале 1938 года был настроен достаточно единодушно по отношению к возможности противодействию Гитлеру и защиты Чехословакии. «...в марте внешнеполитический комитет британского правительства принял решение, которое постоянный секретарь Форин оффис сэр Александр Кадоган сформулировал в своем дневнике так: “Чехословакия не стоит шпор даже одного британского гренадера”. А 21 мая тот же Кадоган писал: “Решено, что мы не должны воевать”» [11]. Имелась в виду война Англии с Германией из-за позиции последней в отношении Чехословакии. То есть вступление Англии в войну ради Чехословакии не предусматривалось. За-

метим, что указанное высказывание А. Кадоган сделал сразу же после аншлюса Австрии, как представляется, совершенно отчетливо понимая, какая страна будет следующей жертвой Гитлера.

Появились и уже вполне конкретные сведения о планах Гитлера в отношении захвата Чехословакии. СР (военная разведка Франции) сообщила руководству Франции о существовании немецкого плана вторжения в Чехословакию. В своих посмертно изданных мемуарах бывший премьер-министр Эдуард Даладье подтверждал: «В апреле 1938 года капитан Наварр, которому Риве поручил руководить отделом Германии в 2бис, узнает от основного агента в Гааге, капитана Трюта, что Гитлер решил вторгнуться в Чехословакию». (Вторжение в Чехословакию произойдет в марте 1939 года.)» [12].

Тем временем в отношениях между Чехословакией и Германией наступил кризис. Данный кризис мирно разрешился во многом благодаря твердой позиции руководства Чехословакии, которое объявило мобилизацию. Это показало, что невмешательство чревато «утратой англо-французского влияния на развитие событий, поэтому в разгар кризиса оба правительства заявили 21 мая 1938 г. о вмешательстве в случае германской агрессии, что вынудило Германию отступить. Однако вместо помощи Чехословакии Англия и Франция усилили нажим на нее в пользу передачи Германии стратегически важных приграничных районов» [13]. Отсюда можно прийти к выводу о том, что такой нажим осуществлялся на Чехословакию и до мая 1938 года. Серьезное обострение ситуации вокруг Чехословакии в апреле — мае 1938 года продемонстрировало явное нежелание Англии и Франции вмешиваться в дела Восточной Европы. Предложения со стороны Советского Союза о проведении военных переговоров с Францией и Чехословакией

от 27 апреля и 13 мая не были приняты [14].

Здесь нужно отметить, что Польша солидаризировалась с позицией Германии. Но, например, Франция никак не отреагировала на эту фактически враждебную ей позицию. «В апреле французский посол в Берлине Андре Франсуа-Понсе, сказал советскому поверенному в делах, что Польша “открыто помогает Германии” в ее античешских приготовлениях. При этом посол беспомощно развел руками — но было ли французское правительство на самом деле так беспомощно?» [15]. Разумеется, что эта поддержка была небескорыстной. Польским руководством двигало желание аннексировать так называемую Тешинскую Силезию, принадлежащую Чехословакии. Уже в конце мая поляки дали понять, что возможностей спасти Чехословакию нет и они больше «не связывают себе рук» в отношении Тешина [16]. США и ведущие европейские страны имели резоны, но все они, хотя и по-разному, были направлены не в пользу интересов Чехословакии. «Английское руководство опасалось, что неуступчивость в Судетском вопросе может привести к германо-американскому сближению, а то и к краху нацистского режима, что не отвечало интересам Англии (выделено мной. — В. П.). США со своей стороны через своего посла в Лондоне 20 июля 1938 г. намекнули Берлину, что в случае сотрудничества между США и Германией Вашингтон поддержал бы германские требования к Англии или сделал бы все для удовлетворения германских требований к Чехословакии. Италия в ходе чехословацкого кризиса старалась отвлечь Германию от средиземноморских проблем и устранить оплот французского влияния в Центральной Европе» [17]. Из сказанного М. И. Мельтюховым можно сделать вывод о том, что на тот период времени прежде всего Англия была заинтересована в существовании на-

цистского режима, естественным образом персонифицируемого Гитлером, в Германии.

Далее в 1938 году ситуация вокруг Чехословакии продолжала оставаться напряженной. И давление на нее во многом осуществлялось отнюдь не со стороны Германии. Английское давление прогерманской направленности на эту страну было весьма сильным. «Майский (посол СССР в Англии. — В. П.) сообщал о разговоре со своим чешским коллегой Яном Масариком, произошедшем 6 августа, в котором последний жаловался на упорное давление со стороны Британии на чехословацкое правительство с целью сделать “максимально возможное количество уступок судетским немцам”» [18]. По мнению чешских и советских дипломатов, поведение Франции было не лучше английского. «Суриц уже предвидел Мюнхен. Франция и Британия, говорил он в июле 1938 года, были не очень-то расположены защищать Чехословакию. Англичане просто хотели получить от чехов путем переговоров то, что Гитлер собирался отнять силой» [19]. Здесь необходимо особо заметить, что Франция, в отличие от Англии, была союзницей Чехословакии!

Давление на Чехословакию осуществлялось не только со стороны государственных институтов ведущих европейских стран, но и со стороны неофициальных, однако влиятельных органов прессы. «Не надо лишний раз напоминать о мере влиятельности в Британии и мире лондонской газеты “Таймс”. А вот ксерокопию ее номера от 7 сентября 1938 года со статьей тогдашнего главного редактора Доусона нужно бы иметь в каждом чешском музее: “Мы рекомендуем принять предложения, цель которых — сделать Чехию более однородным государством путем отделения от него чуждого ему населения, живущего по соседству с народом, с которым оно связано рабовыми узами”» [20].

Летом 1938 года английское руководство пыталось осуществлять поиск нового компромисса великих держав Европы. «Но вместо нажима на Германию Англия и Франция продолжали требовать от Чехословакии уступок во имя сохранения мира в Европе, поскольку война могла способствовать ее большевизации. Таким образом, Чехословакия стала разменной картой в политике умиротворения Германии и базой нового компромисса. Английское руководство исходило из того, что слабая Германия не хочет, а сильная Франция не может пойти на закрепление британской гегемонии. Поэтому было необходимо усилить Германию, ослабить Францию, а заодно изолировать СССР (выделено мной. — В. П.)...» [21]. Можно согласиться с вышесказанным М. И. Мельтюховым. По нашему мнению, в то время участники мюнхенского сговора действовали в ключе не «заодно изолировать СССР», а в ключе «прежде всего изолировать СССР».

После некоторого периода относительного затишья Германия возобновила свое давление на Чехословакию, которое по сравнению с предыдущим значительно усилилось. Гитлер, выступая 12 сентября на партийном съезде в Нюрнберге, произнес резкую речь. В ней он обвинил президента Бенеша, что тот подвергает пыткам судетских немцев и хочет их истребить [22]. В своей речи он угрожал чехословацкому правительству, одновременно отвергая самую возможность любого решения, основанного на создании автономного судетского государства [23]. Можно предполагать, что Гитлера на эти слова вдохновила именно вся предыдущая позиция Англии и Франции. Так, незадолго до его выступления, 6 сентября 1938 года министр иностранных дел Франции Боннэ с предельной откровенностью заявил немецким руководителям: «Оставьте нам нашу колониальную империю, и тогда Украина будет вашей». Гитлер не

воспользовался этим услужливым советом не из-за отсутствия желания, а лишь по той простой причине, что «у него хватило ума сообразить, что между 170 советскими и 42 германскими дивизиями есть разница» [24].

Англия совершенно явственно для любого компетентного наблюдателя не хотела идти на серьезный конфликт с Гитлером из-за ненужной этой стране Чехословакии. С целью разрешения Судетского кризиса английский премьер-министр сэр Невилл Чемберлен 15 сентября 1938 года впервые в своей жизни воспользовался самолетом и отправился в Германию. «В тот же день Чемберлена и членов его делегации принял Гитлер в своей резиденции в Бертехсгадене. Здесь состоялась трехчасовая беседа английских гостей с хозяином. <...> Вернувшись в Лондон, Чемберлен встретился для консультаций с главой французского кабинета Эдуардом Даладье и его министром иностранных дел Жоржем Боннэ. Выяснилось, что французы, несмотря на свои угрозы, тоже не намерены воевать из-за каких-то чехов» [25].

На следующий день, 16 сентября премьер-министр Н. Чемберлен вернулся в Лондон. В мире уже примерно представляли, чему был посвящен его визит в Германию. Можно привести следующий пример: «Советник посольства Г. А. Астахов сообщил из Берлина 15 сентября в Москву: “У меня был поверенный в делах Чехословакии Шуберт, не скрывающий своего волнения. “Мир будет сохранен, но Чехословакия будет предана” — так, стараясь быть саркастическим, охарактеризовал он положение... Характерно, что англичане в свое оправдание распространяют версию о том, что позиция СССР в случае войны неясна...”» [26]. Но позиция СССР по чехословацкому вопросу как раз была ясной и последовательной. Чешский министр иностранных дел Крофта 17 сентября открыто признавал: «СССР

делает для Чехословакии больше, чем можно требовать по договору» [27]. Крофта имел в виду договор между СССР и Чехословакией. После возвращения Чемберлена в Лондон давление Англии стало стремительно нарастать. «Уже 16 сентября... англичане начали готовить план, предусматривающий отторжение от Чехословакии территорий, на которых немецкое население составляло более 50%. Они включали и те районы, где располагались оборонительные сооружения. 19 сентября эти требования были сообщены чешскому правительству. Подавленный Бенеш обратился в Москву, и Сталин гарантировал выполнение договорных обязательств. Однако Лондон и Париж усиленно обрабатывали чешского президента, и тот капитулировал. Бенеш не мог не капитулировать. Когда дело дошло до финала мюнхенской сделки, Лондон направил в Прагу целую бригаду разведчиков во главе с сэром Рэнисменом. Она была занята тем, что откровенно выламывала руки официальной Праге, чтобы **“предотвратить даже малейшую возможность ее обращения за помощью в СССР”** (выделено мной. — В. П.)» [28]. Далее «выкручивание рук» чехословацкому руководству стало нарастать. Без промедления последовало официальное заявление Лондона от 18 сентября 1938 года: «Следует отдать (Германии) те районы, где немцев более 50% от общего населения. Без этого невозможны гарантии Чехии в ее новых границах». Это заявление прекрасно дополнилось признанием уже на следующий день, 19 сентября, английского военного министра Хор-Белиша: «У нас нет средств выполнения наших гарантий», что явно означало одобрительно-подбадривающее «Смелей, Адольф!» [29].

Само собой разумеется, что Гитлер не стал отставать от Англии, а постарался ее превзойти в вопросе давления на своего стратегического противника. В этот же день, 19 сентября, в Судетской области начал действовать До-

бровольный корпус, составленный из этнических судетских немцев. Корпус был разделен на группы по 12 человек. Он совершил больше 300 рейдов, захватил свыше 1500 пленных, оставил много убитых и раненых, взял в качестве трофеев 25 пулеметов, легкое оружие и снаряжение [30].

Совокупное давление Англии и Франции стало для Чехословакии фактически непреодолимым. «21 сентября английский и французский посланники в Чехословакии заявили чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет англо-французских предложений, французское правительство “не выполнит договора” с Чехословакией. “Если же чехи объединятся с русскими, — подчеркнули они, — война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне”» [31].

Для Чехословакии роковую роль сыграло отсутствие уверенности в эффективности советской помощи. У Праги не оставалось иного выбора, как принять англо-французские условия, которые, в свою очередь, исключали советскую помощь. Чехословакия остановилась перед тем же выбором, что и вся Европа: мир ценой уступок или жесткая позиция ценой риска большой войны. Чехословацкое руководство сделало выбор в пользу первого [32], хотя хорошие шансы для войны против Германии осенью 1938 года у Чехословакии имелись. По данным, приводимым И. Шумейко, к этому времени Германия довела численность армии до 2 миллионов 200 тысяч человек при наличии 720 танков и 2500 самолетов. Отмобилизованные вооруженные силы Чехословакии насчитывали 2 миллиона солдат и офицеров при наличии 469 танков и 1582 самолетов. «Эта армия базировалась на мощных оборонительных сооружениях и вполне могла оказать более чем достойное сопротивление, но отдала страну без

боя» [33]. Здесь уважаемый И. Шумейко не совсем прав.

Чехословакию сдала отнюдь не ее армия. Просто высшее руководство Чехословакии не могло сопротивляться совокупному давлению не только Германии, но и фактически объединившейся с ней в Мюнхене Англии, Франции и Италии. И приказ чехословацкой армии на отражение немецкой агрессии в сентябре — октябре 1938 года так и не был отдан...

В этот же день, 21 сентября чешское правительство сдалось под англо-французским натиском и согласилось уступить часть своей территории Германии. В том случае, если бы Чехословакия не поступила так, французы и британцы просто грозились бросить ее на произвол судьбы [34].

В Лондоне 24 сентября Галифакс сообщил Масарику мнение премьер-министра о том, что Гитлер оказался ему человеком, с которым можно договариваться, и если уж он получит Судетскую область, то обязательно оставит Европу в покое. Масарик не поверил своим ушам, поэтому Галифакс повторил слово в слово. Чешский посланник во всех подробностях сообщил об этой беседе советскому поверенному в делах, который тут же послал отчет в Москву. Это «аукционный торг между Гитлером и Черчиллем», сказал Масарик Черчиллю [35].

В такой политической ситуации появились и выгодоприобретатели рангом поменьше в лице Польши и Венгрии. Если последняя получила территориальные приращения относительно позднее, то Польша — буквально сразу после заключения Мюнхенского соглашения. «На встрече с британским послом 24 сентября Бек сказал, что Польша не собирается “связывать себе рук” в отношении Тешина; <...> Если Германия войдет в Чехословакию, добавил этот офицер, Польша воспользуется всеми преимуществами ситуации и будет действо-

вать в своих собственных интересах» [36]. Польша собиралась «погреть руки» на ситуации и действительно в начале октября получила Тешинскую Силезию. Но всего 11 месяцев спустя, во многом благодаря своей довольно неуклюжей политике, Польша стала объектом нападения Германии.

Особо распространяться о собственно Мюнхенском соглашении в рамках настоящей статьи не имеет особого смысла. В сущности, конференция в Мюнхене была уже чисто техническим мероприятием. Ведь даже представители Чехословакии в ней не участвовали. Они находились в другом помещении, и их только после подписания ознакомили с содержанием документально оформленного соглашения. Результаты же Мюнхена были огромными для европейской политики, а отсюда и для всей мировой политики в целом. Вся конструкция европейского равновесия стремительно рухнула, как фактически приказала долго жить и система версальских договоров 1919 года. Шлюзы для развязывания Германией большой войны в Европе были открыты. И открыл их Мюнхен. Добавим только такой очень важный для нашей страны штрих. «Советский Союз на конференцию не пригласили. Лишь 29 сентября последовала объяснение англичан: мол, Гитлер и Муссолини отказались бы иметь дело с советским представителем. Тогда наше правительство официально заявило, что ни к конференции, ни к ее решениям никакого отношения не имеет. Таким образом, СССР оказался единственной европейской державой, которая, не запачкавшись, вышла из этой грязной истории» [37].

Советник германского посольства в Москве Вальтер фон Типпельскирх уже 3 октября 1938 года сформулировал и передал в Берлин свою оценку влияния происшедшего в Мюнхене на советское руководство. «Типпельскирх считал само собой разумеющимся, что

Советскому Союзу придется пересмотреть свою внешнюю политику, “посуроветь” в отношении Франции и быть “более позитивным” в отношении Германии. Он полагал, что “сложившиеся обстоятельства дают благоприятные возможности для нового и более широкого германского экономического соглашения с Советским Союзом”. Это было первое указание на возможность того процесса, который в конечном счете привел к августу 1939 года» [38]. Именно Мюнхен стал масштабным и вынужденным поводом, который привел к заключению Пакта Молотова — Риббентропа.

Гитлер, несмотря на все его внешнеполитические уверения, совершенно не собирался останавливаться на достигнутом. Цели, поставленные им перед германским военным руководством всего через три недели после Мюнхена, 21 октября 1938 года, выглядели для него совершенно закономерными. «Дальнейшие задачи вооруженным силам и приготовления к войне, вытекающие из поставленных задач, будут изложены мною в более поздней директиве. До ее подписания вооруженные силы должны быть готовы к следующему развитию событий: 1. Обеспечение границ Германии. 2. Ликвидация остатка Чехословакии. 3. Оккупация Мемельской области». В определенном смысле это был поворотный пункт. Здесь становится совершенно очевидным, что Гитлер решил начать завоевание негерманских земель и, заметим, славянских земель, лежащих в восточном направлении. При этом следует обратить внимание на представленный ранее меморандум директора политического департамента министерства иностранных дел Э. Вермана, который 7 октября 1938 года предложил создание «независимой Словакии», «слабой конституционно», которая будет соответственно «наилучшим образом служить германским потребностям проникновения на Восток и его заселения». Итак, слова «про-

никновение на Восток» были произнесены [39].

В последнем мирном году перед началом Второй мировой войны Германия создала втрое больше военных припасов, чем Англия и Франция, вместе взятые. Одновременно потеря Чехословакии лишила западных союзников 21 отборной дивизии, 15 или 16 дивизий второй линии, а также тех чешских крепостей, который в дни Мюнхена приковывали к себе не меньше 30 германских дивизий. Кроме того, чешские заводы «Шкода» представляли собой второй по величине военно-индустриальный комплекс в Европе, который произвел между сентябрем 1938 и сентябрем 1939 года почти столько же военной продукции, сколько вся военная промышленность Англии [40]. И достался этот комплекс Германии, как и вся остальная, весьма мощная промышленность Чехии, совершенно безвозмездно, без каких-либо финансовых затрат.

Развалилась система коллективной безопасности в Европе. В так называемой Малой Антанте было фактически обесценено ее наиболее развитое в экономическом и военном отношении звено. А это обстоятельство резко уменьшило возможности для стран Центральной и Юго-Восточной Европы сопротивляться гитлеровским устремлениям.

Чехословакия, единственный на тот период в Европе союзник СССР, совершенно потеряла свое военное значение. И руководству Советского Союза пришлось срочно решать весьма непростой вопрос о других способах укрепления обороны страны. Уже в начале октября 1938 года, практически сразу после Мюнхенского соглашения и перехода к Германии Судетской области, СССР предложил Финляндии самой оборудовать базы на Гогланде. Оборону островов в Финском заливе советские войска должны были взять на себя только в том случае, если с этой задачей не справятся

вооруженные силы Финляндии. В Хельсинки данные предложения были отвергнуты. После этого обе стороны стали активно готовиться к военным действиям. Финны, в частности, форсировали строительство новых укреплений на пересекавшей Карельский перешеек линии Маннергейма [41].

Только за один 1938 год Гитлер в результате аннексии присоединил к рейху и подчинил своей абсолютной власти 6 миллионов 750 тысяч австрийцев и 3 миллиона 500 тысяч судетских немцев — свыше 10 миллионов подданных, работников и солдат. Баланс сил в Европе окончательно склонился в пользу нацистской Германии [42]. К тому же с марта 1939 года Германия получила квалифицированных чешских рабочих и первоклассную производственную базу оставшейся части Чехии. И это итоги только одного года. А какие открывались в 1939 году головокружительные перспективы перед Германией, если с точки зрения наблюдателя того времени экстраполировать успехи одного лишь 1938 года на будущее. Это были успехи одного человека — Гитлера. Неудивительно, что он получил огромный кредит доверия у немцев. И во многом благодаря позиции ведущих стран Запада до, во время и после Мюнхена.

А. В. Шубин так описывал обстановку в Европе того периода. «В 1938—1939 гг. судьбу мира решало немногочисленное сообщество людей, перемещавшихся по Европе с дипломатическими визитами, церемонно беседовавших на дипломатические темы в формальной и неформальной обстановке. Осенью — зимой 1938 г. судьба эта казалась почти решенной. СССР был выдавлен из Европы на рубежи допетровских времен, и ему предстояло стать еще одним “Китаем” или “Эфиопией” — пространством, где Германия могла решить собственные проблемы, растративая свою накопившуюся агрессивную энергию. На этот

раз Германии предстояло действовать не как нарушителю спокойствия, а как авангарду цивилизованного сообщества, проводить жандармскую акцию против варваров. Рейх вернулся в лоно цивилизованных держав в Мюнхене и готов играть по правилам, то есть применять силу в нужном направлении с согласия главных цивилизованных стран. Европейские весы застыли в правой точке» [43].

Европейская обстановка декабря 1938 года резчайшим образом отличалась от обстановки конца 1937 года. И практически все отличия были в пользу Германии. В результате Мюнхенского соглашения система военных союзов Франции распалась, а франко-германская декларация о гарантиях границ и консультациях не могла заменить ее. В декабре 1938 года Франция признала итальянскую оккупацию Эфиопии. Это был апогей политики умиротворения, нанесшей колоссальный удар не только по влиянию Англии и Франции в Европе, но и по всей Версальской системе, которая практически прекратила свое существование. Фактически западные страны сами разрушили созданную ими после Первой мировой войны систему международных отношений в Европе [44].

Следует понимать, что прежде всего Англия поощряла Гитлера в прослеживаемых целях сделать из него «щит против большевизма» и противовес сильной Франции. Но они не учли амбиции Гитлера в отношении западных земель. И не учли того, что все рассуждения Гитлера в книге «Майн кампф» о движении Германии на Восток делались им в 1920-х годах зачастую в целях, во-первых, стать желанным для Запада как персона «анти-СССР» и, во-вторых, чтобы усыпить бдительность Англии и Франции. И это ему блестяще удалось.

После Мюнхена руководство СССР, очевидно, не могло исключать и следующий сценарий дальнейшего раз-

вития событий. «Умиротворенный» Англией и Францией Гитлер готовит мощный удар на Украину с целью отделения последней от СССР. Гитлер проводит свои войска через Польшу, за что впоследствии отдает последней территории Белоруссии и части севера и центра Украины. А Германия оставляет себе наиболее плодородные земли юга Украины. Если эта возможность кажется читателю утопичной, то рекомендуем вспомнить, как Гитлер в дальнейшем разделил территории завоеванных Германией Югославии и Греции. После Мюнхена все гарантии, данные Чехословакии странами Запада, перестали иметь здравый смысл. Если Англия и Франция так легко потеряли сильную Чехословакию, то какой смысл был сохранять «огрызок» этой страны? Ведь Чехословакия конца 1938 года с точки зрения экономики и стратегических возможностей ее вооруженных сил представляла лишь бледную тень Чехословакии сентября этого же года.

Вот еще один совершенно неожиданный аспект мюнхенского сговора. В результате оккупации Праги немецкое военное командование получило ценные стратегические сведения о Франции. Оборонительная система Чехословакии против Германии была построена с французской помощью по образцу линии Мажино. В связи с этим чешская техническая комиссия посетила французские оборонительные укрепления и вернулась с большим количеством подробных чертежей и спецификаций. Военное сотрудничество между Чехословакией и Францией было, по сути, очень тесным, документы о чем, к великому благу германской разведывательной службы, были обнаружены в отделе II чехословацкого Генерального штаба [45].

Имеет смысл проанализировать вопрос о том, являлся ли Советский Союз виновником мюнхенской сделки и дальнейших европейских событий. В 1973 году на немецком языке

вышла книга об А. Гитлере, написанная Иоахимом К. Фестом. Многие исследователи считали ее одной из лучших биографий Гитлера. В 1993 году данная книга была переведена на русский язык и вышла в нашей стране в трех томах. На страницах своей книги И. Фест, в частности, пишет о том, что в начале 1945 года А. Гитлер неоднократно встречался с Геббельсом и Борманом, иногда еще и с Леем. «Годы спустя стало известно, что в ходе этих встреч с начала февраля до середины апреля Гитлер проводил своего рода генеральную инвентаризацию и как бы подводил итоги своей жизни: в серии продолжительных монологов он еще раз оглядывался на пройденный им путь, на предпосылки и цели своей политики, равно как и на упущенные шансы и заблуждения. <...> **Война с Советским Союзом, в очередной раз подчеркивал он, не была продиктована какими-либо волонтаристскими соображениями: это была основополагающая целеустановка вообще** (выделено мной. — В. П.). Конечно, опасность фиаско присутствовала тут всегда, но отказ от этой войны, считал он, был бы хуже всякого поражения, ибо это было бы равнозначно акту предательства: “Мы были обречены на эту

войну, и нашей заботой могло быть только одно — по возможности выбрать удачный момент для ее начала. В то же время разумелось само собой, что мы никогда не откажемся от нее, после того, как мы уже решились на это”» [46]. Если уважаемому читателю этих данных покажется недостаточно, можно добавить еще следующее: «Хью Р. Тревор-Роупер скажет о “характерной ясности”, с которой Гитлер в этих разговорах с самим собой осмысливает шанс и крушение своей идеи мирового господства по такому принципу: он сознавал, что над Европой господствовать могла только такая континентальная держава, которая бы контролировала западную часть России, черпала резервы из Азии и одновременно взяла бы на себя роль защитницы колониальных народов. <...> Он знал также, что его борьба с Советским Союзом и была борьбой именно за этот шанс» [47]. Думаю, после приведенного всем непредвзятым читателям должно стать совершенно понятным, кто же является виновником Второй мировой войны. Имя этого персонажа — Адольф Гитлер. А поощряли его Англия и Франция. Да вот только не смогли до конца рассчитать свои действия и вовремя остановиться...

Литература

1. Кунгуров А. Секретные протоколы, или Кто подделал Пакт Молотова — Риббентропа. М.: Алгоритм: Эксмо, 2009. С. 7.
2. Порохов С. Битвы империй: Англия против России. М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ; СПб.: Астрель-СПб., 2008. С. 254–255.
3. Там же. С. 255.
4. См.: Безыменский Л. А. Третий фронт. Секретная дипломатия Второй мировой войны. М.: Вече, 2003. С. 17.
5. См.: Там же.
6. См.: Прудникова Е., Чигирин И. Катынь. Ложь, ставшая историей. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. С. 313.
7. Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941 (Документы, факты, суждения). М.: ВЕЧЕ, 2000. С. 53.
8. Деларю Ж. История гестапо. Смоленск: Фирма «Русич», 1993. С. 224.
9. См.: Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. С. 53.
10. Шумейко И. Вторая мировая. Перезагрузка. М.: Вече, 2007. С. 89.

11. *Безыменский Л. А.* Сталин и Гитлер перед схваткой. М.: Яуза; Эксмо, 2009. С. 142.
12. *Фалиго Р., Коффер Р.* Всемирная история разведывательных служб. Т. 1. 1870–1939. М.: ТЕРРА, 1997. С. 469.
13. *Мельтюхов М. И.* Главная ложь Виктора Суворова // М. И. Мельтюхов и др. Неправда Виктора Суворова-2: Сборник. М.: Яуза, Эксмо, 2008. С. 42.
14. См.: *Мельтюхов М. И.* Упущенный шанс Сталина. С. 53.
15. *Карлей М. Д.* 1939. Альянс, который не состоялся, и приближение Второй мировой войны. М.: Издательский дом «Грантъ», 2005. С. 82.
16. См.: Там же.
17. *Мельтюхов М. И.* Упущенный шанс Сталина. С. 53–54.
18. *Карлей М. Д.* 1939. Альянс, который не состоялся. С. 85.
19. Там же. С. 86.
20. *Шумейко И.* Вторая мировая. Перезагрузка. С. 149.
21. *Мельтюхов М. И.* Упущенный шанс Сталина. С. 54.
22. См.: *Деларю Ж.* История гестапо. С. 226.
23. См.: *Шелленберг В.* Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика. М.: СП «Дом Бируни», 1991. С. 46.
24. См.: *Романенко К. К.* Великая война Сталина. Триумф Верховного Главнокомандующего. М.: Яуза, Эксмо, 2008. С. 24.
25. *Тарас А. Е.* Анатомия ненависти. (Русско-польские конфликты в XVIII–XX вв.). Минск: Харвест, 2008. С. 532.
26. *Безыменский Л. А.* Сталин и Гитлер перед схваткой. С. 145.
27. *Шумейко И.* Вторая мировая. Перезагрузка. С. 154.
28. *Романенко К. К.* Великая война Сталина. С. 23.
29. См.: *Шумейко И.* Вторая мировая. Перезагрузка. С. 149.
30. См.: *Деларю Ж.* История гестапо. С. 227.
31. *Наумов А.* Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны. История кризиса Версальской системы. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 310.
32. См.: Там же. С. 311.
33. *Шумейко И.* Вторая мировая. Перезагрузка. С. 150.
34. *Карлей М. Д.* 1939. Альянс, который не состоялся. С. 104.
35. Там же. С. 105.
36. Там же. С. 109.
37. *Прудникова Е., Чигирин И.* Катынь. С. 319.
38. *Уткин А. И.* Россия над бездной (1918 г. — декабрь 1941 г.). Смоленск: Русич, 2000. С. 88.
39. См.: Там же. С. 88–89.
40. См.: Там же. С. 87–88.
41. См.: *Соколов Б. В.* Тайны финской войны. М.: Вече, 2000. С. 10.
42. *Наумов А.* Дипломатическая борьба в Европе. С. 356.
43. *Шубин А. В.* Мир на краю бездны. От глобального кризиса к мировой войне. 1929–1941 годы. М.: Вече, 2004. С. 308.
44. *Мельтюхов М. И.* Главная ложь Виктора Суворова. С. 43–44.
45. См.: *Левекюн П.* Германская военная разведка. Шпионаж, диверсии, контрразведка. 1935–1944. М.: ЗАО Издательство «Центрполиграф», 2011. С. 105.
46. *Фест Иоахим К.* Гитлер. Биография. Т. 3. Пермь: Культурный центр «Алетейа», 1993. С. 373–375.
47. Там же. С. 378.

Е. С. Роговер

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

(Творческий портрет)

Последним из знаменитой пятерки поэтов шестидесятых годов, будоражившей умы и чувства слушателей, оказался Евгений Евтушенко. О нем очень верно сказал Булат Окуджава: «Евтушенко — это целая эпоха».

Будущий поэт родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области (в Краткой литературной энциклопедии указана ошибочная дата — 1933 год). Его родители были геологами, мать позже станет певицей, заслуженным работником культуры РСФСР. В ряде своих стихотворений и поэмах («Откуда родом я?», «Я сибирской породы», «Станция Зима») Евтушенко подробно и красочно расскажет о сибирской тайге и суровом крае, где ему суждено было родиться. В период репрессий, последовавших за убийством Александра II, прадед поэта — Иосиф Евтушенко был выслан из Украины в качестве подозреваемого в Восточную Сибирь, где на бревенчатой станции Зима осели его восемнадцать детей. Правнуком его и стал Евгений. Когда семья его родителей распалась, он принял фамилию своей матери.

Детство будущего поэта прошло в Москве. Здесь подросток, рано начавший писать стихи, посещал поэтическую студию Дома пионеров. Он обостренно впитывал красочные приметы тогдашнего московского быта. В стихотворении «Мои университеты» он поведаст о том, что «у Четвертой Мещанской учился, у Марьиной Рощи/

быть стальнее ножа и чинарика проще». Первые публикации стихов относятся к 1949 году, когда он получил серьезную выучку в газете «Советский спорт». Ориентация на эту газету была не случайной. Высокий, плечистый, хорошо физически развитый, он в ту пору серьезно увлекался спортом, был вратарем школьной команды и записался в профессиональный футбол.

Окончив среднюю школу, Евтушенко участвует в геологической экспедиции по Алтаю и подает документы в Литературный институт. Его талант был настолько замечен, что, прочитав его стихи, руководитель Союза писателей рекомендовал принять его в писательский институт и в члены Союза. Юноша стал самым молодым из принятых в объединение художников слова. В 1951 году он появился в стенах Литературного института. По словам Владимира Карпова, «в нашу студенческую жизнь Евгений влетел, как метеор. Метеор яркий, шумный, обжигающий»¹. В стихотворении «Баллада о вероломстве одного доклада» поэт восторженно вспомнит свою студенческую пору: «О, времена Литинститута,/вы, как черемуховый взрыв!/Вы пролетели, как минута,/немного вечность подарив». Но учился в вузе поэт бессистемно, а за выступление в защиту обруганного романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» его из института исключили. Это было одно из ранних проявлений непокорности, са-

мостоятельности мышления и мятежа против несправедливости.

Первый сборник стихов Евтушенко назывался «Разведчики грядущего» (1952). Критики признали талант молодого поэта. Андрей Досталь, один из первых его наставников, отмечал, что поэт пошел по правильному пути, и предрекал ему счастливое будущее². Но этот первый сборник был еще подражательным; поэт славил Маяковского (ему посвящен целый раздел книги), но ориентировался на С. Кирсанова. Здесь было немало стихов декларативных, проникнутых лозунговой фразеологией, наставительностью («Не надо говорить неправду детям»).

Вторая книга стихов — «Третий снег» (1955) свидетельствует о расширении круга затрагиваемых тем, об обострении чувства современности. В. Тельпугов в своей рецензии на этот сборник отмечал «сработанность» стиха поэта, пристальность его взгляда на вещи, вторжение в область публицистики и в сферу лирики; он выделял как лучшие стихотворения «С комсомольской путевкой», «Спутница», «Родине»³. Нам же эти произведения кажутся риторическими, рассудочными и назидательными. Гораздо привлекательнее, на наш взгляд, стихотворения «Мать Маяковского», «Глубина», «Крылья», «Ты большая в любви, ты смелая». Они лишены многословия, компактны, пронизаны лиризмом и искренним чувством. Но и этот сборник не стал еще заметной вехой на пути поэта.

Настоящим открытием для читателей стала третья книга стихов Е. Евтушенко — «Шоссе энтузиастов» (1956). Поэт предстает здесь влюбленным в богатство окружающего его мира, жадным на познание его разнообразных проявлений: характеров, красок, звуков, очертаний. Так и называется одно из стихотворений сборника: «Я жаден до людей». Лирическому герою его хочется «подслушать сразу всех, все

сразу подсмотреть», хотя в одночасье сделать это затруднительно. Из произведений этой книги хочется выделить великолепное стихотворение «Свадьбы», которое свидетельствует о ранней зрелости в осмыслении жизненного опыта и далекого прошлого. Воспроизводится трагическая ситуация военного времени: свадьба происходит в дни мобилизации на фронт юного жениха, который счастлив и растерян, радостен и отрешен, ибо первая ночь молодых может стать последней. Слышатся возгласы гостей, а мальчишка с челочкой на лбу слышит дробь своих подковок во время заказанной пляски. Звучит отчаянный крик жениха: «А ну, давай пляши!», крик, отдающийся болью в душе подростка, который видит, как «у невесты слезоньки горячие текут», как «стоят в слезах друзья». И свое активное сопереживание рассказчик передает в заключительных стихах: «Мне страшно. Мне не пляшется,/ но не плясать — нельзя».

Нужно назвать и такие стихотворения сборника, как «Фронтовик» и «Окно выходит в белые деревья». Хотя последнее ориентировано на стихотворение Л. Мартынова «Вы ночевали на цветочных клумбах?», но Евтушенко достигает в нем такой пленительной красоты, такой ритмики и мелодизма, что оно просится быть положенным на музыку.

В поэтическом сборнике «Обещание» (1957) ощущается растущая зрелость автора, который связывает свои стихи с деяниями и творчеством людей нового поколения. Им он адресует свои проникновенные строки («Лучшим из поколенья»). Громче начинает заявлять о себе гражданская тема, получая выражение в сатирических стихах («О бойтесь ласковых данайцев», «У трусов малые возможности», «Рыцари инерции», «Блиндаж»). Все большие права гражданства получает любовная лирика Евтушенко, в сфере которой поэт проявляет очень сильную сторону своего дарования. Он пере-

дает самые разные нюансы любовных отношений: непроясненность чувства, робость в его проявлении, ревность, размолвки любящих, сомнение в искренности переживания, восторг перед любимой, участие («Ты плачешь, бедная, ты плачешь...»), надежду («Моя любимая придет...»), раскаяние («Среди любовью слывшего...»), обожание, стремление к духовному единению («Не понимать друг друга страшно...»), вторжение прозы жизни, желание разобраться в любовной коллизии («Со мною вот что происходит...»). Поэт умеет построить любовную новеллу в миниатюре, перейти от исповеди и размышления к ораторской интонации («О, сколько/нервных и недужных,/ненужных связей,/дружб ненужных!...»), раскрыть антитезу подлинной и мнимой любви, рефлексию любящего человека.

А в следующей книге стихов — «Яблоко» (1960) уже появятся такие шедевры любовной лирики поэта, как «Заклинание» и «Когда возшло твое лицо...» Здесь поэтизируется искренность отношений, любовь глубокая, чистая и нежная. Читая или слушая стихотворение «Заклинание», воспринимающий его ощущает постепенное нарастание волнения любящего, усиление его просьб и заклинаний. Музыкальность шедевра достигается его особым ритмом, повторами, кольцевой композицией, распевностью выбранного размера и синтаксисом его строк.

А рядом в этом сборнике — стихи, передающие чувство молодости, бодрости, радости. Таковы стихотворения «Свежести! Свежести!», «Москва-товарная», «На фабрике “Скоростной”», «Этим летом такой я удачник». Ширятся жизненные горизонты, охваченные взором поэта, раздвигаются горизонты раздумий, и не случайно свою рецензию на этот сборник критик назвал именно так: «Твои горизонты, жизнь»⁴.

Еще одна тема, которую затрагивает Евтушенко, — мир природы. Мож-

но вспомнить такие его пейзажные зарисовки, как «Глубокий снег», «Сквер величаво листья осыпал», «Вятские поляны». Нередко пейзажные картины сплетаются у поэта с образами любви («Я оттуда, где снег...», «Патриаршие пруды»). Но чаще эти зарисовки подчинены экологической теме. Поэт негодует против истребления природной красоты, против разграбления природных богатств («Баллада о браконьерстве», «Баллада о нерпах»).

На рубеже 50-х и 60-х годов в Грузии вышел сборник «Лук и Лира», который раскрыл новую грань таланта Евтушенко и представил его как *переводчика*. Наряду со стихами поэта о Грузии («Хозяин Тбилиси», «В церкви Кошуэты», «Грузинке») в книгу вошли переводы автора с грузинского поэтов В. Пшавелы, Гр. Абашидзе, И. Абашидзе, Х. Бериулавы, К. Каладзе, Г. Кугишвили, Г. Леонидзе, Р. Маргиани, И. Номишвили, О. Челадзе и др. Сборник открыл особую, интернациональную, тему в творчестве Е. Евтушенко.

1960-е годы отмечены выходом очередных сборников стихов поэта.

В 1962 году публикуются его поэтические книги «Нежность» и «Взмах руки», в 1967 году — «Катер связи» и «Стихи». Название для первого из них дало стихотворение «Нежность», зовущее читателей быть добрыми, внимательными и чуткими к людям. Не случайно еще одной программной декларацией этого сборника стало стихотворение «Людей неинтересных в мире нет». По существу, это открытая полемика с бесчеловечным сталинским тезисом о человеке как винтике. Поэт утверждает, что каждый — это неповторимый мир, новая планета: «У каждой все особое, свое,/и нет планет, похожих на нее». В связи с этой авторской установкой в названных сборниках кристаллизуется и оформляется жанр лирического портрета и появляется большой ряд персонажей, облику, характеру и судьбе которых

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

Евтушенко посвящает отдельные стихотворения. Для поэта важны и портретная зарисовка человека, и сюжет своеобразной новеллы в стихах, и психологический анализ мироотношения личности. Таковы Татьяна Сергеевна в «Первой машинистке», Маша в одноименном стихотворении, профессор в упомянутой элегии «Окно выходит в белые деревья», лифтерша Маша, Настя Карпова, четыре чулочницы, Тыко Вылка, Зина Пряхина, старый бухгалтер, нью-йоркская битница, Муська, дядя Вася, продавщица галстуков, «отверженная», кассирша из одноименных стихотворений и многие другие.

Осмывая их разные судьбы, поэт привносит в эти портреты философский аспект, ибо размышляет о ценностях жизни и значимости каждой личности.

Такой подход к человеку характерен и для сборников 70-х годов: «Поющая дамба» (1972), «Поэт в России — больше, чем поэт» (1973), «Спасибо» (1976), «В полный рост» (1977), «Утренний народ» (1978).

В поэзии Евтушенко можно увидеть следующие особенности: острое чувство современности («Страхи», «Утренний город»), внимание к чувствам сильным и бескомпромиссным, тяготение к публицистичности, заостренности стиха, выражение страстной непримиримости ко всему ложному, фальшивому, алчному («Мед»), пристальный интерес к человеческим переживаниям («Обидели. Беспомощно мне, стыдно...», «Стасу»), выражение молодости, задора, жизнелюбия («Москва-товарная», «Свежести! Свежести!»); тяготение к эстрадности, установка на публичное произношение и массовое восприятие, особенно характерные для 50-х и 60-х годов («Эстрада»); раскрытие мотивов обновления жизни; откровенность высказываний («Непримиримость», «Будем великими!»), соединение исповеди и проповеди; бойцовское чувство

«гладиатора», характерное для лирического героя; восприимчивость к политическим темам («Он вернулся из долгого...», «Хотят ли русские войны?»); частое обращение к прошлому, воспоминаниям о детстве; любовь к яркой, броской детали («Сквер величаво листья осыпал...»); яркое новаторство в тематике, содержании и форме; новизна стиха, пристрастие к перебоям ритма и ассонансным рифмам; музыкальность лирических стихотворений («Заклинание»), афористичность языка.

Наряду с этими очевидными достоинствами следует отметить присущие поэту недостатки: резонерство, дидактизм («Возрастная болезнь», «Неразделенная любовь»), растянутость ряда стихотворений («Комиссары», «Когда мужики ряболице»), использование чужих интонаций (Щипачева, Алигер, Луговского), чрезмерное «ячество», частые сообщения о своих личных качествах («Поздравляю вас, мама...», «Я разный — я натруженный и праздный...», «Я — ангел», поэтизация постельных мотивов («Кровать», «Ты спрашивала шепотом...») и множественности любовных связей («Третий развод»), чрезмерное пристрастие к неологизмам («Кабычегоневышлисты»).

Однако новаторство и яркая образность стихов Евтушенко — определяющие свойства его творчества. Он активно продолжает традиции русской поэзии, прежде всего Маяковского, Пастернака, Есенина, а также Смелякова, Слуцкого, Мартынова, Кирсанова. Знаком приверженности Евтушенко к классическим традициям становятся у него темы и образы, связанные с именами Пушкина («Пушкин», «Пушкин в Белфасте», поэма «Пушкинский перевал»), Маяковского («Наш Маяковский», «Мать Маяковского»), Блока («Когда я думаю о Блоке...», «Блоковский валун», «Тринадцать»), Пастернака («Бог становится человеком»).

В 60-е и 70-е годы Евтушенко совершает многочисленные поездки по стране. Он побывал на Русском Севере, был в Заполярье, совершил поездку на Урал, где выступал в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле. Этим поездкам поэт обязан появлению новых циклов стихов. На основе пребывания на Печоре возникли такие острые произведения, как «Баллада о браконьерстве». Дальневосточные впечатления вызвали к жизни цикл «На берегу Тихого океана» («Наше общее с вами Отечество», «В текущем ремонте» и др.). Пребывание на Каме дало импульс циклу «Из камазовской тетради». Поэт отражает в своих стихах широкие пространства России, образы людей самых разнообразных профессий (рыбаков, геологов, бухгалтеров, матросов, чернорабочих), людей различных возрастов и характеров. Все глубже и явственнее поэт ощущает свою неотделимость от России.

Одновременно обостряется гражданственность поэзии Е. Евтушенко. Он бичует лицемерие, угодничество, приспособляемость, искажение правды, любые формы насилия, произвол цензуры, беспамятство, бесчеловечность.

Публикация некоторых стихов становилась актом гражданского мужества поэта, а его произведения — событиями в общественной и литературной жизни. Таковы стихотворения «Сказка о русской игрушке» с ее подтекстом, «Качка» с ее аллегоричностью, «Баллада о штрафном батальоне». Еще более яркими и памятными стали стихотворения «Бабий Яр» (1961), «Наследники Сталина» (1962), «Письмо к Есенину» (1965), «Танки идут по Праге» (1968). Каждое из этих произведений отличалось изобразительностью, выразительной образностью и глубиной. Так, размышляя о стихотворении «Глубина», С. Маршак писал, что «в этих прозрачных до дна стихах Евтушенко следует основному направлению русской поэзии, ясной и глубокой, верной пушкинскому началу»⁵.

А. К. Чуковский заметил в своем Дневнике: «Стихи такие убедительные, что было бы хорошо напечатать их на листовках и распространять их в тюрьмах, больницах и других учреждениях, где мучают и угнетают людей... Поразительные стихи, и поразителен он... Большой человек большой судьбы...»⁶

Однако печатание этих и других стихотворений встречало отчаянное сопротивление властей, чиновников, цензуры и разного рода ретроградов. «Баллада о браконьерстве» с трудом прошла через цензуру. «Карликовые березы» печатались за рубежом. «Итальянские слезы» вымарывались в Главлите. Мучительно проходила публикация «Баллады о разбеге», «Плача по брату», «Письма в Париж», «Приключения мысли», «Директора хозяйственного магазина». Стихотворение «В ста верстах» снималось цензурой 18 раз. Даже песня «Хотят ли русские войны?» запрещалась ПУРОм. «Наследники Сталина» вызвали яростное сопротивление партаппаратчиков: они не знали, что это стихотворение было доставлено из Пицунды в «Правду» военным самолетом с одобряющей резолюцией Хрущева.

В 80-е годы, когда были напечатаны новые сборники стихов Евтушенко — «Две пары лыж» (1982), «Откуда родом я» (1983), «Почти напоследок» (1985), «Полтравиночки» (1986), «Завтрашний ветер» (1987), «Последняя попытка» (1988), «Любимая, спи...» (1989), — публикация гражданственных, «крамольных» стихов была продолжена. С трудностями были доведены до читателей стихотворения «Афганский муравей», «Похороны Сталина», «Дочь комдива», «Вдова Бухарина», «Еще не поставленные памятники», «Пик позора», «Страх гласности», «Перестройщики перестройки», «Вандея», «Так дальше жить нельзя», «Бомбами по балалайкам», «Застенчивые парни». Можно поражаться смелости поэта, его упорству,

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

целеустремленности, готовности пойти на риск.

В эти годы резко активизируется общественная деятельность Е. Евтушенко. Вместе с академиком А. Сахаровым, Ю. Афанасьевым и А. Адамовичем он стал создателем и сопредседателем «Мемориала», становится народным депутатом СССР, одним из организаторов «Апреля» и общества «ППП» («Писатели в поддержку перестройки»). Он выступает против диктатора КПСС и всеилия цензуры. Поэт ярко проявляет себя как *публицист*. В 1981 году он выпускает сборник статей «Точка опоры»; в 1983 году публикует книгу «Война — это антикультура»; в 1986 году дает интервью на тему «Хотят ли русские войны?»; в 1988 году печатает в «Московских новостях» статью «Партия беспартийных», а в сборнике «Если по совести» публикует статью о проблемах перестройки «Притерпелось».

Евгений Евтушенко часто совершает поездки за границу. Он побывал в 94 странах, где выступал как подлинный полпред нашей страны; был корреспондентом «Правды», «Известий», «Комсомольской правды»; читал свои стихи в вузах, колледжах, на стадионах, в концертных залах. Итогом каждой такой поездки становился соответствующий цикл стихов. Так, в результате неоднократного пребывания на Кубе поэт создает великолепный кубинский цикл произведений. Он почувствовал на этом острове многое, близкое и созвучное собственной натуре. Среди этих стихотворений яркостью красок выделяется «Королева красоты», психологизмом — «Допрос под Брамса», динамикой — «Три минуты правды», боевым настроением — «Фрамбайон». Во многих из них ощущаются героика, авторский энтузиазм, плакатность, контрастность характеристик.

Став участником международного фестиваля молодежи в Хельсинки, поэт проявил присущую ему быстроту политической реакции и в ответ на про-

вокацию фашиствующих молодчиков пишет пламенное стихотворение «Сопливый фашизм», тут же переведенное и облеченное все делегации. Обратившись к хельсинкской скульптурной группе, изображающей кузнецов, автор призывает их вступить в схватку: «Вы подняли бы бронзовые молоты и разнесли бы в клочья эту шваль!» Побывав дважды в Чили, Евтушенко создает чилийский цикл стихов, посвященных победе Народного единства и отразивших реакцию, наступившую в стране после его поражения. Это и «Послание Пабло Неруде», и «Расстрелы в Сантьяго», и «У рудника Чукикамата», и «Свободу товарищу Лучо!».

Поездка в Испанию вызвала к жизни запоминающиеся стихи типа «Дон Кихот». По словам обозревателей, «Важным событием, сыгравшим роль своего рода катализатора, вызвавшего резкий подъем интереса к нашей стране, к советской культуре, литературе, был приезд в Испанию в 1965 году поэта Е. Евтушенко. Выступления поэта, публикация его произведений, по мнению испанской, а особенно каталонской, критики, наряду с произведениями Горького и Маяковского, способствовали становлению каталонской реалистической школы»⁷.

Пребывание в Италии подвигло поэта на создание оригинального, интересного с точки зрения выразительности и ритмики итальянского цикла. Сюда вошли «Жара в Риме», «Факкино», «Римские цены» и др.

Командировка в воюющий Вьетнам отмечена прекрасным вьетнамским циклом, составленным из таких произведений, как «Убитые дома», «Долгий дождь», «Вьетнамская самодеятельность», «Разбомбленный Будда», «Гордая бедность», «Хватит бомб!». Вошедшие в особый сборник «Дорога номер один» (1972), они имели большой общественный резонанс.

Неоднократно Евтушенко бывал в Соединенных Штатах Америки. Впер-

вые он приехал туда в 1960 году как турист с 33 долларами на карманные расходы и тремя выученными английскими словами. Через шесть лет он уже официально ездил по дорогам этой страны, выступив в 28 колледжах. Были не только аплодисменты, но и оскорбления как советского человека, и нападения. Его профессорскую мантию (по случаю вручения *Honoris causa*) хулиганы разорвали в клочья. В 1972 году антисоветчики столкнули его со сцены и начали бить. Подобные вояжи давались нелегко. Зато шумный успех был в медицинском институте. В издательстве «Даблдэй» опубликовали сборник его стихов. А на поэтическом вечере в Принстоне собралось беспрецедентное число посетителей. Туда специально приехала вдова Хемингуэя. Поэта представляли в Нью-Йорке Артур Миллер, Роберт Лоуэлл, Джон Апдайк. Присутствовал Джон Стейнбек. Евтушенко принимали У Тан и Роберт Кеннеди. По словам А. Тодда, трудно себе представить более целенаправленную творческую биографию, чем биография Евтушенко.

Для всех этих поездок понадобилось изучить английский, испанский, французский, и поэт проявил упорство и иные свойства *полиглота*.

В своих поэтических сборниках 90-х и 2000-х годов — «Нет лет: Любимая лирика» (1993), «Поздние слезы» (1995) — Е. Евтушенко развивает свои излюбленные жанры. Это лирическая эпитафия (вспомним прежние произведения этого жанра: «Так уходила Пьяв», «Он любил тебя, жизнь», «Памяти Урбанского»); «На смерть абхазского друга» (1995), «Памяти Этери Когония» (1994), «Памяти грузинского друга» (1995), «Над могилой Дубчека» (2005); жанр лирического портрета: «Автор стихотворения “Коммунисты, вперед!”», «Горбачев в Оклахоме»; элегия: «Черная смородина» (1991); лирический монолог: «Монолог чучела» (1992); жанр памфлета: «Подавляющее большинство» (1989), «На-

ша свобода» (1992); открытое письмо и послание: «Открытое письмо генеральному прокурору СССР» (1991), «Михаилу Шемякину» (1992).

Позднее творчество Евтушенко отличаются зрелость и одновременно усиление скепсиса, иронии и разочарования в утрате прежних идеалов. Оно, как и раньше, отражает мироощущение многих. Ч. Айтматов заметил: «Если бы меня спросили, кого я больше чту — раннего или позднего Евтушенко, конечно, позднего, умудренного в чем-то, если хотите, более трагичного, но ностальгия по ранним его вещам вдруг перехватывает горло до слез...»⁸ Отмеченным скептицизмом отличаются самые поздние стихотворения поэта — «В защиту грамматики», «Разговор с убранным памятником», «Ода лопате» (все — 2010 года).

Из культивируемых Е. Евтушенко жанров самым устойчивым остается *жанр поэмы*. К нему он обратился еще в 1953–1956 годах, когда создавал первое обобщение своего жизненного опыта — поэму «Станция Зима». В ней сказалась присущая поэту лирическая исповедальность, память о военном детстве, тяготение к бытовизму. Далее последовала «Братская ГЭС» (1965), отмеченная эпической панорамностью, многоплановостью, лиризмом, постоянным присутствием автора, включенностью в ее структуру баллад и вставных новелл. Глубокое истолкование этого значительного произведения поэта дал в том же году критик А. Макаров⁹, назвавший «Братскую ГЭС» новой «исповедью сына века». Примечательно, что поэма была выставлена на соискание Ленинской премии, но нашлись критики, которые воспрепятствовали присуждению награды. И тогда норвежский автор Мартин Нага выступил с защитой поэмы в своем «Открытом письме».

Следующими произведения Евтушенко в жанре поэмы стали: «Коррида» (1967), проникнутая гуманным

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

пафосом и построенная на напряженном диалоге зрителей, быка, тореро и даже арены; «Под кожей статуи Свободы» (1968), поэма, соединившая в себе стихотворные главы и фрагменты ритмизированной прозы, где идет размышление о затянувшемся кровопролитии, начиная от убийства в Угличе царевича Дмитрия и кончая убийством в американском Далласе президента Кеннеди. Затем последовали «Казанский университет» (1970), поэма об истории свободолюбия в России, которое объединило различные течения русской общественной мысли; «В полный рост» (1973), где сквозным лейтмотивом оказывается судьба и подвиг Александра Матросова; поэма «Просека» (1975) о людях, совершающих подвиги на строительстве БАМа, как бригадир лесоповальщиков Кондрашин; «Ивановские ситцы» (1976), произведение, ассоциативно связывающее эпизоды далекого прошлого (ссылка Ивана Федорова) с картинами и образами современности (ивановскими ткачами) в единое размышление о трудовом подвиге разных Иванов; «Северная надбавка» (1977) о характере и судьбе молодого рабочего Петра Щепочкина, быт и бытие которого заслуживают самого пристального рассмотрения.

80-е годы отмечены созданием поэм широкого исторического дыхания и интернационального пафоса, в высшей степени характерного для творчества Евтушенко. Это поэма 1980 года «Неправда», посвященная Куликовской битве, которая осмысливается в контексте мировых сражений за право каждого народа быть независимым и жить достойной жизнью. Это стихотворная повесть «Голубь в Сантьяго» (1980), действие которой происходит в Чили в период активизации там фашистских элементов. Одна из сюжетных линий произведения повествует о чилийском юноше, бросившемся с крыши гостиницы и убившем своим телом безвинного голубя. Образная сила по-

вести была такова, что она, по словам поэта, спасла от самоубийства более трехсот человек в разных странах. Это большая поэма «Мама и нейтронная бомба» (1982), содержащая страстный призыв остановить бесчеловечных экспериментаторов с новым оружием массового уничтожения людей. Написанная верлибром, свободным безрифменным стихом, поэма рисует кошмарную всемирную елку погибших в разных странах детей, образ мамы, продающей в киоске Перуджи послезавтрашние газеты с сообщением о прекращении войн, и великую труженицу бабушку Ганну, которую участники марша мира несут «над людьми и веками». Это поэма «Фуку!» (1985), название которой переводится с индейского наречия как табу на произнесение имени. Она образно и публицистически остро осмысляет историю XX века как поединок добра и зла, свободы и фашистского рабства. Чередуя стихи и прозу, поэт смело использует приемы условности, гиперболу и гротеск.

После большого перерыва Е. Евтушенко вновь обращается к поэме в 1996 году, когда публикует «Тринадцать». Уже само название, образный строй поэмы, интертекстуальные вкрапления напоминают блоковскую поэму «Двенадцать». Но в отличие от своего великого предшественника Евтушенко отнюдь не приветствует и не благословляет происходящее в Москве в самом начале 90-х годов. Об этом красноречиво говорят и «чертова дюжина» героев, и слышимые на улицах возгласы, и дикие призывы, и авторские вмешательства в разворачивающееся действие: «Марш-марш назад,/ Наш русский зоосад!» Автор улавливает один из призывов: «Нам бы Адольфа Виссарионыча!» Он с глубокой болью констатирует, что «республики, как листья, облетели со ствола» и что тринадцать работают «идут вразвалку, лениво треплются/идут по родине, разбитой вдребезги». Позиция повест-

вователя достаточно сложна: он не столько предлагает рецепты, сколько задает вопросы: «Куда идут сегодня танки?/Неужто вновь на Белый дом, на демократии останки или на сброд, засевающий в нем?» Увы, и Христос тоже не шагает впереди тринадцати работяг, ибо ему нет места в обстановке, где «свобода/лишь для хапанья нужна».

Евтушенко — человек, многогранно одаренный, разносторонне талантливый. Параллельно стихам и поэмам он на протяжении всей своей творческой жизни *создает прозу*. От малых эпических форм он поступательно двигался к формам крупным. Сначала это были рассказы: «Четвертая Мещанская» (1959) — пронизанный ностальгической интонацией рассказ об улице детства; «Куриный бог» (1963) — повествование о камушке, приносящем счастье. Затем последовала поэма в прозе «Я — Куба» (1963) — калейдоскоп сочных эпизодов из жизни острова в Карибском море, сопряженных по принципу кинематографического монтажа. Далее Евтушенко создает две повести: «Пирл-Харбор» (1967), навеянный поездкой на Гавайские острова и повествующий об американце и японце, судьбы которых оказались связанными с американской базой, разрушенной японской авиацией в 1941 году; «Ардабиола» (1980) — повесть, построенная на смешении реальности и фантастики, говорящая о гибельности «вещизма» и преступности. Наконец, поэт обратился к жанру романа. «Ягодные места» (1981) — роман, в котором действие перемещается в пространстве и во времени и сплетаются судьбы различных людей — лесника, поэта, ученого Циолковского. В. Распутин отметил творческую свободу и жанровое своеобразие этого произведения. Роман «Не умирай прежде смерти» (1993) причудливо соединил драматические ситуации перестроенного времени с легкостью и полетом русской сказки. М. Горбачев достойно представил это произведение амери-

канскому читателю, а профессор Стивен Коэн остроумно заметил: этот роман подтверждает, что Евтушенко никогда не умрет прежде своей смерти и что его голос будет жить всегда.

Поэт является также отличным *мемуаристом*. Он автор мемуарной книги «Волчий паспорт» (1998) и солидного тома мемуарной прозы «Шестидесантник» (2008).

Евтушенко часто выступает как *критик*. Его перу принадлежит множество критических статей о двух поэтических поколениях, о поэзии Вл. Соколова, Б. Слуцкого, А. Межирова, Я. Смелякова, Г. Горбовского, П. Антокольского, о стихах С. Чекмарева, прозе В. Конецкого, Н. Тарасова, повести Л. Сабининой, о выставке С. Русева. Евтушенко — автор *статьи о спектакле* «Павшие и живые» в Театре на Таганке; по его поэме в том же театре был поставлен спектакль «Под кожей статуи Свободы», острый, гражданский, блестящий.

Евгений Александрович — еще и *исследователь литературы*. Он автор глубокого анализа прозы Андрея Платонова и заметок о романе Л. Толстого «Анна Каренина» под названием «Восстание Анны». Евтушенко — *редактор* многих книг, *составитель* антологий, радио- и телепрограмм, автор статей на конвертах пластинок об А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштаме, С. Есенине, С. Кирсанове, Н. Матвеевой, Р. Казаковой, Б. Окуджаве, Е. Винокурове. Он составитель и автор великолепной антологии «Строфы века», вышедшей на английском языке в США (1993) и русском (1995). Виктор Астафьев писал об этом труде: «Основное радостное чтение последних месяцев — антология поэзии “Строфы века”, составленная Евтушенко. То, что сделал Евтушенко, — подвиг»¹⁰.

Отличный *чтец*, он мастерски доносил до слушателей стихи А. Блока, Н. Гумилева, В. Маяковского, А. Твардовского и свои собственные строфы.

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

Многие помнят его передачи «Поэт в России — больше, чем поэт». Он еще и великолепный педагог. Уильям Стайрон говорил о нем как талантливом лекторе, который воспламенял студентов.

Еще одна грань дарования Евтушенко — *фотоискусство*. Его фото-выставка «Невидимые нити» демонстрировалась в 14 городах бывшего СССР, в Англии и Италии. В 1984 году она экспонировалась в Ленинграде. Рабочий Б. Пугачев так отозвался об увиденном: «Он и фотограф, и поэт/Насыщен самым добрым светом./Любой его фотопортрет/Напоминает нам об этом». Особенно хороши у автора выставки «Сибирские старухи», «Улыбка Азии», «Пятки Пиросмани».

Все сказанное выше убеждает в том, что поэт, чтец и фотограф должен был прийти к *искусству кино*. Первым шагом в этом направлении был киносценарий, который он создал совместно с кубинским поэтом Энрико Гинедом Барнетом по поэме в прозе «Я — Куба». Сценарий лег в основу фильма (1964), поставленного режиссером М. Калатозовым и оператором С. Урусевским. Вторым шагом стало исполнение роли К. Циолковского в фильме С. Кулиша «Взлет» (1979). Третьей ступенью стало создание собственного кинофильма «Детский сад» (1983), в котором поэт выступил и как сценарист, и как режиссер, и как актер. Через 7 лет, в 1990 году, Евтушенко ставит кинофильм «Похороны Сталина», где снова выполняет функции режиссера, сценариста и актера. Ряд кинокритиков и многие читатели восторженно отзывались об этом необычном авторском фильме.

Евтушенко причастен и к *музыке*. Более ста произведений поэта получили музыкальное воплощение. Прежде всего нужно назвать Д. Шостаковича, создавшего 13-ю симфонию на основе стихотворений Евтушенко «Бабий Яр», «Юмор», «В магазине», «Страхи», «Карьера» (1962). Шостакович

создал и вокально-симфоническую поэму «Казнь Степана Разина» на слова Евтушенко (1964). Следует назвать Джерри Силвермена, написавшего «Ночной блюз» на текст «Заклинания». Песни на слова Евтушенко создавали Э. Колмановский («Хотят ли русские войны?», «Товарищ гитара», «Бежит река», «Вальс о вальсе», «В нашем городе дождь», «Американцы, где ваш президент?», «Любимая, спи», «Коммунары не будут рабами»), Н. Богословский («Спасибо вам за тишину»), А. Бабаджанян («Наш непростой советский человек»), А. Эшпай («Мы шагаем по тайге сибирской», «Зашумело клеверное поле»), А. Флярковский («Партбилеты»), С. Крылатов (вокальный цикл «Песнь моя»). Другой вокальный цикл для баса, струнного оркестра и фортепиано сочинил М. Заринь. Р. Карлсон (Латвия) написал романсы на слова Евтушенко. Около тысячи названий содержат музыкальные произведения на его стихи.

Казалось бы, Евтушенко должен быть счастливым человеком. Но жизнь у него была исключительно трудной. Его преследовали, подвергали обструкции, оскорбляли, на него писали доносы, докладные (в том числе Ю. Андропов и В. Семичастный), в ложном свете освещали его биографию, распространяли фальшивые слухи (в том числе о его самоубийстве), высмеивали, запрещали, создавали бесчисленные пародии (В. Павлов, А. Иванов, В. Бахнов, С. Васильев и др.), карикатуры. Он пережил много испытаний в личной жизни, потерял всех соратников по творчеству, друзей-поэтов (В. Некрасова, Е. Винокурова, А. Адамовича, Б. Чичибабина), соавтора его песен (Э. Колмановского). Только руины остались от его дома в Гульрипше. Отсюда такие признания поэта: «Я тот воздух России, который по свету кочует», «Хотел бы нырнуть глубоко-глубоко на Байкале...»

И все-таки, как написали о нем В. Артемов и В. Прищепа, это Чело-

век, которого не победили. Его произведения переведены на 72 языка, издано более 80 книг его стихов. Евтушенко — почетный член Американской академии искусств, действительный член Европейской академии искусств и наук, почетный член Академии изящных искусств в Малаге. Он лауреат Государственной премии СССР; награжден орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» за большие достижения в развитии отечественной литературы. Евтушенко награжден литературной премией «Таропино», премией «Капри». Он — член прав-

ления и секретарь Союза писателей, председатель Комиссии по грузинской литературе; награжден премией им. Галактиона Табидзе. Один из астероидов Солнечной системы назван астрономиями именем Евтушенко.

Заканчивая, приведем слова критика Станислава Лесневского: «Евгений Евтушенко — это потрясающее событие всей нашей жизни и истории». Поэтесса Инна Лисянская добавляет: «Я счастлива, что мне довелось жить в эпоху поэта Евтушенко»¹¹.

Литература

1. Карпов В. Жили-были писатели в Переделкине... М.: Вече, 2002. С. 288.
2. Досталь А. Счастливого пути! // Октябрь. 1952. № 12. С. 187.
3. Тельпугов В. Разведка продолжается // Новый мир. 1955. № 5. С. 247–248.
4. Елкин А. Твои горизонты, жизнь // Комсомольская правда. 1961. 23 июня.
5. Цит. по кн.: Евтушенко Е. Шестидесантник: мемуарная проза. М.: Изд-во Зебра-Е; АСТ, 2008. С. 574.
6. Там же. С. 586
7. Русская классическая и советская литература за рубежом. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 27.
8. Айтматов Ч. Парус поэзии // Е. Евтушенко. Стихотворения и поэмы: В 3 т. М., 1987. С. 5.
9. Макаров А. Раздумья над поэмой Евг. Евтушенко // Знамя. 1965. № 10. С. 227–245.
10. Литературная газета. 1996. 26 июня.
11. Евтушенко Е. Шестидесантник. С. 599.

Владимир Василик

РАЗГОВОР О СОЛЖЕНИЦЫНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

(начало в 5-м выпуске)

По бурной реакции читателей на мою предыдущую статью чувствуется, что разговор о Солженицыне требуется продолжать. И здесь поговорим о многом. О князе Курбском. Об атомной бомбе. Об измене и предательстве. И верности и чести.

Дорогие читатели, вы, наверное, догадались, что речь пойдет о достаточно посредственном романе Солженицына «В круге первом». О нем сравнительно недавно снимали сериал. Посредственный даже с нынешней точки зрения. Ниже среднего по советским параметрам. Однако демократическая пресса нарекла Солженицына новым Толстым. Значит, «В круге первом» нечто вроде «Войны и мира». В чем мораль этого романа?

В том, в частности, что «все животные равны, но некоторые животные равнее других». Что Северно-Американским Штатам позволено иметь ядерную бомбу, а нам не дозволено. Потому что СССР де тирания, ведь во главе стоит тиран усатый. Сталин, то есть. А американцы — «ослы длинноухие», расслабившиеся мирные демократы, которые, как ленивые, жирные коты, позволяют советским разведчикам воровать у них атомную бомбу.

Но находится доблестный дипломат Иннокентий Володин, который, рискуя жизнью, пытается из автомата метро дозвониться, достучаться до «ослов длинноухих», пробить их сытое благодушие и осведомить их, что из их собственного дома воруют ядерное оружие: в Америке русский разведчик

Юрий Коваль должен получить сверхсекретные чертежи бомбы. Однако сего доблестного и, заметим, абсолютно добровольного идейного осведомителя, в свою очередь, заваливает участник войны, также идейный зэк Лев Рубин, который распознает неповторимые контуры его голоса благодаря трудам в области секретной телефонии.

А теперь вопрос — не о правде, а хотя бы о правдоподобии. Фактологическом. Бывает ли так на самом деле? И художественном: убедительно ли?

Любой мало-мальски разумный человек понимает, что в условиях сталинской России звонить в посольство, которое несомненно прослушивается, — явная погибель. Немедленный арест после засечения номера. Да к тому же — со станции метро, где почти круглосуточно дежурит наряд милиции. Гораздо более безопасным было бы послать письмо. Написанное, скажем, левой рукой. И упакованное в перчатках. Чтобы и пальчики не оставить.

Ну да, возразите вы. А канун Рождества? А полный отдых посольства? А возможность попадания письма в МГБ и мимо адресата? А на это ответ прост. Кто такой Иннокентий Володин? Правильно, советник первого ранга. Профессиональный дипломат. Неужели у него не нашлось своих способов, своих каналов донести такую информацию до американцев, с которыми он профессионально работал? И далее, судя по роману, эта информация приходит к Володину перед его

командировкой в США. Для чего? Для того, чтобы он воспользовался ею за рубежом. Все... И сюжет выходит надуманный.

Но главное даже и не в этом. Действие происходит 25 декабря 1949 — 1 января 1950 г. В годовщину сталинского семидесятилетия. А первое испытание советской ядерной бомбы произошло за полгода до этого — 25 августа 1949 г. В романе пропагандируется ядовитый миф о том, что бомбу мы украли у американцев, которые (подразумевается) ее изобрели. Целомудренно умалчивается о том, что американцы не сделали бы бомбу без выкачки лучших европейских мозгов, например Нильса Бора, которого в буквальном смысле слова похитили и вывозили в бомбовом отсеке бомбардировщика из Дании. Чтобы в случае чего сбросить вниз. Если немцы погонятся.

Кстати, об «ослах длинноухих». И о их благодущии, и о терроре. В случае «ядерного проекта» американцы не колебались действовать методами солженицыновского героя генерала Фомы Осколупова: «Обоих сукиных сынов и арестуем». Общеизвестна судьба несчастных физиков супругов Розенбергов: по простому подозрению в сотрудничестве с советской разведкой против этих людей сфабриковали дело и посадили на электрический стул.

И другое. Действительно, некоторые секреты, переданные советской разведке отчаянно смелым и честным физиком Клаусом Фуком, сыграли свою роль в ускорении советского ядерного проекта. Но без своей собственной научной и технологической базы, нарабатанной к 1943 году — году начала советского ядерного проекта, они были бы практически бесполезны. Это почти все равно, что папуасам рассказывать о ядерной физике. Или предлагать Ивану Грозному полететь в космос. Создание советской ядерной бомбы было всенародным подвигом — страна, разрушенная войной, потерявшая 40% своего промышленного потенциала, сделала бомбу за тот же срок, что и сытые, не воевавшие на своей

территории Северно-Американские Штаты, начавшие соответствующие разработки в 1939 году. И, в отличие от них, эту бомбу ни разу не применила в боевых условиях.

Солженицын пугает нас страшилками о тиране, который получит в свои руки сверхоружие. Показательно, однако, что в «Круге первом» нет японских слов — Хиросима и хибакуся.

После войны была издана очень показательная брошюрка с документальными воспоминаниями экипажа бомбардировщика «Энола Гей», доставившего к Хиросиме первую атомную бомбу «Малыш». Что чувствовали эти двенадцать человек, когда увидели под собой город, превращенный ими в пепел?

«СТИБОРИК. Прежде наш 509-й сводный авиаполк постоянно дразнили. Когда соседи досветла отправлялись на вылеты, они швыряли камни в наши бараки. Зато когда мы сбросили бомбу, все увидели, что и мы лихие парни.

ЛЮИС. До полета весь экипаж был проинструктирован. Тиббетс утверждал потом, будто бы он один был в курсе дела. Это чепуха: все знали.

ДЖЕППСОН. Примерно через полтора часа после взлета я спустился в бомбовый отсек. Там стояла приятная прохлада. Парсонсу и мне надо было поставить все на боевой взвод и снять предохранители. Я до сих пор храню их как сувениры. Потом снова можно было любоваться океаном. Каждый был занят своим делом. Кто-то напевал “Сентиментальное путешествие” — самую популярную песенку августа 1945 года.

ЛЮИС. Командир дремал. Иногда и я покидал свое кресло. Машину держал на курсе автопилот. Нашей основной целью была Хиросима, запасными — Кокура и Нагасаки.

ВАНКИРК. Погода должна была решить, какой из этих городов нам предстояло избрать для бомбежки.

КЭРОН. Радист ждал сигнала от трех “сверхкрепостей”, летевших впереди для метеоразведки. А мне из хвостового отсека были видны два “Б-29”,

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

сопровождая нас сзади. Один из них должен был вести фотосъемку, а другой — доставить к месту взрыва измерительную аппаратуру.

ФЕРИБИ. Мы очень удачно, с первого захода, вышли на цель. Я видел ее издалека, так что моя задача была простой.

НЕЛЬСОН. Как только бомба отделилась, самолет развернулся градусов на 160 и резко пошел на снижение, чтобы набрать скорость. Все надели темные очки.

ДЖЕППСОН. Это ожидание было самым тревожным моментом полета. Я знал, что бомба будет падать 47 секунд, и начал считать в уме, но, когда дошел до 47, ничего не произошло. Потом я вспомнил, что ударной волне еще потребуется время, чтобы догнать нас, и как раз тут-то она и пришла.

ТИББЕТС. Самолет вдруг бросило вниз, он задрезжал, как железная крыша. Хвостовой стрелок видел, как ударная волна, словно сияние, приближалась к нам. Он не знал, что это такое. О приближении волны он предупредил нас сигналом. Самолет провалился еще больше, и мне показалось, что над нами взорвался зенитный снаряд.

КЭРОН. Я делал снимки. Это было захватывающее зрелище. Гриб пепельно-серого дыма с красной сердцевинкой. Видно было, что там внутри все горит. Мне было приказано сосчитать пожары. Черт побери, я сразу же понял, что это немыслимо! Крутящаяся, кипящая мгла, похожая на лаву, закрывала город и растекалась в стороны к подножиям холмов.

ШУМАРД. Все в этом облаке было смертью. Вместе с дымом вверх летели какие-то черные обломки. Один из нас сказал: “Это души японцев возносятся на небо”.

БЕСЕР. Да, в городе пылало все, что только могло гореть. “Ребята, вы только что сбросили первую в истории атомную бомбу!” — раздался в шлемофонах голос полковника Тиббетса. Я записывал все на пленку, но потом кто-то упрятал все эти записи под замок.

КЭРОН. На обратном пути командир спросил меня, что я думаю о полете. “Это похлеще, чем за четверть доллара съехать на собственном заду с горы в парке Кони-айленд”, — пошутил я. “Тогда я соберу с вас по четвертаку, когда мы сядем!” — засмеялся полковник. “Придется подождать до получки!” — ответили мы хором.

ВАНКИРК. Главная мысль была, конечно, о себе: поскорее выбраться из всего этого и вернуться целым.

ФЕРИБИ. Капитан первого ранга Парсонс и я должны были составить рапорт, чтобы послать его президенту через Гуам.

ТИББЕТС. Никакие условные выражения, о которых было договорено, не годились, и мы решили передать телеграмму открытым текстом. Я не помню ее дословно, но там говорилось, что результаты бомбежки превосходят все ожидания».

Кажется, здесь все ясно. Обыкновенный фашизм, еще более страшный в своей пошлости.

А вот что увидели первые очевидцы с земли. Вот репортаж Бирта Брэтчета, побывавшего в Хиросиме в сентябре 1945 г.: «Утром 3 сентября Бэрчетт сошел с поезда в Хиросиме, став первым иностранным корреспондентом, который увидел этот город после атомного взрыва. Вместе с японским журналистом Накамура из телеграфного агентства *Киодо Цусин* Бэрчетт обошел бескрайнее красноватое пепелище, побывал на уличных пунктах первой помощи. И там же, среди развалин и стонов, отступал на машинке свой репортаж, озаглавленный: “Я пишу об этом, чтобы предостеречь мир...”

Почти через месяц после того, как первая атомная бомба разрушила Хиросиму, в городе продолжают умирать люди — загадочно и ужасно. Горожане, не пострадавшие в день катастрофы, погибают от неизвестной болезни, которую я не могу назвать иначе, как атомной чумой. Без всякой видимой причины их здоровье начинает ухудшаться. У них выпадают волосы, на теле появляются пятна, начинается

кровотечение из ушей, носа и рта. Хиросима, — писал Бэрчетт, — не похожа на город, пострадавший от обычной бомбежки. Впечатление такое, будто по улице прошел гигантский каток, раздавив все живое. На этом первом живом полигоне, где была испытана сила атомной бомбы, я увидел невыразимое словами, кошмарное опустошение, какого я не встречал нигде за четыре года войны»¹.

Вот что ждало бы нас, если бы не советский урановый проект. Безусловно, преступления, совершенные при Сталине, страшны и прежде всего — гонения на Церковь, ссылки и расстрелы священнослужителей и мирян, коллективизация, всероссийский (а не только украинский) голодомор, которые надломили народную жизнь. Однако не будем забывать, что сейчас мы живем плодами сталинско-брежневской индустриализации, немыслимой без коллективизации (тот же нефтегазовый комплекс, например), и если сейчас государство Российское независимо и пока неуязвимо для внешней агрессии, если на наших просторах не повторяется трагедия Югославии и Ирака, то это во многом благодаря ВПК и ракетно-ядерному щиту, заложенному при Сталине. И если нас после войны не сожгли в ядерном огне американцы, как Хиросиму и Нагасаки, то в определенной мере мы обязаны этим Сталину как инициатору ядерного проекта.

Но Солженицын как раз сохранение СССР и считает преступлением. Для него это тюрьма во главе с людоедом. Вот ключевая цитата:

«— Кто прав, кто виноват? Кто это может сказать? — Да я тебе скажу! — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!

— Как-как-как? — задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

— Вот так, — с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину: — [Волкодав прав, а людоед — нет]. И, приклонившись, горячодохнул из-под усов в лицо Нержину:

— Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолет, на ем бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и еще миллион людей, но с вами — Отца Усатого и все заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах?

Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву.

— Я, Глеба, согласишься? нет больше терпежу! терпежу — не осталось! я бы сказал, — он вывернул голову к самолету: — А ну! ну! кидай! Рушь!! — Лицо Спиридона было перекошено усталостью и мукой. На красноватые нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе».

Ну да, чтобы не страдал. Гильотина как средство от головной боли... И кто на самом деле людоед? Может, все-таки Трумэн и экипаж «Энолы Гэй»?

Когда я читал «В круге первом», то не мог отделаться от ощущения, что это все я слышал. В поэтической форме. Из прекрасного эмигрантского далека.

Россия тридцать лет живет в тюрьме.

На Соловках или на Колыме.

И лишь на Колыме и Соловках

Россия та, что будет жить в веках.

Все остальное — планетарный ад:

Проклятый Кремль, безумный Сталинград.

Они достойны только одного —

Огня испепеляющего его.

Это — стихи Георгия Иванова, по словам прот. Георгия Митрофанова, «замечательного русского патриота», написанные в 1949 году. Об этих стихах метко высказался профессор Алексей Светозарский: «Чего же ожидать от сего славного сына Серебряного

¹ Овчинников В. Горячий пепел. М., 1987. С. 142.

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

века? Мечи картонные и кровь для них, особенно чужая, — “клюквенный сок”, в том числе и та, что лилась под Сталинградом. Ну а то, что и Кремль, и Сталинград достойны “испепеляющего” огня, то в этом “патриот”, сам благополучно пересидевший и войну, и оккупацию в тихом французском захолустье, был, увы, не одинок в своем желании. Об “очищающем” огне ядерной войны говорилось в Пасхальном послании 1948 года Архиерейского Синода Русской Православной Церкви За границей. Было такое слово. Но, к счастью, не дело. Кстати, может быть, этим посланием и навеяны эти вирши “одного из самых выдающихся поэтов русского зарубежья”? Кто знает?»

Заметим, кстати, что в 1949 году (год написания этого стихотворения) слова об испепеляющем огне опирались на солидный военный фундамент — сто атомных бомб США, готовых обрушиться на СССР. Так что данная риторика не столь безобидна, как кажется.

То, что Солженицын зависим от зарубежных концепций, — не новость. Но страшно, что он вольно или невольно информационно обслуживал возможное ядерное нападение на СССР.

А с художественной точки зрения совсем неубедителен и его главный герой Иннокентий Володин. Герой, готовый идти торпедой на сталинский линкор. А кто он на самом деле?

«Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим министерства иностранных дел».

Он был из тех, кто уберется от мобилизации и войны своим высоким положением. «Советский Союз отступал, наступал, голодал, а они веселились на пляжах, за границей». Это — рыхлый, изнеженный, неумелый человек. И он с его опытом идет на такой подвиг? Ведь Солженицын в «Архипелаге» справедливо замечает, что подвиг и стойкость в испытаниях зависит от жизненного костяка. У Володина он никакой.

А впрочем, в образе Володина есть известная правда жизни. Сытое безделье подвигло декабристов на их мятеж 14 декабря против благодетеля-царя. Оно же подвигало детей номенклатуры выходить на профашистские демонстрации в начале восьмидесятых. Но тогда какова цена этому подвигу?

В «Круге первом» для Володина появляется удачный эпитет. Князь Курбский. Готовый восстать против тирана Грозного. Только Курбский несостоявшийся. И в этом — суть конфликта. Знатный предатель, переметчик, идущий против державца Земли Русской. И, объективно, против своей Родины. Готовый участвовать в ее сожжении ядерным огнем. На почве слепой ненависти к своему благодетелю и отцу, пусть временами суровому и жестокому.

И напоследок еще одно. Иннокентий участвует в предательстве. Не только Российской державы в целом. В его звонке — судьба разведчика Юрия Коваля и его американских помощников, которых он готов посадить на электрический стул. Ради своей мечты и ненависти. И Солженицын воспекает этот доподлинный Иудин грех.

Ведал ли он что творил? И кто ему в этом помогал? Об этом — следующие публикации.

Владимир Хилько

В ДЕБРЯХ ПОНИМАНИЯ, ИЛИ ЗАБЛУДИВШИСЬ В ТРЕХ СОСНАХ

Часть 3. Обучение различению

(начало в 6-м, 8-м и 9-м выпусках)

Когда много лет назад я готовил дипломную работу по окончании вуза (это был Ленинградский институт авиационного приборостроения, ныне ГУАП), один из последних уроков в нем мне преподавал руководитель дипломного проекта. Исходя из располагаемых мною данных, я тогда самоуверенно заявил, будто реализовать на практике некий преобразователь сигнала невозможно. Преподаватель вежливо возразил — если я не знаю, как его сделать, и он сам пока также не знает, это вовсе не означает, что устройство принципиально сделать нельзя. Возможно, его смогут реализовать в будущем. А может, мы просто не располагаем информацией о том, что оно уже сделано. Вывод: остерегайся категоричных заявлений, когда недостаточно оснований для уверенности в своей правоте.

В истории техники подтверждений тому немало. Например, один известный специалист публично заявил о невозможности решения задачи перевода стрелок без выхода вагоновожатого из вагона или привлечения другого лица как принципиальном недостатке трамвайного движения, а впоследствии выяснилось, что принцип дистанционного перевода из кабины вагоновожатого изобретен примерно в это самое время.

Имеем следующую картину. Одни люди решают задачи, которые другие решить не могут. Более того, некоторые из тех, кто не видит решения, даже

утверждают, что его (решения) принципиально не существует.

Вопрос: почему находится решение у одних и возникает уверенность в его невозможности у других?

Самый простой ответ — потому что способности и образование у людей разные. Одни от рождения изначально способнее других, им «дано» лучше видеть, глубже мыслить и т. д. Они видят то, что другие не видят, понимают без необходимости обучения то, что другие понять не способны, — и потому находят решение. Другие от рождения не наделены способностями, к тому же часто упрямы и могут видеть только то, что хотят или что смогли усвоить в детстве, — потому не способны решить новую для них задачу. А еще одни лучше обучены, чем другие решать конкретные задачи.

Так все-таки способности или образование, или то и другое поровну? Или в какой другой пропорции?

Чтобы разобраться в этом, очевидно, нужно выяснить сущность механизма нахождения решения задачи.

Вряд ли можно отрицать то, что разные люди от рождения обладают разными способностями. Действительно, одни способнее других в одной области или во многих одновременно. Но если решение задачи рассмотреть как акт проверяемого на практике соответствия полученного результата заданным условиям, то становится ясно, что дело не в способностях, а в методе.

Тот, кто решает, находит такую взаимосвязь событий и явлений, которая позволяет найти способ решения. Тот, кто не решает, не находит такой взаимосвязи, то есть видит проблему однобоко, «от рождения» или от достигнутого уровня развития — с тех сторон, которые недостаточны для нахождения решения. Если при этом упрям — может настаивать на единственно верном собственном взгляде (это тяжелый случай). Если нет — просто может посчитать себя недостаточно способным.

А вот это зря! Получается, что принципиальная разница между решающими и не решающими задачу на самом деле незначительна. Она сводится только к широте взгляда на проблему, к возможности ее мысленного «охвата» с разных сторон. Такой охват выявит взаимосвязь явлений, среди них и найдется та, которая будет достаточной для нахождения решения. То есть *если культивировать в себе, развивать такой взгляд — мысленный разносторонний охват проблемы, — элементарно можно стать «способнее».*

Получается, что если правильно организовать систему обучения, то при условии наличия желания, конечно, можно развить в себе ранее не проявившиеся явно способности.

Поскольку выше в качестве объекта для изучения рассматривалась область мыслительной деятельности, связанная с решением таких задач, которые имеют практическую направленность, пока ограничим сферу применимости этого заявления. Будем считать, что можно развить в себе логические способности.

Для наглядности рассмотрим случай с трамвайными стрелками. Попробуем смоделировать взгляд на проблему с разных сторон — того, кто ее решил первым более чем столетие назад, и того, кто отрицал возможность ее решения.

Трамвай — электрический вид транспорта. Следовательно, для пере-

вода стрелок можно использовать электромагнит. Но как им управлять из кабины вагоновожатого? Никаких радиоуправлений еще нет. Для этого нужно внимательно проанализировать средства электрического управления, которые имеются у вагоновожатого. Их немного. Однако есть главное — это включение и выключение тягового электродвигателя. Когда двигатель включен, через него течет ток. И наоборот. Если включить тяговый двигатель в цепь с электромагнитом, то можно управлять последним. Сделать это можно, оторвав пантограф трамвая от контактной сети на время, достаточное для переключения стрелки. Для продолжения движения трамвая в этот промежуток времени нужно использовать его инерционность. Тогда механизм дистанционного управления (слегка упрощенно, конечно) выстраивается следующим образом. При подходе к стрелке пантограф трамвая отрывается от контактной сети и временно переключается на контактор цепи стрелки (это устройство вы можете увидеть сами — оно представляет собой проводник, висящий ниже уровня контактного провода). Тяговый электродвигатель трамвая в этот момент не может получить ток, достаточный для продолжения движения. Трамвай движется только за счет инерции. Однако если в момент прохождения пантографа по контактору стрелки тяговый двигатель находится в положении «Включен», через него и одновременно цепь электромагнита стрелки течет ток, достаточный для того, чтобы в конечном итоге стрелка переключилась из исходного положения «Направо» (например) в положение «Налево». Если электродвигатель не включается — стрелка остается в исходном положении. Вернуть переключенную стрелку в исходное положение после прохождения через нее трамвая можно аналогичным образом.

Таким образом, суть метода решения этой задачи сводится к двум простым вещам:

— выявлению доступного вагоновожатому управляющего действия (включение-выключение тягового электродвигателя), которое можно использовать для превращения электромагнита в механизм перевода стрелки;

— нахождению способа использования этого управляющего действия путем применения дополнительного устройства, подключающего его к цепи электромагнита стрелки.

Гениально просто и очень надежно. Недостатком является лишь отсутствие тяги в момент отрыва пантографа от силовой контактной сети — в случае, например, экстренной остановки в таком положении сдвинуть трамвай с места без сторонней силы не получится.

Тот, кто отрицал возможность решения этой задачи, фактически ограничился декларативным заявлением (сам не знаю — значит, и другие тоже не знают). Поиск решения велся только в области усвоенного материала, который и стал пределом развития. Напрашивается широко известная аналогия с поиском потерянного ключа. Человек, сам не зная, где потерял ключ, ищет его ночью под уличным фонарем. На вопрос: «Почему ты именно здесь его ищешь?» он отвечает: «Здесь легче искать...»

Казалось бы, если сам не имеешь потенциала для анализа проблемы — дай возможность сделать это другим. На практике же получается «как всегда» — раз сам не умею, то и другим не дам. Это к будущему важнейшему вопросу организации управления обществом в целом и таким ее особенностям, из-за которых хронически культивируется отставание в разных областях. Многие, очень многие не видят или не желают видеть такие особенности. Этому можно найти оправдания. У нас были просто грандиозные достижения. Мы победили в страшной

войне. Мы первыми вышли в космос. Уже кажется, что лозунги «Победителей не судят», «Победа любой ценой», «Цель оправдывает средства» абсолютны и универсальны. Однако мы постоянно кого-то в чем-то догоняем, зачастую разрушая при этом то хорошее, что было достигнуто ранее. Может, это как раз из-за того, что связь цены побед, последствий других жертв с развалом страны, например, не усматривается? Пока уверенно доминирует убежденность о том, что конкретные плохие руководители и являются единственными виновниками развала. Но они у нас все время почему-то рождаются, воспитываются и назначаются на руководящие должности. Казалось бы, подобная картина должна навести на мысль, что причина бед не в плохих руководителях, а в том, откуда они берутся. Может, пора и в этом вопросе разобраться в причинах?

Возвращаясь к методу решения задач, констатируем следующее. Если задача не решается — нужно изменить, расширить взгляд на проблему. Более того, если решение уже видится, все равно нужно рассмотреть проблему с разных сторон, чтобы избежать такого решения, которое является следствием однобокого взгляда. Такое решение окажется неправильным.

Подобный подход не является революционным. Метод «мозгового штурма», когда разными людьми высказываются разные мысли по исследуемой теме, известен давно. Мы имеем возможность регулярно оценивать силу игрового варианта этого метода в телепередаче «Что? Где? Когда?».

Аналог «мозгового штурма» как метод поиска правильного решения может быть использован и одним человеком. В качестве иллюстрации обратимся к истории.

Известен факт, когда в процессе реализации проекта по созданию атомной бомбы выдающийся датский физик Нильс Бор был назначен руково-

дителям работ по созданию ядерного реактора. Эти работы требовали колоссальных инженерных расчетов, связанных с практическим строительством. Инженеры, участвующие в работах, видя, что Нильс Бор плохо разбирается в чертежах, полагали, что он ничего не понимает и в строящихся сооружениях. Однажды ему принесли на утверждение очередной проект. Глядя на чертежи, Нильс Бор долго расспрашивал разработчиков, что означают те или иные условные обозначения. Инженеры были вынуждены терпеливо объяснять ученому назначение элементов конструкции. Мнение о Н. Боре как дилетанте в инженерном деле вроде как подтверждалось. Между тем Н. Бор не спешил и внимательно разбирался в существе проекта по чертежам, которые ему были представлены. Наконец Н. Бор задал вопрос: что будет, если конкретные клапаны, которые в нормальном состоянии закрыты, будут открыты, а те, которые должны быть закрыты, наоборот, откроются? Инженеры удалились на совещание. Их ответ был однозначным — неминуемый взрыв! Проект был переделан так, чтобы исключить возможность возникновения этой катастрофы и других аварий. Непререкаемый авторитет Н. Бора распространился и на инженерное дело.

Отмечаем: положительный результат достигнут Нильсом Бором «всего лишь» после одного «простого» вопроса: «Что будет, если...».

Аналогичный метод использовал известный исследователь и изобретатель в области электричества Никола Тесла.

Метод Н. Теслы можно назвать мысленным моделированием. Его ценность возрастает потому, что о его сущности рассказал сам великий изобретатель.

В своих мемуарах Н. Тесла писал, что не спешил с эмпирической проверкой. Когда появлялась идея, он сразу начинал ее дорабатывать в своем воображении: менял конструкцию,

усовершенствовал и «включал» прибор, чтобы он зажил у него в голове. Подобным образом Н. Тесла был в состоянии развить идею до совершенства, ни до чего не дотрагиваясь руками. Ему было совершенно все равно, подвергал ли он тестированию свое изобретение в лаборатории или в уме. Только тогда он придавал конкретный облик конечному продукту своего мозга. Научившись использовать метод мысленного моделирования, Н. Тесла справедливо отмечал, что внедрение в практику недоработанных, грубых идей — всегда потеря энергии и времени. Творческое воображение Н. Тесла считал преддверием сознательного акта открытия. Под работой над изобретением он, прежде всего, подразумевал борьбу за ментальное очищение, то есть отстранение второстепенных идей и чувственно наполненных мелочей, что размывает ясность изображаемого принципа и усложняет подход к настоящей природе связей между принципиальными элементами. Процесс осознания принципа, по Н. Тесле, завершен и готов к применению, когда установлена связь между элементами. *Открытие, таким образом, рождается в момент осознания соответствия элементов и их физических проявлений, так что в самом алгоритме обнаруживается физический закон, господствующий в действительном мире.*

Дополнительно отмечаем: *мысленно задавая вопросы и отвечая на них, можно обнаружить взаимосвязь между явлениями вплоть до открытия физического закона материального мира.*

Я бы условно сравнил это действие с раскачиванием маятника — нужно увеличивать амплитуду «раскачивания» мыслей вокруг явлений, связанных с проблемой (элементами проблемы), до тех пор, пока не найдется хотя бы одно решение (установится соответствие между рассматриваемыми элементами).

Надеюсь, что заинтересованный читатель уже догадался, почему я его

утомлял, — изложенный выше метод «раскачивания мыслительного маятника» по сути одновременно является и методом развития способности различения явлений или событий.

Нахождение решения — установление взаимосвязей, различение — распознавание отличий. В обоих случаях требуется найти отличительные явления, относящиеся к рассматриваемой проблеме, и только направленность дальнейших действий разная. *При нахождении решения отличия нужно связать в логическую конструкцию, а при различении — наоборот, еще больше разделить по определенным характеризующим признакам.*

Вывод прост. Различение — это метод, а не способность, и ему можно научиться, даже если «от рождения», воспитания или предыдущего образования различение оказалось «недоразвитым». Для того чтобы научиться различать, нужно подвергнуть обособленному сомнению предлагаемые «на веру» или традиционные, устоявшиеся представления, чтобы удостовериться в достоверности оснований, на которых они базируются. Достоверные основания — это проверенные документальные сведения, установленные причинно-следственные связи. Здесь необъятное поле для творчества. Если посмотреть на информацию, которая размещается в Интернете, можно найти уверения в истинности почти всего — Ванга тогда-то предсказала конец чему-либо, и якобы есть книги интересные, с очень умными мыслями (для «подтверждения» страницы прилагаются). При внимательном рассмотрении окажется, что многое из размещенного в Интернете — пустая болтовня или мошеннические подделки. Возникает дилемма. Если совсем отбрасывать информацию, никогда принципиально нового не узнаешь. С другой стороны, не вся информация соответствует действительности. *Поиск достоверности оснований, на которых базируется информация, становится*

необходимостью для любого здравомыслящего человека.

Приведу пример об обучении различению из собственной практики. Это тот самый нетипичный для писательской и поэтической среды пример самообучения, о котором я обещал рассказать в одной из предыдущих статей. Пример немного занудный, но связывает субъективное восприятие с объективными условиями.

Меня всегда окружала та или иная звуковоспроизводящая техника, начиная от репродукторов и ламповых радиоприемников. Много лет назад я смог заняться заменой техники на более совершенную. Тогда у нас появилось много публикаций о том, что объективные (технические) характеристики аппаратуры не могут однозначно отражать ее способность к воспроизведению музыки — эта способность определяется только субъективно, при прослушивании. К этому времени я уже неоднократно читал в специализированных журналах, что для получения хорошего звука важным является качество соединительных проводов, и что они субъективно «звучат по-разному», и к тому же характер звучания зависит от направления их включения. А еще звучание зависит и от полярности включения вилки в электрическую розетку.

Неоднократно пробую менять направление. Разницы не слышу. Делаю вывод: я не способен различать. Закрадывались сомнения и в честности авторов статей в журналах. Поскольку публикаций на эту тему много, делаю не отличающееся глубиной умозаключение: если так много людей пишет о том, что слышит разницу, неужели причина в моем слухе? Надо проверить! Я увеличил количество экспериментов. Включал разные провода. Менял компоненты. В результате поисков и экспериментов разницу, конечно, услышал. Вернее, осознал. Потому что ранее для меня она была неявной. При этом для себя отметил

две причины первоначальной глухоты к изменениям.

Первая — недостаточная разрешающая способность техники. Плохая техника разницу почти не передает, и потому ее трудно услышать. Если усовершенствовать технику, различия становятся явными. Без усовершенствования в моем случае не обошлось.

Вторая причина — во мне. Я хотел услышать одно, а разница оказалась в другом. Чтобы такую разницу услышать, нужно фактически отказаться от собственной предрасположенности. Кстати, теперь я могу услышать разницу и на гораздо худшей технике — появился опыт, я предполагаю, в чем разница может проявиться, и готов искать другие отличия.

Так я научился более определенно слышать.

Среди моего окружения есть люди, которые считают, что не могут слышать подобное. При ненавязчивой проверке чаще всего оказывается, что предпочтения есть, только объяснения этому нет — способности не осознаны, различие не развивается... Или это и не требуется? Интересно, что некоторые технические специалисты — профессионалы в области радиотехники до сих пор уверены, что рассказы о влиянии направления проводов — рекламный ход, придуманный для обеспечения их продаж.

Еще немного о «материалистическом». В одной из предыдущих публикаций я допустил неточность. Теперь ее можно привести в качестве примера того, как нельзя верить изреченному без проверки.

Я тогда заявил, что «сжатие музыкального файла вообще-то невозможно потому, что музыка меняется непрерывно — в ней нет аналога межстрочных интервалов». Действительно, музыкальный сигнал изменчив, но файл сжать все-таки можно. Из-за того, что существуют разные его представления (форматы). В традиционном формате в музыкальном файле есть

«пустоты», которые при желании подаются исключению. Пояснить это можно на следующем примере. Представьте себе склад в виде множества одинаковых ячеек (типа сот в пчелином улье). Размер каждой ячейки одинаков и определен максимальным объемом «груза». В нашем случае это — максимальный объем информации, который образуется при максимальной громкости сигнала. То есть каждая ячейка рассчитана на максимальный «груз», а на практике она оказывается недогруженной — ведь не все время музыка звучит с максимальной громкостью. Если теперь все ячейки загрузить полностью, предварительно разметив груз, мы можем сократить количество ячеек, занимаемых грузом. Степень сжатия будет зависеть от уровня громкости и уровня шумов. При операции восстановления исходного состояния (декодирования в исходный формат) груз надо будет обратно разложить по своим ячейкам согласно предварительной разметке. Указанную неточность в изложении материала можно было легко обнаружить: взять и проверить самому на практике — попробовать «сжать», а потом «распаковать» музыкальный файл в формате WAV с помощью архиватора RAR!

Кстати, современная компьютерная техника может осуществлять подобную операцию со скоростью, значительно превышающей скорость воспроизведения («выдачи груза получателю») непосредственно перед воспроизведением. То есть слушатель может и не заметить, что с информацией произведены две дополнительные операции — упаковки и распаковки. От себя добавлю — очень продвинутый слушатель, скорее всего, заметить сможет. Потому что процесс упаковки-распаковки создаст дополнительную нагрузку и помехи по электропитанию. Поскольку элементы конструкции не полностью развязаны между собой, эти помехи повлияют на работу основ-

ных узлов и в принципе ухудшат качество воспроизведения...

Слегка абстрагируясь, на фоне последнего примера логически можно оценить положительное значение юмора — он тоже способствует «раскачиванию» мыслительного маятника. При желании позволяет серьезно взглянуть на проблему с другой стороны. Остается только «не слететь» с него в зону подмены понятий.

Оттолкнувшись от понятного, проверяемого на практике материального, приходится признать, что наибольшие трудности с различением находятся в сфере искусства.

Почему одно стихотворение признается хорошим, а другое плохим? Что такое «хорошо» и что такое «плохо» в искусстве — вот вопрос... Отдельная тема длительной дискуссии.

А может, и здесь не так все сложно, как кажется на первый взгляд? В одной из передач «Что делать?» В. Третьякова на телеканале «Культура» научный сотрудник МГИМО заявил, что у детей существует врожденное свойство отличать хорошее от плохого. Если это так, изучение детского феномена позволит ответить определенно на злободневный вопрос. А может, это очередное обольщение? Предположим, что врожденное свойство есть, но «правильно» ли настроен его камертон? У меня лично пока сложилось мнение, что, возможно, сама постановка такого вопроса в абстрактной формулировке лишена смысла. Нужна «привязка» к дополнительным обстоятельствам — критериям, по которым оценивается произведение. Предположим, стихотворение можно признать плохим по смыслу, если оно воспекает насилие

или расовую ненависть, по слогу — если имеет сбивчивый ритм (как будто «спотыкаешься» при чтении), картину плохой — если она вызывает чувство отвращения, музыке плохой — если от нее возникает чувство психического расстройства, и т. д. Как обычно, с музыкой сложнее всего, потому что ее путь от композитора к слушателю лежит через интерпретаторов — музыкантов, дирижера, звуковоспроизводящую технику. Возможна ситуация, когда трактовка произведения интерпретаторами не будет соответствовать замыслу композитора. Получится невнятное исполнение, не воспринимаемое слушателями. Примеров тому масса — достаточно вспомнить известные из истории случаи провалов первого исполнения произведений, впоследствии признаваемых как выдающиеся.

Похоже, по рассматриваемому вопросу целесообразно прислушаться к мнению умных людей. Оно заключается в том, что в вопросах оценки качества произведений искусства следует опираться на учителей. Именно они, благодаря своему опыту и знаниям, способны донести до учеников критерии, по которым нужно оценивать произведения искусства. Если вдуматься, аналогия с методом «раскачивания маятника» в этом случае можно увидеть в том, что необходимо прочесть много стихов, рассмотреть много картин, прослушать много музыки, чтобы потом с помощью системы оценок учителей уяснить и квалифицировать различия в восприятии, эмоциях, ощущениях, которые при этом возникают.

О других примерах, связанных с различением, — в следующий раз.

Андрей Каратыгин

ШОСТАКОВИЧ И ЛИБЕРАЛИЗМ

Музыка

Д. Д. Ш.

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной одна в могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

*Анна Ахматова
1958*

Понимание друг друга, несмотря на общий язык и культурную принадлежность, как было, так и остается большой трудностью. А. Миронов и В. Хилько уже посвятили свои работы, опубликованные нашим журналом, этому вопросу. Сейчас, по крайней мере в российском бизнесе, появился некий новый класс специалистов, посредников, переводящих с русского на русский язык так, чтобы собеседники поняли друг друга. И трудность, конечно, не в самих словах, а в операторе, использующем их как некий шифр и что удивляющемся его не могут понять соотечественники. Не будем углубляться в этот вопрос, тем более упомянутые что авторы уже делают это глубоко и подробно.

Зададим лишь вопрос: а почему художественное слово и музыка оказывают столь сильное и проникающее действие на душу человека? Притом что в поэзии-то как раз слова зачастую используются в сильно переносном смысле, а о музыке и говорить нечего — комбинации семи нот, а в других культурах и того меньше вызывают

сильнейшие эмоции, транслируемые и воспроизводимые. На специалистов уже только нотный текст может оказать сильное духовное воздействие.

В физике есть такое понятие, как поляризация волн. Эффект объясняется просто — поляризованная волна колеблется только в одной плоскости. Эффект очень полезный, и каждый может его наблюдать, посмотрев на крышу своего дома, а конкретно — на антенны. «Рога» телевизионной антенны лежат в горизонтальной плоскости, следовательно, поляризация сигнала и антенны — горизонтальная, штырь радиоантенны стоит вертикально, следовательно, и поляризация — вертикальная. А что произойдет, если мы наклоним свою телеантенну в сторону? Правильно, сигнал уменьшится и исчезнет. Почему? А потому, что излучение передающей антенной производится как бы в узкую щель, и приемная антенна тоже воспринимает сигнал в рамках заданной ее конструкцией щели, в нормальных условиях совпадающей по плоскости со щелью передатчика. Представим, что

мы смотрим на улицу через длинную, но тонкую щель. Вполне широкий и достаточный кругозор! Но стоит нам поставить перед нашей щелью аналогичную и начать ее вращать относительно общего центра, то наш кругозор сузится мгновенно и катастрофически. Подобный эффект используется в солнцезащитных очках-хамелеонах. Чем больше освещенность, тем сильнее пересекаются «щели» поляроидов и тем меньше света попадает на сетчатку глаза. Скажу о существенном: поляризация солнечного света имеет характер бесконечности — то есть сигнал есть во всех плоскостях, а это бесконечность! Кстати, в английском языке одно из имен Бога — Infinite, то есть — Бесконечный!

К чему это все? А к тому, что, на мой взгляд, художественное слово и, особенно, музыка — явления с бесконечной поляризацией и такие же животворящие, как и наше Солнце! Проблема в том, что мы, сознательно или нет, сужаем направленность своего восприятия до «рогов» телеантенны с горизонтальной поляризацией, как раз параллельной плинтусу, и просто физически не в состоянии уловить сигналы с вертикальной поляризацией, сколь бы ни велики они были!

Поэтому-то и люди с разными плоскостями поляризации не в состоянии услышать друг друга, и им потребен интерпретатор с более развитой поляризацией, дабы «законнектировать» их (модное нынче слово от английского *to connect* — связывать, соединять).

Искусство, и прежде и более всего музыка, — наш шанс на сохранение взаимопонимания, так как, имея, на мой взгляд, круговую (бесконечную) поляризацию, музыка требует и развивает такую же круговую поляризацию восприятия и у слушателя, что гарантирует способность носителя оной воспринимать и другие, сложные явления в «полный рост» и без искажений. Говоря проще, отличать правду ото лжи. Хотя и это уже нагрузка, так как вопрос уже стоит так: а в состоянии ли мы уже СЛЫШАТЬ вообще?

Развивая образ перекрещивающихся щелей, подходим к вопросу цифровой обработки информации. Представим, что те щели, о которых я уже упоминал, перекрещены под прямым углом. Тогда все, что мы увидим, будет точка, и чем тоньше щели, тем меньше и точка, формируемая перекрестьем, и соответственно мы уже не сможем отличить даже цвета точки, то есть мы сможем только сказать, есть ли она или нет. Нечто подобное происходит и при цифровой обработке информации. Сначала производится вертикальное сечение сигнала (дискретизация), а затем вертикальное (квантование) — именно то перекрестье, о котором мы и говорим. Поэтому налицо возможность использовать двоичный код для обработки, хранения и передачи информации — есть только два состояния — да и нет, что может быть проще? С помощью высокопроизводительной электроники закодированная информация может быть восстановлена, и если в случае изначальной дискретности (слова, цифры) это восстановление будет полным, то в случае изображения или звука это будет лишь некое приближение к образцу, несмотря на то, что математические теоремы говорят о достаточности восстановления достоверности. Уместно вспомнить трудности рождения аудиокомпакт-диска, на который возлагались большие надежды в смысле улучшения качества воспроизведения музыки, чтобы понять расхождение теории и практики. Существует легенда о том, что изобретатель компакт-диска настоял на привычном для нас диаметре CD и соответственно емкости диска, чтобы на него полностью поместилась его любимая Девятая Бетховена, то есть новый стандарт создавался не просто под классическую музыку, а под крупную форму оной! Но до сих пор доступные по цене цифровые источники порождают безжизненный звук, годный лишь для, условно говоря «щелевой» музыки (читай — упрощенной). Хочу оговориться, что щель в моем случае никак

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

не связана с образом, использованным Виктором Ерофеевым для описания его восприятия своей родины.

Поэтому я утверждаю, *чтобы сохранилась как личности, а в пределе, конечно, развиваться, никуда не деться от работы по сохранению и развитию нашей способности к восприятию сложного, и поможет здесь, прежде всего универсальный язык передачи больших смыслов — классическая музыка.* Наивно полагать, что работа эта будет только приятной и веселой — ничего подобного! И излечение, и рост сопряжены со страданием и не просто ради страдания, как такового, а *исцеляющего страдания!*

Ниже мы и обращаемся к наследию великого советского и российского мастера — Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, музыкальный язык которого считается сложным, а музыка — мрачной, язвительной и лишь иногда — красивой. Все это и правда, и неправда. Если оценивать формально, то музыка Шостаковича сложная и напряженная, да порой и саркастическая, иными словами, трудная, а что не трудно вообще? Вопрос не риторический. Трудно ведь и ребенка родить и вырастить, а зачем-то же мы это делаем? Так вот, подавляющее большинство работ Шостаковича — серьезная и глубокая музыка, и если проникнуть в ее суть, преодолев иллюзорный барьер трудности формы, оказываешься перед еще более серьезным испытанием — улады сердца и души не жди, а жди тяжелых душевных переживаний и буквального «проживания» каждой ноты произведения мастера без пощады и поблажек. Есть, конечно, и у Шостаковича традиционная и вполне мелодичная музыка — многие годы все государственные праздники сопровождал ансамбль скрипачей Большого театра под управлением М. Реентовича с великолепной музыкой Шостаковича к кинофильму «Овод» в своем репертуаре. А «Песня о встречном»? Что, не вяжется с образом Шостаковича? Тем не менее это его работы, и к тому же музыка к десяткам совет-

ских кинофильмов и постановок, а песня, исполняемая а капелла, как религиозное песнопение — «Родина слышит»? Напомню начало песни: «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает. С дружеской лаской, нежной любовью. Алыми звездами башен кремлевских, башен московских, смотрит она за тобою...» А слова-то какие? Либералы, конечно же скажут, что Е. Долматовский писал эти слова под пытками да в застенках, а смогут ли они создать нечто подобное и духовное сейчас, во время всяческих свобод и дозволений? Вторая часть Второго фортепианного концерта, вообще — шедевр мелодизма. Есть у Шостаковича и джаз-сюита и сюита для эстрадного оркестра с вполне легко воспринимаемой музыкой, но не о том мы думаем, упоминая имя Шостаковича. Конечно, квинтэссенция Шостаковича в его симфониях и квартетах. В задачу моего выступления не входит анализ творчества великого мастера — это уже сделано и делается обширно и профессионально. Я могу лишь высказать собственное мнение и совет. Творчество Шостаковича по масштабу сравнимо с творчеством Пушкина. Он не только наш соотечественник, но еще и современник (1906–1975), поэтому, возможно, мы еще и не осознаем величину этого явления — мы еще в тени колосса! Тем более его творчество значимо, что оно не требует перевода, а значит, универсально! Вспомним историю передачи СССР США фильмокопии Седьмой (Ленинградской) симфонии Шостаковича. Последовавшее вскоре исполнение и его радиотрансляция собрали аудиторию в 20 миллионов американцев! Это тяжелое и для восприятия, и для осмысления произведение, переданное с большими потерями качества звука, собрало и в дальнейшем собирало подобную аудиторию не только в Америке, но и по всему миру. Это еще и к вопросу о ненавистных Задорнову «тупых» американцах и их способности воспринимать чужую боль, хотя бы и семьдесят лет назад! Безусловно,

творчество Шостаковича не нуждается в рекомендациях, но я бы выделил особо то, что меня трогает в его творчестве — это Седьмая и парная ей Восьмая симфонии (последняя, пожалуй, особо!), которые он считал единственным произведением — собственным Реквиемом.

Закончим с творчеством и перейдем к сути моей статьи — Шостакович и либерализм. Интересен «выход» на источник, побудивший к написанию этой работы. Прослушав Восьмую симфонию в филармонии, а затем уже дома повторно и находясь в некоем потрясении, задался вопросом: «Шостакович и Бог», его-то и задал браузеру Сети. В первой же ссылке и натолкнулся на обсуждаемый текст — поводом написания моей работы стала книга известного (и известного по-разному) музыковеда и бывшего нашего гражданина Соломона Волкова «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича» (Testimony), вышедшая в США в 1979 году и основанная, по его утверждению, на материале его бесед с Шостаковичем. Книга выдержала несколько изданий на Западе и ни одного в России. В интернете помещен ее неавторизованный перевод с английского (<http://testimony-rus.narod.ru>), а на вопрос, почему книга не издавалась в России, автор дает уклончивый ответ — он продал русскую версию книги и утратил право на ее публикацию. Книга была весьма кстати в США 1979 года и работала и работает на поддержку образа «империи зла», тем более подкрепленного авторитетом признанного художника. Уже менее чем через год в самой Америке появились исследователи, документально доказавшие компилятивность и недостоверность книги, более того, там же есть исследователи, задающие здравый вопрос: если С. Волков в своей книге утверждает, что все записи были сделаны при жизни Шостаковича, были им (Шостаковичем) проверены и подписаны, то почему книга вышла лишь в 1979 году? Напомним, что Шостакович умер в 1975 году и, по словам

С. Волкова, он просил опубликовать записи бесед после его смерти. С. Волков покинул СССР в 1976 году. Ответ напрашивается сам собой — три года понадобилось на написание книги, то есть не было достаточного материала для этого на момент смерти Шостаковича! Можно познакомиться с письмом вдовы Шостаковича, опубликованном в Сети, и мнением М. Лидского о творчестве С. Волкова в интернет-альманахе «Лебедь», чтобы понять, что работа эта довольно скандальная, хотя и получила поддержку части нашей творческой «элиты». Хотя возникает вопрос о том, читали ли подписанты книгу внимательно и если да, то тогда возникают вопросы и к ним. На мой взгляд, в книге смешана информация, данная самим Шостаковичем, со сплетнями, анекдотами, интимной и стыдной информацией, возможно, частично и известной Шостаковичу, но вряд ли представляющая интерес как для него, так и для публикации тем более. То есть если, по словам апологета творчества А. Солженицына В. Новодворской, «Архипелаг Гулаг» — это «донос Господу Богу на коммунистов», то что есть тогда «Свидетельство»? Калибром-то книжка не в пример, а факты, приводимые в ней, зачастую и вовсе постыдные! Думаю, что нужно поговорить об этой книге и для того, чтобы понять, какие средства использовались и, конечно будут использоваться для создания образа «империи зла» и какие возможности это открывает для спекуляций о причинах нынешних трудностей и объяснений всего и вся. То есть это джокер, и за него стоит побороться!

Я не буду комментировать достоверность фактов, изложенных в книге, просто примем образ, созданный С. Волковым, за некий собирательный образ либерала под условным именем «Шостакович» и обсудим некий материал из книги, характеризующий его и либерализм вообще.

Имеющийся у меня интернет-вариант книги не имеет нумерации страниц, поэтому буду лишь ссылаться на

суть обсуждаемой информации. Я считаю, что книгу надо прочесть, так как она действительно содержит бесценные факты, но в нагрузку к ним надо переварить и ложку дегтя, умело вмешанную в текст, поэтому, надеюсь, мое обращение побудит читателей создать собственное мнение о книге и о времени и событиях, описанных в ней.

Книга начинается с попытки объяснения причин «близости» С. Волкова и Д. Шостаковича, хотя уже тут возникает первое противоречие. Описывая сцену подарка своей фотографии Шостаковичем Волкову, последний указывает, что Шостакович, уже подарив фото, вновь забрал его и сделал надпись: «На память о наших беседах о Глазунове, Зощенко, Мейерхольде. Д. Ш.», то есть круг обсуждаемых вопросов был очерчен им четко и это своего рода подпись Шостаковича под той информацией, за которую он и отвечает. Тогда откуда взялась целая глава о казахском поэте и коллективе авторов, «помогавшем» ему или «за него»? Притом что С. Волков признает литературные выступления Шостаковича плодом некоего коллективного труда, всего лишь подписанного им! Двойная мораль налицо. Но ход Волкова еще хитрей — он называет Шостаковича юродивым и говорит, что тот был самим собой только в музыке. Таким образом, принимать всерьез то, что писал и говорил Шостакович, нельзя! Умно, правда? Что бы патристическое или поддерживающее режим ни сказал Шостакович, всегда можно сослаться или на «коллектив авторов», или на юродивость Д. Д.! Хотя в самой книге упоминается обида Шостаковича на признание его юродивости со стороны его друга Е. Мравинского, то есть он-то не считал себя юродивым! Тогда получается, он был невменяемым, так что ли? Хотя и на этот случай автор имеет хороший ход: «Он (Шостакович. — А. К.) часто противоречил себе. Тогда истинное значение его слов приходилось извлекать из ящика с тройным дном». В книге нам не раз при-

ходится убеждаться в этом. И автор-то книги ушел недалеко, хотя, возможно, всего лишь по причине невнимательности к материалу. В самом начале он выдает шокирующее «откровение»: «Шостаковичу нравилась история о Гоголе, одном из его литературных кумиров, как тот якобы сбежал из гроба. Когда его могилу вскрыли (в Ленинграде, в 1930-х годах), гроб оказался пуст». Можно было бы попробовать вскрыть могилу «Гоголя» и в Вологде или Баку с тем же результатом! У меня нет английского текста, чтобы проверить, не ошибка ли это переводчиков, но тем не менее интересная идея открывать могилу человека в Ленинграде, похороненного в Москве, и удивляться, что он сбежал оттуда! Хотя, может, просто Шостакович «проверил» Соломона Моисеевича Волкова? Тогда он — молодец! В самом тексте воспоминаний Шостаковича все на своих местах — он просто говорит о казусе с могилой Гоголя и о слухах, прошедших в Ленинграде об этом, — ведь Шостакович жил в нем, а не в Москве. Просто, по-видимому, автор не понял смысла, сказанного Шостаковичем.

Теперь о серьезном. При оценке воздействия музыки Шостаковича на себя автор пишет: «Впервые я шел с концерта, думая не о себе, а о других. И поныне для меня главная сила музыки Шостаковича в этом» — блестящая рекомендация творчеству Шостаковича, но из этого же утверждения следует, что автор обычно думает о себе и лишь моменты истинного творчества обращают его к другим. Бойтесь либералов! «Двоеение» Шостаковича автор объясняет еще одной причиной: «Русские поэты и писатели давно создали жуткий образ Петербурга, города “двойников” и разбитых жизней. Это был грандиозный проект Петра Первого, тирана, воздвигшего среди болот ценой бесчисленных жизней безумный символ самодержавия. Достоевский тоже считал, что “этот гнилой склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым”... Ощущая родство с Петербургом, Шостакович был обречен на постоянную психологи-

ческую раздвоенность». Важное замечание! То есть не советская власть сделала Шостаковича раздвоенным, а Петербург! Опять Соломон Моисеевич запутался!

Автор, рассказывая биографию Шостаковича, упоминает, что дед Дмитрия Дмитриевича — Болеслав Шостакович имел «тесные связи» с революционной организацией «Земля и Воля»; далее со слов самого Шостаковича утверждается, что его семья была близка к революционному движению и в этой связи имела либеральные взгляды. То есть либерализм Шостаковича основан на социалистических идеалах, а это немного не то, что хочет показать автор.

Тем не менее двойственности в Шостаковиче показано достаточно. Автор приводит слова Шостаковича: «Нельзя мстить своим родителям. Даже если твое детство было не очень счастливым. Нельзя обвинять их перед потомками в том смысле, что отец и мать были ужасными людьми, а я, бедный ребенок, должен был терпеть их тиранию. В этом есть что-то недостойное. Я не желаю слушать людей, предъявляющих претензии к родителям». Хорошие слова! А к Родине можно по-другому? Оказывается, вполне — далее в тексте воспоминаний Шостаковича приводится цитата из любимого им Чехова, характеризующего русских следующим образом: «Россия — страна жадных и ленивых людей, которые ужасно много едят, пьют, любят спать днем и ужасно храпят. В России женятся, чтобы содержать дом в порядке, и берут жен из соображений социального престижа. У русского человека собачье сознание — когда его бьют, он тихо скулит и забивается в угол, а когда чешут за ухом — виляет хвостом». Потом Шостакович рассказывает о своем первом публичном устном выступлении на похоронах человека, который поступил бесчестно с Шостаковичем, и тот не нашел ничего лучшего, чтобы на панихиде рассказать о недостойном поведении покойного, за что был назван Ф. Сологубом: «молодой недоносок».

Но и на Сологуба у Шостаковича (совместно с Зощенко) нашлась управа — жена Сологуба покончила с собой, и перипетии, произошедшие с ее трупом, стали известны благодаря ироничному рассказу Шостаковича в воспоминаниях и послужили основой пародийного рассказа Зощенко, который был одобрительно принят и Шостаковичем. Возвращаясь к теме Родины, мы выясняем, что по разным причинам Шостакович не питал никаких иллюзий к западным ценностям. Со слов Волкова: «Во многих отношениях враждебность и недоверие Шостаковича к Западу зародились именно в тот период, когда Запад прилагал все усилия, чтобы не замечать ГУЛАГа. У Шостаковича никогда не было дружественных контактов с иностранцами...», еще одна цитата: «У него уже сформировалось отношение к “западным” ценностям как к враждебным и чуждым его внутренним устремлениям». Тогда получается, что вне Родины он себя не видел! А как же цитата из Чехова? Возможно, здесь есть некая детскость — недаром Шостакович высоко ценил свой портрет, сделанный Б. Кустодиевым, когда ему было 14 лет. И ценил именно за то, что портрет верно передавал содержание его личности. Сюда же можно отнести его отношение к Богу и верующим. Он был терпим к верующим, не будучи сам таковым. Правда, ему была непонятна жертвенность, доходящая до аскетизма его выдающейся современницы пианистки М. Юдиной, отдававшей церкви и нуждающимся все, что могла себе позволить профессор Консерватории и успешно концертирующий исполнитель, живущий в скромной комнате в коммуналке с разбитыми окнами. Интересна сцена, приводимая Шостаковичем и описывающая его попытку «наладить отношения» с церковью. Как анекдот приводится его выступление на заседании Союза композиторов, где его принимали в партию. Он де, читая стандартный текст выступления, вместо слов «Всем хорошим во мне я обязан пар-

тии и правительству» сказал: «моим родителям». Конечно, принципиально, но настолько же и наивно. А что можно было состояться вне государства, каким бы оно ни было? Тогда стандартная фраза насчет партии и правительства вполне уместна и не противоречит «моим родителям». Интересны и взаимоотношения Шостаковича с Солженицыным и Сахаровым. Говоря кратко, они не были уважаемы Шостаковичем. Приведу цитату: «Несмотря на прежние сердечные отношения, у них с Шостаковичем (имеется в виду Солженицын. — А. К.) произошла ссора. Диссиденты требовали политических выступлений, а не самоанализа. Борьба с правительством была для них несравненно актуальней, чем — со смертью. Кроме того, отказ Шостаковича подписываться под политическими заявлениями диссидентов был в их глазах не чем иным, как капитуляцией. Впервые композитор был замечен не в юродстве, а в оппортунизме». К Сахарову были претензии, говорящие о противоречии его миротворческих заявлений и созданном при его же помощи самом смертоносном оружии.

Как можно понять из уже изложенного материала, в книге нет ничего особо положительного в смысле отношения к нашему государству, да и к народу в целом, за исключением отдельных представителей: А. Глазунова, М. Мусоргского и некоторых других, за свидетельства о которых — низкий поклон и Шостаковичу и Волкову и безо всякой иронии! Эти свидетельства — бесценны! Их надо прочитать — это важно для каждого человека, чтобы ощутить родство со своей культурой и через нее и с мировой.

Ведь Шостакович — это прямая связь между нами и «небожителями». Шостакович учился у А. К. Глазунова (замечательного русского композитора о котором мы, может быть, побеседуем в другой раз), Глазунов же был лично знаком с Ф. Листом. Лист, по преданию, играл Бетховену, Бетховен — Моцарту, Моцарт, сидя на коленях у И. К. Баха (младшего сына Иоганна

Себастьяна), играл ему в Лондоне! Это неразрывная цепь гениев, и Шостакович в ней — равный! Но в остальном «оглядываясь назад, я вижу только руины, только горы трупов». Понятно, что с такой ношей жить нелегко, но ведь именно эта либеральная двойственность, показанная в книге, и заводит в тупик. Недаром Шостакович не единожды на протяжении повествования рассуждает о бессельности и безрезультатности своей жизни. Приведу еще одну историю: Шостакович рассказывает о том, что Тосканини не понимал, как надо исполнять произведения Шостаковича, что композитор и не преминул ему изложить в возмущенном письме. После этого Тосканини стал присылать Шостаковичу свои грамзаписи, что вызывало недоумение у него — может, Тосканини не понял или не получил его письма? И что делал Шостакович с этими записями? Читаем: «Я начал регулярно получать записи — все новые записи Тосканини. Единственное утешение — что, по крайней мере, у меня всегда есть хороший подарок на день рождения. Конечно, я не подарил бы что-то подобное другу. Но просто знакомому — почему бы и нет?» — позиция! В то же время жил другой великий русский художник, певец — Сергей Яковлевич Лемешев, который через всю жизнь пронес стыд за свой детский грех, который предал огласке в своих воспоминаниях. Дело в том, что во времена голодные и скудные по деревням, в одной из которых ребенком жил Лемешев, ездили старьевщики и собирали тряпье, кости — хлам, в общем. За это можно было получить конфету. Лемешев, каясь, рассказывает, что он, желая получить конфету и не имея ничего дать взамен, завернул камень в тряпицу в надежде выдать его за кость и протянул старьевщику, тот, взяв сверток, понял все, но, не подав и виду, дал Сергею Яковлевичу конфету. Эта конфета не давала покоя Лемешеву всю жизнь — жгла душу! Согласитесь, подходы из разных мировоззрений! Как Ветхий и Новый Заветы. В одном можно камень вместо

хлеба, а в другом — грех. Понимание юмора у Шостаковича — тоже своеобразное, прочитайте его восхищенный отзыв о «сбивании спеси с чванливой и неприятной женщины» И. Соллертинским или ловкий выход из затруднительного положения другого приятеля Шостаковича. Еще пример двойственности находим в рассуждениях о правде: «Я люблю Глазунова и именно поэтому говорю о нем правду», а если бы не любил? Находим и на это ответ — возможно, это тоже правда, но специфического свойства. В книге рассказывается о конфузах с обделанными штанами из-за прессинга Сталина с парой хорошо знакомых Шостаковичу людей, причем один из них назван по имени, а другой (друг, кстати) вычисляется без труда. Зачем это было рассказывать? У меня нет объяснений, или это и есть вершина либеральной правды? Хотя если вспомнить случай на панихиде, уже упомянутый мной, то все логично — правда, доведенная до абсурда (доноса).

Еще цитата: «Не верьте гуманистам, граждане, не верьте пророкам, не верьте “светилам” — они одурачат вас за грош! Занимайтесь своим делом, не причиняйте людям боли, старайтесь им помогать. Не пытайтесь спасти все человечество, спасите для начала одного человека. Это намного труднее. Помочь одному человеку, не навредив другому, — очень трудно. Невероятно трудно! Это-то и порождает искушение спасти все человечество. Только потом на этом пути обнаруживаешь, что счастье всего человечества зависит от уничтожения всего-то нескольких сот миллионов отдельных людей. Какие пустяки!» Также странное высказывание, особенно если вспомнить приведенную ранее цитату из Чехова. Эта цитата приводит и к еще одному вопросу: а почему автор книги ничего не говорит об активной деятельности Шостаковича и как общественного деятеля, и как педагога, и как человека действительно не сгубившего никого, а, наоборот, помогавшего и спасавшего, трогательно заботившегося о своих учениках? Мы знаем об этом из

воспоминаний его учеников и людей, бывших с ним рядом, но почему для западного читателя он представлен «замученным тяжелой неволей», и ничего особенно человеческого про Шостаковича от автора мы и не слышим? Неужели ни в жизни Шостаковича, ни в жизни страны не было ничего радостного, созидательного? Напомню, что я беру тот образ Шостаковича, который нам предлагает Соломон Волков, в кавычки. Понятно, что он укладывал то, что он слышал от Шостаковича, и то, что хотел бы от него услышать, в рамки определенной концепции, и моя задача как раз в том и состояла, чтобы выявить ее и показать непривлекательность оной. Я далек от мысли дать некий точный образ нашего великого современника на основе этой книги, но тем не менее она дает массу информации для осмысления и самого Шостаковича, и того, каким его хотела бы видеть некая «элита», и того, как можно воспринимать нашу страну и ее историю. В завершение приведу последнюю цитату из слов Шостаковича, она же и завершает книгу С. Волкова: «Я думал, что моя жизнь была переполнена горем и что трудно найти более несчастного человека. Но, начав проследивать жизненный путь моих друзей и знакомых, я ужаснулся. Ни у одного из них не было легкой или счастливой жизни. Одних ждал ужасный конец, другие погибли в страшных муках, а жизнь многих легко можно назвать более несчастной, чем моя. И это меня огорчило еще больше. Я вспоминал своих друзей, но единственное, что увидел, это — трупы, горы трупов... И это зрелище повергло меня в ужасную депрессию. Мне грустно, я все время горюю... Я вообще не хотел ни о чем вспоминать... Я делал над собой усилие и продолжал вспоминать, несмотря на то, что некоторые воспоминания были ужасно тяжелыми. Я решил, что если это занятие помогло мне самому увидеть заново те или иные события и судьбы тех или иных людей, то, возможно, оно не совсем бесполезно и,

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

может быть, кто-то вынесет из этих простых рассказов нечто важное для себя... И я подумал: может быть, мой опыт в этом отношении принесет какую-то пользу тем, кто моложе меня. Возможно, у них не будет того ужасного разочарования, с которым столкнулся я, и они пройдут по жизни лучше подготовленными, более закаленными, чем был я. И может статься, их жизнь будет избавлена от горечи, которая окрасила всю мою жизнь одним унылым серым цветом». А чем, собственно, тут может помочь откровенно депрессивная и нигилистическая книга? Как это диссонирует с подходом Гете к роли и месту художника, который видел себя лишь продолжением своей нации, живущим полнокровной жизнью вместе с ней и для нее?

На мой взгляд, эта книжка показывает бесперспективность либерализма, как пути в безысходность, психическую раздвоенность и даже отрицание собственного народа, при декларировании, в общем, гуманистических взглядов. Но гуманизм этот весьма селективный — вспомним цитату из Чехова про русский народ, приведенную якобы Шостаковичем, где сознание нашего народа — собачье, да и повадки его не лучше. Тогда о каком народе скорбь, если этот негодный? Или печаль о других народах, или о некой элите? Опять интеллигентское влияние, которое ничего кроме депрессии и не вызывающее и лишь ведущее к перерождению либерализма в экстремизм, к делению на «правильных», которых жалко, и на собакоголовых, которых надо «отдать на опыты в больницу». Повторюсь, что по-

добная литература в настоящее время ко двору и для искажения образа нашей истории и людей, создававших ее; она важна, тем более что фигура автора воспоминаний настолько велика, что величественнее и трудно найти, — я говорю это безо всякой иронии. В начале статьи я привел образ щели как форматора поля зрения. И на мой взгляд, С. Волков сделал некий обзор недавних событий нашей истории именно через щель, и щель не слишком широкую. Мало того, для убедительности он использовал весомую личность, что, несомненно, оказало влияние на часть западной интеллигенции, но именно на часть, так как самые глубокие и скорые разоблачения этой книги появились именно там!

P. S.

Джек Лондон в своем эссе «Что для меня значит жизнь» (What life means to me) применил новое слово, которого нет в английском языке — *uplook*. Есть близкое по смыслу слово — *outlook*, то есть взгляд вовне, или, другими словами, — обзор, кругозор, но круг — фигура плоская, и *uplook*, примененный Лондоном, добавляет вертикальную составляющую (трехмерность) обзору или, если угодно, мировоззрению. То есть художник чувствовал потребность всеохватности, полноты выражения мыслей. В этом смысле и я использовал физическую аналогию с волновыми процессами. Что же предлагает нам С. Волков в своей книге? Думаю, что это не *uplook* и даже не *outlook*, а, скорее, взгляд через амбразуру (разновидность щели), которая не бывает дружественной и всегда ограничена.